

В. МОСКОВКИН

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ





В. МОСКОВКИН

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ

Р 2 Московкин В. Ф.

М 82 Золотые яблоки. Ярославль, Верх.-Волж. кн. изд., 1974.
304 с.

Повесть и рассказы о молодых рабочих, их труде, быте, любви, а также очерки о Вьетнаме.

М 0732—022
М—139(03)—74

Р 2

СОДЕРЖАНИЕ

Медовый месяц. <i>Повесть</i>	5
Поиски неизвестного. <i>Рассказ</i>	159
Дорога в длинный день. <i>Рассказ</i>	177
Тайка. <i>Рассказ</i>	198
Чужой. <i>Рассказ</i>	208
Золотые яблоки. <i>Рассказ</i>	234
Любовь и тревога. <i>Из вьетнамского дневника</i> . .	264

Московкин Виктор Флегонтович

Золотые яблоки

Редактор К. Яковлев
Художественный редактор Д. Поздняков
Художник Е. Грибов
Технический редактор Э. Патрикеева
Корректор Н. Кагитина

Сдано в набор 15 октября 1973 г. Подписано в печать 29 января 1974 г.
АК 04005. Формат 84×108/32. Бумага типографская № 2. Усл. п. л. 15,96.
Уч.-изд. л. 16,37. Заказ 784. Тираж 65 000. Цена 62 коп.

Верхне-Волжское книжное издательство Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ярославль, ул. Трехолева, 12.

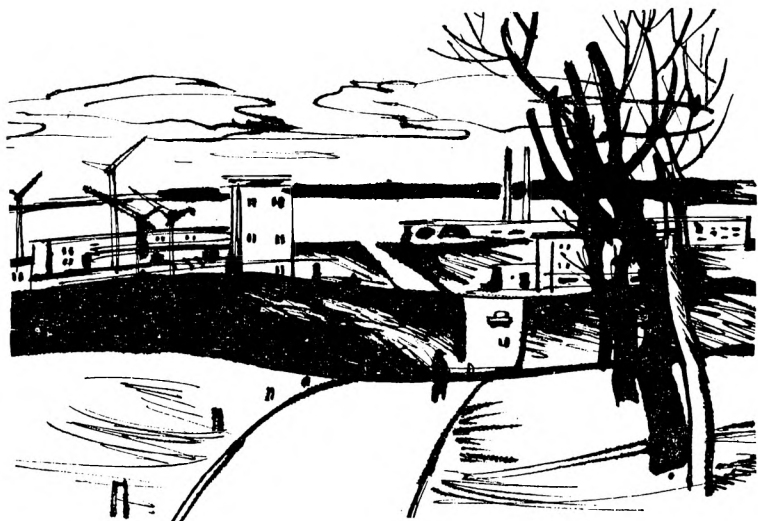
Ярославский полиграфкомбинат «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ярославль, ул. Свободы, 97.

© «Медовый месяц» — Ярославское книжное издательство, 1960 г. Рассказы — Верхне-Волжское книж. издательство, 1974 г.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

ПОВЕСТЬ





Глава первая

В кабинете яростно спорили.

Илья сидел на прохладном кожаном диване и чутко прислушивался: очень уж интересно было. Девушка в синей кофточке, с косой, уложенной на затылке, умела говорить с секретарями. Когда ожидала своей очереди, была тиха, как кролик, сидела, опустив глаза, ничего не видя и не слыша, но едва скрылась за дверью, голос зазвенел — резкий, требовательный, капризный.

Ей перечили сразу двое — кто-то еще был в кабинете секретаря. Но как жалко и глухо звучали мужские голоса! Может, потому, что они пытались ее уговорить, усовестить.

«Точно, она его разозлит», — подумал Илья о секретаре, и ему стало весело: никак не верилось, что эта раскричавшаяся девушка и есть та самая Галя Морева, школьница в коричневом платье, белом переднике и с торчащими косичками. По крайней мере, такой он видел ее последний раз на выпускном вечере. Тогда она училась в девятом «Б». За год она сильно изменилась.

Девушка вышла из кабинета — боком, будто нехотя. Прикрывая дверь, успела крикнуть:

— В окно выброшусь! Отвечать придется...

— Давай. Тут невысоко, — раздалось из кабинета.

Райком комсомола находился на первом этаже. С улицы слышен был звон трамваев. Солнце жарило асфальт, и горелый запах его чувствовался в помещении.

Галя покосилась в открытое окно. Глубокий вздох вырвался из ее груди.

— Слабо прыгнуть-то! — с восторгом заметил Илья.

Она порывисто оглянулась. Маленький рот крепко сжат, серые продолговатые глаза злые, сама вся так и напряжилась, на румянном взволнованном лице появилось радостное изумление.

— О, Коровин! — произнесла она удивленно. — Я тебя сразу и не узнала. Видать, будешь богатым.

— Да уж куда богат, — усмехнулся Илья. — А я решил, что ты всерьез хотела из окна выбрасываться. Даже испугался.

— Думала припугнуть, но разве их, толстокожих, проймешь. Сидят там два чудика, заладили: «Иди на стройку». Нужна мне их стройка! Я контролером на большом заводе хочу работать, в огромном цехе... Чтобы посмотрела вокруг и страх взял — куда попала: грохот, лязг, и ты от станка к станку идешь как хозяйка. Замечательно, правда?.. Вот чего я хочу. А они веселенький разговор устроили. Стройка! На стройку я и без их помощи устроюсь — объявления на каждом углу наклеены... Наверно, тоже из-за работы? — спросила Илью. — Теперь все за этим ходят.

Илья кивнул:

— Хочу попроситься в Сибирь по комсомольской путевке.

— Да? — она растерянно моргнула, внимательно оглядела его, вроде позавидовала: — И родители отпускают?

— А чего ж, — не без гордости сообщил Илья. — Мать у меня — она отпустит.

— Что за жизнь, — весело сказала Галя. — В институт отговаривают — сначала поработай, определись. Определилась, желание есть работать — говорят: там и без тебя много таких, давай в другое место. А если я не хочу в другое место? У меня, может, тоже своя линия... Хоть бы родители куда-нибудь посылали, так я назло им дома стала бы сидеть. А они тоже: «Как хочешь, ты вы-

росла, тебе и жить». Ты чувствуешь себя взрослым? — требовательно спросила она.

— Не совсем, — улыбнулся Илья.

С графином и стаканом в руках из кабинета вышел секретарь райкома — курносый и толстогубый. Несмотря на жару, одет строго. На отвороте пиджака комсомольский значок, галстук плотно стягивает мускулистую шею, лицо покрасневшее, потное. За ним парень лет двадцати трех, в кремовой рубашке и парусиновых брюках, затылок стриженный, из-под очков смотрят маленькие глаза, бесцветные, словно усталые.

Он сразу же тяжело плюхнулся на диван и стал смотреть в окно.

Секретарь неторопливо допил воду, надел стакан на горлышко графина и спросил:

— Решила, Морева?

— На стройку-то? — переспросила Галя. — Я лучше дворничихой в домоуправление пойду.

Илья обрадованно хмыкнул, а парень, усевшийся на диване, сказал секретарю:

— Что ты ее уговариваешь. Все равно не работник. У нас таких и без нее хватает.

«Со стройки, значит, — понял Илья. — Вербовщик».

— «Таких», — передразнила Галя. — Знаете вы меня, как бы.

Секретарь сказал миролюбиво:

— Вот и хотим узнать получше. Так что брось капризы и получай комсомольскую путевку. Договорились, Морева?

— Нет.

— Тогда как знаешь, — спокойно сказал секретарь. Потеряв к ней всякий интерес, повернулся к Илье: — Ко мне?

Илья, волнуясь, стал объяснять, что хотел бы в Сибирь.

— Почему так далеко? — вмешался «вербовщик», и его бесцветные, усталые глаза под очками на миг ожились, стали колючими.

— Э! Далеко! Зато интересно.

— Все это верно, — со вздохом сказал секретарь, будто самому захотелось в Сибирь. — Но путевку не дам. И не проси. Под боком у города строят крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, а ты — Сибирь.

Людей не хватает. Давай на строительство, сейчас направление получишь. Вот и секретарь комитета комсомола стройки — Трофимов. Познакомься.

— У нас только подъемных не дают, — сказал «вербовщик», он же секретарь комитета.

Илья разозлился: «Думает, ради денег еду».

— По себе, что ли, меряете? — спросил он Трофимова. Вышло грубо.

Но тот не обиделся, наоборот:

— Слушай, парень, — сказал он, — устраивайся к нам, много не потеряешь. Размах у нас не хуже сибирского. — И опять его бесцветные глаза стали колючими.

Прежде чем что-то ответить, Илья взглянул на Галю. Она помахивала пальцем около губ: дескать, не соглашайся.

— Я подумаю, — сказал Илья.

Трофимов кисло поморщился, словно глотнул уксусу, и опять стал смотреть в окно.

За окном звенели трамваи, пахло расплавленным асфальтом. Стоял душный летний день.

Из райкома вышли вместе, пересекли улицу и оказались на бульваре. Илья хмурил лоб, пытаясь найти, что сказать, но слов не было. Все-таки за год Галя очень повзрослела. Стучит каблучками по утрамбованной битым кирпичом дорожке: топ-топ, топ-топ. Туфли маленькие, нога аккуратная, упругая, а каблучки — как гвоздики. Удивительно: на гвоздиках и не падает. Смотрит по сторонам, одной рукой легонько размахивает, а вторая полусогнута: что же, мол, ты не догадаешься взять?

И Илья робко взял ее под руку, пристроился в шаг. Но едва ли ему стало легче. Беда с этими девчонками, умеют языки парням связывать. В таких случаях говорят о погоде. Например: «Вы не замечаете, как сегодня жарко?» Или: «Посмотрите, что за небо, — ни одного облачка!...»

Но вслух он сказал:

— Давно мы не виделись.

— Давно, — вздохнула Галя. — Что у тебя нового?

— Да ничего особенного. В прошлом году в институт не пошел. Немного поработал.

— Разве? — удивилась она. — А что ты делал?

— Великолепная была работа. «Голову выше. Вот так. Приготовились. Снимаю...» Другой раз сядешь у окна

и посматриваешь на людей, что проходят мимо фотоателье: не зайдет ли кто увековечить свою личность. Жалко, ты никогда не заходила.

Галя засмеялась, потом сказала:

— Я думаю, неплохо было: чисто и не устанешь.

— Я так же думал... пока не сократили.

— Забавно.

— Вполне. Если не вспоминать, что сокращают самых непригодных.

Это произвело впечатление. После некоторого молчания она с доверием сказала:

— Захочу я, помогут устроиться в институт. Только дала слово: никогда не пользоваться услугами родственников. Выросла, так дайте возможность добиться цели самой.

«Красиво...» — усмехнулся Илья.

— А ты что, поступил бы иначе?

— Представь, никогда об этом не думал.

— Не верю, — решительно заключила Галя. — А вообще-то я тебя не узнаю, не такой был.

«Будто ты не изменилась», — мысленно возразил Илья, а вслух добавил:

— Родственников, которые могли бы куда-то устраивать, у меня нет. Поэтому никогда не приходило в голову.

— А мне приходит. И последнее время очень часто. — В ее голосе появились капризные нотки. — Помнишь, ездили в колхоз картошку копать? Кто меня назвал «маменькиной дочкой»?

— Забыл.

— А я не забыла. Всю ночь тогда проревела и все равно на следующий день выбирала картошку в перчатках. На своем настояла... Как уж тут за маменьку не держаться. Знакомства у нее всюду: в институтах, промторге и еще всяких порядочных учреждениях. А папенька направлен на работу в район. По оплошке он не заводил знакомств. До свидания!

Вырвала руку и почти побежала. Илья пожал плечами, пытаясь понять, что ее так рассердило. Опомнился и поспешил за ней.

— Минуточку, гражданка. Так не полагается. Мы еще должны решить, куда устраиваться на работу.

— Совсем вылетело из головы, — сказала Галя. Се-

рые продолговатые глаза смотрели уже ласково, с лукавинкой.

Вышли к Волге. Илья думал, что Галя хочет побродить по набережной, но она побежала по лесенке, спускающейся к переправе. И это его обрадовало: не забыла добрую школьную привычку, когда всей гурьбой переезжали на ту сторону реки и, не вылезая на берег, обратно.

Вереница машин выстроилась, ожидая паром. Рядом приткнулся к дебаркадеру небольшой пароходик, о его борта плескалась мутная, с масляными пятнами вода.

На палубе было гораздо прохладнее. С реки дул легкий ветерок. Илья накинул Гале на плечи свой пиджак. Помедлил, да так и не снял руку с ее плеч. Удивился себе: откуда смелость взялась. Среди бела дня обнял девушку и стоит, будто так и надо. «Ну и что тут такого, — возразил он своим мыслям, — мы же с ней старые школьные друзья».

...Было уже часов десять вечера, когда они остановились около Галиного дома. У подъезда росла могучая липа, доставая ветвями до третьего этажа, дупла на стволе аккуратно забиты листовым железом. Липа казалась средневековым рыцарем в латах. Илья озорно стукнул кулаком по железу: шмяк — и кулак очутился в дупле. Вытащил его, подул на царапины и смущенно хмыкнул. В прогнившем железе чернела круглая дыра. Как ни глупо вышло, а Гале понравилось, засмеялась звонко...

— До свидания!

— До завтра! — поправил ее Илья. — Только не передумывай. А то вдруг приду, а ты: «Я на завод хочу, в огромный цех, чтобы посмотрела — и страх взял...»

Галя оглянулась, потом зажмурилась и чуть приподнялась на носки, вытянула губы: точь-в-точь как целовалась перед сном с мамой.

— Как это мне удалось тебя встретить?

— Сама не знаю, — засмеялась Галя, сорвалась с места и побежала в подъезд, стуча каблучками-гвоздиками по лестнице.

Илья уселся на ступеньки подъезда и подумал удовлетворенно: «Какая замечательная девушка Галя!»

...Сначала под ногами был бетон — шестиметровые плиты, уложенные плотно в ряд. Потом бетонная дорога



кончилась, началась земляная насыпь. Они шли по глинистой насыпи, взявшись за руки, стараясь не поскользнуться и не упасть: ночью был дождь. Остановились, когда увидели перед собой громадный валун: проезд воспрещен. Влево шел глубокий след с четкими отпечатками шин: это машины с грузом сворачивали на городское шоссе. Вправо круто спускалась тропка. Она петляла в кустах, за которыми виднелись горы разворошенной земли. Там взлетали ковши экскаваторов, сновали автомашины.

Не раздумывая долго, съехали на ногах с сырой скользкой насыпи и вышли на тропу. С тоскливым криком закружилась над ними луговка, уводя от гнезда. Неподалеку взмыл вверх жаворонок, трепетал крылышками, повисая неподвижно.

Кусты раздвинулись, открывалась широкая строительная площадка.

— Тебе сюда, — показал Илья на тесовый сарай вдали, у края котлована. — Мне еще чуть пройти... Но мы будем рядом и даже сможем перекрикиваться.

— В самом деле? — спросила Галя. Она живо представила, как Илья кричит ей, и засмеялась. В старом потрепанном костюме, из которого давно вырос, он казался еще более высоким и нескладным.

— Ты все утро как-то странно меня оглядываешь, — обиженно заметил Илья и потянул рукава пиджака, стараясь, чтобы они достали до пальцев. Это ему не удалось, и он спрятал руки за спину. — Как будто первый раз видишь.

— Да нет... просто так. Я, признаться, с сегодняшнего дня хотела увидеть тебя изменившимся... Ты не находишь: как-то незнакомо и чуточку боязно? Это с непривычки?

— Конечно! — подхватил он, поймав ее встревоженный взгляд, а про себя добавил: «Позволила себе немножко самостоятельности и уже растерялась». — Отцу звонила?

— Как же! Сказала, что сюда поступила, и сразу замолчал, в трубке стало пощелкивать.

— Что же все-таки он ответил?

— Он же понимает, — уклончиво сказала Галя, оглядываясь кругом.

Они остановились у шеста, на верху которого была прибита фанерка с выцветшей надписью: «Здесь работает экскаваторщик тов. Г. И. Перевезенцев». Прочитали раз, стараясь разгадать тайный смысл написанного, переглянулись и еще прочитали. Первым догадался Илья.

— Какой-то герой, — сказал он и посмотрел в сторону ближайшего экскаватора, возле которого стояла очередь самосвалов. Поминутно отходили нагруженные, а в хвост вставляли новые машины. Шоферы курили, не вылезая из кабин, спокойно посматривали на экскаваторщика, а он неторопливо орудовал рычагами. Лицо у экскаваторщика было круглое, загорелое и очень добродушное. Тяжелый ковш падал в котлован, вгрызался колунообразными зубьями в грунт и, стремительно взлетев вверх, раскрывал пасть над кузовом самосвала. Глинистая земля вываливалась комком, сотрясая машину.

— Галь, на всю жизнь запомним этот день. Точно?

— Тогда пусть он будет удачным, — проговорила она.

Они посторонились, пропуская рычащий самосвал с помятым кузовом. Белокурый красивый парень в синем берете, немного скуластый, с упрямым подбородком, стоял на подножке машины и насмешливо посматривал на них, робко прижавшихся к обочине дороги. «Эх вы, птенцы!» — говорил его взгляд.

— Вот где горячка, а? — похвалился он, показывая белые зубы.

На полном ходу парень спрыгнул у края котлована и помахал шоферу, высунувшемуся из кабины:

— Мы еще встретимся!

Шофер ничего не ответил. Парень подвернул брючины, так что стали видны цветные, в шахматную клетку носки, и стал спускаться в котлован.

— Как хорошо, — сказала Галя. — «Мы еще встретимся!..» Я всегда хотела чувствовать себя занятой важным делом. Может, это время пришло?

— Не знаю, — чистосердечно сознался Илья. — Говорят, завод очень нужен. Его еще нет, а из Башкирии тянут нефтепровод. — И он опять потянул рукава пиджака, отчего на спине четко обозначились худые лопатки.

— Ладно, Илья, иди, — сказала Галя. — Тут я сама доберусь, не потеряюсь.

Он проводил девушку взглядом, в котором была теплота и легкая грусть: жаль, что не вместе придется ра-

ботать, — а потом, не сворачивая на дорогу, хлюпая ботинками в густой болотной воде, перешел заросший ручей и выбрался на холм. Отсюда была видна вся стройка, вытянувшаяся на десяток километров. «Как еще мало сделано!» — невольно удивился он, разглядывая временные тесовые постройки и низкие остовы каменных зданий — будущих корпусов завода. И только ближе к городу возвышались большие дома и чуть в стороне чернел бетонный завод.

В ушах все еще звенел голос красивого парня в синем берете: «Мы еще встретимся!»

— Конечно, — добродушно сказал Илья. — Почему бы нам и не встретиться. Ведь работать-то будем на одном строительстве.

Глава вторая

Илья стоял, опираясь на лом, и разглядывал своего напарника. Тот спрашивал:

— Тебя звать Полтора Ивана?

— Коровин. Илья. Слыхал такое имя?

— Слыхал, — отмахнулся напарник. — Неинтересное имя, какое-то дореволюционное. Штаны пятьдесят четвертый размер носишь?

— Пятьдесят второй.

— Ого, малыш! А я, понимаешь, сорок шестой. Не удался ростом... Есть еще песенка: «Я в жизни много потерял, все оттого, что очень мал...» Знаешь такую? Ну вот, это про меня.

«Чудак какой-то», — решил Илья.

Их поставили рыть ямы: круглые, глубиной в три лопаты. Двадцать шесть ям под столбы. Здесь, среди голого поля, будет выстроена временная арматурная мастерская — простой навес с длинными столами внутри. Першина, бригадир, объяснила, что это очень важно — как можно скорее выстроить новую мастерскую, и Илья взял лом, а напарник, пряча плутоватые глаза, вооружился лопатой.

— А тебя как зовут? — спросил Илья.

— Меня?.. Вот тоже, — засмеялся напарник. — Как будто в самом деле хочешь знать, как меня зовут.

Илья удивленно посмотрел на него: дурачит или вообще такой, а тот задумался, глядя на бульдозер, вышедший корчевать кустарник. Мощная машина подползла к кусту, и началась яростная борьба: куст пружинил, подгибался, но, даже изувеченный, ободранный, опять вставал из-под гусениц. Бульдозер неуклюже разворачивался и снова с угрюмой решимостью шел на него, корежа землю.

— Вот так везде, — с легкой грустью сказал напарник. — Сюда мы ходили за брусникой. А дальше, говорят, стоял сосновый лес. Вырубили в войну...

Он встряхнул головой, как бы избавляясь от воспоминаний, и снова усмешка заиграла на его лице.

— Зовут меня Генкой. Генка Забелин, сын собственных родителей. Отец в мои годы ходил искать счастья с двугривенным в кармане. Так и родственникам в записке написал: «Ухожу искать счастья с двугривенным в кармане. Не волнуйтесь: найду — вернусь». Вернулся без двугривенного и без счастья... Не нашел. — Генка подумал немножко и добавил: — Я по его примеру сбежал из дома — попал в трудовую колонию. Жизнь нынче не та, не годится для путешествий. Живо поймали. Теперь вот завербовался в землекопы — больше никуда не берут. Ты не искал счастья?

— Начал.

— Да ну! Это на стройке-то? Интересно-о!

— А куда было поступать? Подскажи, если ты такой умный. На завод еще и не на каждый возьмут. Хотел в Сибирь махнуть, а секретарь райкома говорит: «Брось ерунду пороть, здесь рабочие нужнее». И устроился.

— В институт почему не пошел? Испугался, что ли, приемных экзаменов? Или теперь вообще не принимают, пока не поработаешь?

Илья замешкался с ответом, и Генка продолжал:

— Вообще-то правильно. А то вас, оболтусов, десять лет учат, а вы на экзаменах все равно ни «бе», ни «ме». Долби теперь землю.

— Точно. Долби теперь землю, — повторил Илья. — Отработал, выпался и опять долби. Говорят, мужество человека в том и заключается, что он каждый день умеет делать одно и то же.

— У нас кладовщиком работает Гога Соловьев, тоже из десятилетки, — сказал Генка. — Дубина несусветная...

— Спасибо, — сказал Илья, приняв замечание на свой счет.

Внешность у Генки приметная: выгоревшая кепочка с козырьком с воробьиное крылышко, косая челка, спадающая на лоб, и белый шелковый шарф, концы которого выбились из-под пиджака и мешают работать. Генка бережно ловит их на ладонь и закидывает за спину. Лопату он держит на вытянутых руках, словно боится запачкать ботинки.

— Все у вас так работают?

— У нас-то? — Генка сощурился в сторону прорабской будки — длинного тесового барака метрах в пятистах от них. — У нас все так. Как же еще? У вас, разве, по-другому?

— Все же побыстрее можешь? — спросил Илья.

Ему самому хочется бросить лом — с непривычки болят плечи, руки становятся непослушными, — да ведь никто за него рыть не будет. Завалиться бы на траву да вздремнуть или пойти к котловану, взглянуть, как там Галя. По-хорошему улыбнулся, вспомнив ее.

— Быстрее я могу, — словно издали доносится до него голос Генки Забелина. — Только зачем? Одну яму вырыли — двадцать пять осталось, все выроем — новую работу дадут. Начальство у нас бдительное, скучать не даст.

— Зато завод быстрее построим, — без охоты возразил Илья. — Для чего пришли сюда?

— Ладно, построим завод, — согласился Генка. — А дальше? Землекопы больше не потребуются.

— На новое место поедем. Теперь куда хочешь поезжай, кругом стройки.

— Снова торопиться поедем? — в прищуренных Генкиных глазах уже знакомые Илье насмешливые огоньки. — Этак и жизни не увидишь. Нет уж, дудки! Пусть начальство торопится.

Бульдозер надрывно ревел. Подцепив куст, он всей своей мощью старался вывернуть его, гусеницы проворачивались, зарывались в землю.

Словно очнувшись от оцепенения, Илья с силой вонзил лом в землю. Мелкий камешек, сверкнув искоркой, вылетел из-под лома, попал в Генку.

— Осторожнее, Полтора Ивана. Без глаз оставишь.



— Я бы хотел без тебя остаться! Надоел! Зачем представляешься!

Генка озадаченно потер ухо и спросил:

— А ты что представляешься? Думаешь, поверю, что доволен? «Завод быстрее построим, на другое место поедem». Поедешь ты, дожидайся. Получишь трудовую книжку — и фю-и-ить, поминай, как звали. Нагляделись мы на таких, которые хорошими словами шпарят. Вроде горы ворочают, а на деле — смехота одна.

Генка отшвырнул лопату, закинул концы белого шарфа за спину и уселся в сторонке на траву. Не спеша вынул из кармана помятую тонкую папироску длиной с добрый карандаш, прикурил и похвастался:

— Километр курим, два бросаем.

Илья не обращал на него внимания. Ворошил ломом землю, выгребал лопатой. У одного получалось даже скорее.

Обидно, что Генка причислил его к тем, для которых важен трудовой стаж, и только. Год назад Илья мог бы поступить в технологический институт — институт только что открыли, выпускники из других городов еще и не знали об этом, конкурс был небольшой. Многие его товарищи, не задумываясь, так и сделали. А он решил, что надо бы прежде выяснить, к чему его тянет. В школе об этом как-то не думалось: «Вот окончу десятый, тогда...»

Раз стоял у открытой двери фотоателье, разглядывал на витрине портреты городских красавиц и случайно услышал, как фотограф говорил кому-то: «Надо, наконец, взять помощника, какого-нибудь паренька...» — «Так возьмите меня», — просунув голову в дверь, предложил Илья. В тот же день его приняли на работу, которая поначалу показалась очень интересной. Но уже через полгода Илья понял, что это не то, чего ему хотелось бы. К фотографии он остался равнодушен. Он уже подумывал уйти, но однажды ему заявили, что он может завтра не выходить на работу — попал под сокращение. Это было кстати. Илья с легким сердцем забрал документы, получил двухнедельное пособие и заявил матери, что хочет уехать в Сибирь... А теперь — на стройке крупнейшего завода. Разнорабочим он, конечно, и не собирается долго быть, выберет себе специальность по душе. Какую — еще не ясно, это он решит, когда немного освоится.

— Работа дураков любит...

Снова Генка. Курит и беседует сам с собой.

— Тут вкалываешь, а другие сидят.

— Сиди, — беззлобно отозвался Илья. — Все равно от тебя толку мало.

Генка, к его удивлению, рассердился.

— Что ты ворчишь на меня? Первый день, понимаешь, и ворчит. Уж не думаешь ли, что ты всех дельнее, что с твоим приходом завод зараз выстроится?

— Наверное, думаю, — усмехнулся Илья. — Зачем же тогда приходить сюда.

— А я ведь вовсе не о тебе говорил: «Вкалываешь, а другие сидят», — пояснил Генка. — Першина разогнала бригаду на десять объектов. Тут спину гнешь, а там, может, поплевают в небо. Денежки поровну. Я знаю, что говорю... У нас раз было: месяц все вместе работали — в день дай бог приходилось, потому что все на виду, все видно, кто и как. А потом вот так же поразбросали кого куда, пришло время закрыть наряды — а выработки-то и нету, хитрили все потому что. Раз бригада, пусть все вместе работают.

Генка потянулся и застыл: неподалеку от них в сторону прорабской будки шла группа людей с геодезическими приборами.

— Неужели обед? Здорово! С тобой как в театре: не замечаешь, куда время идет.

Один из геодезистов повернул к ребятам. Генка пристально смотрел на него.

— Мальчик-люкс зачем-то к нам, — сказал он. — Гога Соловьев его так зовет. А фамилия у него обыкновенная — Виталий Кобяков.

— Люкс? — переспросил Илья, с удивлением узнавая красивого парня в синем берете, который ехал на подножке самосвала и кричал шоферу: «Мы еще встретимся!» Да, это был он.

— Привет квалифицированному рабочему классу! — еще издалека крикнул Кобяков, усмехнулся, показав белые зубы.

— Ладно, — без обиды сказал ему Генка. — Не всем быть бездельниками.

— Что, неправда? — спросил Кобяков, присаживаясь рядом с Генкой и прикуривая от его папиросы. — Рабочий класс — основа основ, как в книжках пишут. Двига-

тель истории. — Только что-то вы не в ладу с историей. Плохо поддается, а?

— Все наше, — сказал Илья.

Кобяков покосился в его сторону, затягиваясь дымом, спросил:

— По-моему, это вы стояли утром у котлованов? С де-вушкой, светленькой такой и хорошенькой, как цветок?

— Может быть, — неохотно ответил Илья и нахмурился.

Раз он сидел у Гали в комнате. Она искала книжку, которая куда-то запропастилась, потом, отчаявшись найти, позвала младшего брата и учинила допрос. Андрейка нашел книжку на подоконнике, за стопкой тетрадей, и радостно закричал: «Вот она! Какой я примечательный, правда?»

«Тоже примечательный, — подумал Илья о Кобякове, — заметил: хорошенькая, как цветок».

— А у вас тут не очень весело, — после некоторого молчания сказал Кобяков. Живые, острые глаза его сверлили Илью, ощупывали вплоть до складок на одежде.

— Да уж какое веселье, — махнул рукой Генка. — Смотри, надулся и долбит. Будто и нравится.

— Точно, — ответил Илья. — Нравится, потому что нужно за себя, да и за тебя работать.

Генка совсем обрадовался:

— Видал, чему его в школе научили? И нужно, и нравится! — Подумал немного и уже серьезнее спросил: — Тебе в самом деле нравится работать?

— А ты как думал, — усмехнулся Илья.

— У меня знакомый один был, — вмешался Кобяков, лениво попыхивая дымом. — Мамкин — фамилия. Он еще маленький был. Ушел раз к трамвайной остановке и заблудился. Навзрыд ревет. Подошел милиционер, спрашивает: «Что с тобой, мальчик?» — «Заблудился». — «Ну, это легко поправимо. Чей ты?» — «Мамкин». — «Да я знаю, что мамкин. А фамилия твоя как?» — «Мамкин». Милиционер пожал плечами и свел в отделение. Сидел, бедняга, целую ночь, пока родители не отыскиали. Но это так, к слову. Когда Мамкин подрос, любил надевать по воскресеньям праздничный пиджак. Наденет — и мысли у него становятся праздничными: не поругается ни с кем, никого не обидит. А вечером повесит пиджак в шкаф — и

на целую неделю опять обычный, до следующего воскресенья. Вот как бывает.

— Это ты к чему? — спросил Генка, насторожившись.

— Да так... Погляжу, валом валят на стройку. В институт не прошли, так хоть комсомольскую путевку скорей занять — все праздничнее.

— О чем ты? — еще строже спросил Генка.

— А ты не догадался? — язвительно сказал Илья. — Ему хотелось, чтобы выпускники навзрыд ревели, как этот самый заблудившийся Мамкин: «Ах, в институт не прошел, ах, что делать?» Только не охают они, а идут и работают, вот ему и кажется странным. Не верит им, думает — напускное, думает — в праздничные пиджаки оделись, а на самом деле охают и ахают, считают себя разнесчастными людьми.

— Вот как, — задумчиво проговорил Генка. — Мне, правда, тоже не совсем понятно: зачем учиться, когда с ломом? Работать, конечно, нужно, чтобы не стать опять обезьяной. Только учеба эта ни к чему.

— От учения человек становится сознательней — понимать надо, — поспешил сказать Кобяков. — Сознательно усматривает, как получше устроиться, при случае сознательно подставит ножку другому.

— Слушай! — возмутился Генка. — Зачем ты это нам рассказываешь?.. Тебя просят?

— Да я разве рассказываю? Отвечаю на твои мысли, дурень, — сказал Кобяков. — Счастливо оставаться.

И ушел, пружинисто и легко прыгая по взрытой земле.

«Вот так встретились, — подумал Илья. — Странное дело: увидишь человека — одним покажется, поговоришь — совсем другое впечатление».

— Зачем он приходил сюда? — спросил у Генки.

— А кто его знает! Наговорил чуши, противно стало.

Он взял лопату и молча принялся рыть яму. Оба старались не смотреть друг другу в глаза, словно чего стыдились. Потом Генка опять сказал:

— Я его хорошо не знаю. Но всегда так: поговорит, и потом будто ты виноват перед всеми.

— Зачем тогда поддакиваешь ему?

— Я поддакиваю? — удивился Генка. — Откуда ты взял?

— Ладно, — сказал Илья. — Давай поднажмем и — обедать.

Поработали немного, но так, что спины взмокли. Затем Генка выпрямился, вздохнул.

— Он, наверно, страшно умный. Все время говорит не как все.

— Сейчас я тебя обзову болваном, и считай меня умным.

Генка изумленно поднял голову.

— Объясни.

— Посмеиваться над другими — ума много не надо.

— А! Так бы и сказал сразу. А то — «болван». Сам не лучше, — расправил плечи, потянулся и заметил, зевая: — Земличка не дай бог! По-моему, тут дорога.

Илья невольно оглянулся. Низина — конца-краю ей нет, всюду мелкий кустарник и площадки, заваленные кирпичом и лесом. На каждой из них со временем поднимется здание — частичка будущего завода. Ближе к шоссе видны металлические мачты высоковольтной линии. А левее разбросаны небольшие деревеньки — улицы голые, без деревца. Скучные места, хорошо, что строят завод. Площадка, где они роют ямы для арматурной мастерской, на высоком месте и заросла травой. Илья пытается понять, почему Генка решил, что здесь проходит дорога. Никакого следа.

— По-моему, тут дорога, — упрямо повторил Генка.

Глава третья

Прорабская будка — это и столовая, и кладовая, и комната отдыха, где можно почитать и сыграть в домино.

Когда Илья и Генка пришли на обед, возле будки стоял кладовщик Гога Соловьев, а около него переминался с ноги на ногу щуплый рабочий, похожий на подростка. На Гоге был совсем приличный пиджак и темные сатиновые брюки на резинках, на ногах — коричневые туфли с обшарпанными, но тщательно начищенными носами. Лицо у Гоги продолговатое и бледное, а черные волосы — хоть и жидкие, но почти до самых плеч — ни дать, ни взять ученик духовной семинарии. А на рабочем, стоявшем около него, — потрепанная брезентовая куртка с заплатами на локтях и такие же брюки, заправленные в голенища кирзовых сапог. Гога поглядывал на него чуть

презрительно, скривив тонкие губы. Взгляд шуплого рабочего был заискивающий. Сразу понятно, кто просящий, а кто дающий.

— Здорово, Серега, — сказал Генка рабочему.

— Здравствуй, Гена, — сказал Серега и ласково, даже застенчиво улыбнулся. — Как тебе сегодня работалось?

— Прилично. У меня сегодня хороший помощник. Знакомься, это Илья Коровин. Поступил сюда, потому что в институт не попал.

Серега с любопытством взглянул голубыми кроткими глазами на Илью, который стоял чуть позади и отряхивал от пыли костюм.

— Как жаль, — сказал он. — В свое время я тоже экзамены держал.

— Скажи ты! — удивился Генка. — Где экзамены держал?

— Где? — свирепо передразнил Серега. — Ты думаешь, в наше время школ не было? — Помолчав, добавил с ехидством: — Некоторые думают.

— Ладно, не задирайся, — сказал Генка. — Чего у него выпрашиваешь? — И кивнул на кладовщика, похожего на ученика духовной семинарии.

— Да вот, спецовку. Своя одежонка порвалась. — Серега потряс куртку за полу. — Еще на фабрике дали. Там и валенки давали.

— Даже валенки?

— Толстенные... Кочегарам всегда валенки дают. — Подумал немножко и опять добавил: — Толстенные...

Гога зевнул и лениво пошел в кладовую, через минуту вынес брезентовую куртку и брюки, встряхнул, любовно разгладил складки.

— Теперь до смерти не износишь, — сказал он. — Расписывайся.

Серега порозовел от волнения. Долго прилаживался к ведомости, придирчиво оглядывал карандаш, который подал ему Гога, и неожиданно расписался с такой закорючкой, что Генка ахнул.

— Как министр, — похвалил он.

Но кладовщик взглянул на подпись и поморщился:

— Что за народ! Расписываться как следует не может. Темнота! Пойми теперь, что руку приложил Тепляков.

— В армии писарем был, — смущенно улыбаясь, пояснил Серега. — А после шофером работал и потом на фабрике... кочегаром.

Он отошел в сторону и стал примерять спецовку. Она была слишком велика для него. Но Серега особенно не печалился: из большой маленькая выйдет.

— Спустишься в котлован — девчата в обморок, — одобрительно заметил Генка. — Красивей парня не найти. К тому же, если резинки продеть в рукава и к поясу, — совсем модник, не хуже Гоги.

— Темнота, — презрительно сказал Гога и посмотрел на небо, где плыли белые барашки облаков.

— Когда мне дашь спецовку? — спросил Генка.

— Пока в своем походишь, — ответил Гога, не удостоивая Генку взглядом. — В ведомости тебя нет.

— Вот заноза! Когда же я буду в ведомости?

— Спрашивай Першину. Мне что укажут, то и делаю.

— А по своему разуму что-нибудь делаешь? — осведомился Генка.

Гога сделал вид, что ничего не слышал. Стал запирать кладовую, а ребята пошли обедать.

У входа в столовую сидел на лавочке Виталий Кобяков — мальчик-люкс. Шагах в десяти две девушки в брезентовых спецовках, в рукавицах разгружали машину с арматурой — решетки из проволоки толщиной с палец. Кобяков смотрел на них спокойно и внимательно, как смотрят из окна поезда на телеграфные столбы. Несколько решеток сцепилось, и девушке, которая была у машины, пришлось принять все сразу. Под тяжестью она переступила ногами, на открытой шее напряглись синие жилки. Илья в два прыжка подскочил к ней, стал помогать. Девушка сначала удивленно вскинула на него продолговатые, кофейного цвета глаза и тут же прикрыла их ресницами, пряча улыбку.

— Спасибо, — певуче проговорила она, когда решетки были сброшены на землю, и опять блеснули ее глаза.

Отряхивая от ржавчины руки, Илья повернулся и заметил на Генкином лице глупую ухмылку. А Виталий Кобяков сидел на лавочке и хохотал: желтоватая кожа около глаз собралась в мелкие складки.

— Так завоевывают женские сердца, — сказал он и подмигнул Илье. — Опыт, видать, есть.

Девушки, разгружавшие арматуру, забрались в кузов, и машина тронулась.

— Что же ты с ней не договорился, шляпа, — с сожалением сказал Кобяков и кивнул на девушку в ватнике, посматривавшую на них. — Вечерком она бы тебя отблагодарила.

Илья густо покраснел, но смолчал. А Кобяков опять засмеялся, и опять желтоватая кожа у глаз собралась в мелкие складки.

— «Странно... — подумал Илья. — Когда смеется, лицо становится злым. Что же он такое?..»

— Ловко у тебя получилось, — говорил Генка, поднимаясь с Ильей по затоптанным ступенькам крылечка. — Мне бы в жизнь не додуматься, чтобы помочь девчонке. Пусть сидят дома, раз тяжело.

Илья покосился на него сверху вниз. Спорить с Генкой тоже не хотелось.

В столовой, которая занимала половину тесового барака, было полно народу. Генка сразу затерялся среди своих знакомых. Не дождавшись его, Илья выбил талоны только себе и встал в очередь у раздаточной. Но простоял минут пятнадцать и почувствовал что-то неладное: очередь не продвинулась ни на шаг. Дивясь, он стал приглядываться, что же происходит. До него стояло человек десять. Он был за здоровым рыжим детиной, который сжимал в потном кулаке кучу талонов. «На весь плотницкий колхоз», — самодовольно объяснил он Илье. Подошел юркий паренек, тоже с кучей талонов, и пристроился в очередь. Дитина хотя и ничего не сказал ему, но начал поглядывать на часы и бурчать что-то себе под нос. Тогда паренек перепустил его, и тот очутился перед Ильей.

— Послушай, — вежливо сказал ему Илья. — Выходит, это я тебя пустил.

Паренек стал серьезно доказывать, что Илья ошибается, и призвал в свидетели рыжего детину. Тому что — подтвердил: конечно, стоял.

А время шло.

С таким успехом он мог бы простоять еще час, не вспомни о нем Генка. Увидев Илью все еще в хвосте очереди, Генка взял у него талоны и передал кому-то около окошечка раздаточной.

— Тут год можно стоять, — сказал он и пояснил: —

Сплошной блат. Никому уже от него не стало выгодно, и наводить порядок тоже никому не хочется.

Себе Генка взял в буфете стакан мандаринового напитка, сухую котлету и горбушку хлеба. Илья простодушно удивился:

— Неужели наешься?

— Финансы поют романсы, — беспечно сказал Генка и, подумав, добавил: — А вообще-то мы больше не зарабатывали.

— Что ж, теперь я виноват? — спросил Илья, уловив в его словах нечто вроде упрека.

— Кто больше? — не моргнув, сказал Генка. — Еще погоди, что бригадир скажет. Меня она ругать не будет, так и знай.

— Это почему? — недоверчиво спросил Илья.

Генка набил хлебом полный рот и только промычал что-то в ответ.

Он не ошибся. Обед уже подходил к концу, когда в столовую пришла Першина — женщина лет тридцати, по-мужски крепкая, загорелая. Волосы она завязывала на затылке пучком, открывая небольшие уши с розовыми мочками.

Илья искренне залюбовался ею: этакая красавица.

Першина подсела к ним за стол напротив Генки.

— Спроси, что он меня глазами ест? — после некоторого молчания сказала она Генке.

— Что ты ее глазами ешь? — спросил Генка и засмеялся.

Илья засопел от смущения, не решаясь больше поднять глаза на бригадира.

— Сейчас смотрела, что вы там наковыряли, — сказала Першина. — Другие в первый день стараются, цену себе набивают... Я думала, до обеда закончите.

Илья понял, что она обращается только к нему, и хмуро сказал:

— Работаю, как умею.

— Вижу, что не умеешь, — уточнила Першина, а потом кивнула Генке: — Подведет тебя новичок под монастырь.

Генка ухмыльнулся, пряча глаза, а Илья натянул рукава пиджака так, что затрещали швы. Он весь подобрался от обиды и с вызовом сказал Першиной:

— Может, он меня подведет?

— Не думаю, — спокойно возразила она. — Забелин у нас из хороших работников. — Спросила Генку: — Ты объяснил новичку, какая у нас бригада?

— Да нет, не успел еще, — скромно отозвался Генка.

— Бригада наша передовая. Потому-то лодырей мы и не терпим. Вот хотим на первое место выйти. Вытянем, Генок?

— Сможем, — сказал Генка. — А Илья исправится...

— Само собой, — заключила Першина. — Не то — от ворот поворот.

«Издаются, черти, — подумал Илья. — Ну погоди, Генка, после обеда я тебе покажу, в мыле будешь работать, не на того напал».

Взбешенный, он хотел было спорить с бригадиром, но осекся: по лицу Першиной было видно, что ее сейчас занимает совсем другое. Она пододвинула стул ближе к Генке, положила ему руку на плечо и тихо спросила:

— Что брат не показывается? Все болеет?

— Да нет, картину рисует, — так же тихо сказал Генка.

— Картину? Что же на этой картине? — спросила Першина, ударяя на слове «картина».

— Да так... ничего особенного. В комнату к безногому солдату привезли дрова. Комната голая... Старого учителя посадили на маленькую скамеечку, все ученики стоят. И санки с дровами около дверей... У всех под мышками книжки. Солдат — ученик. Живет один. Пришел с фронта и живет один. Они ему дрова привезли из школы, чтобы не было холодно. «Учащийся вечерней школы» называется.

— Это он себя?

— Не знаю... Не может быть, — задумчиво сказал Генка. — Понравится картина?

— Не думаю. Слишком невеселая. Что он все такие выбирает? То вдруг убитого солдата в окопе нарисовал, и папироска курится... Приезжал бы рисовать Перевезенцева, работает — загляденье.

— Пробовал же! Ничего не получается.

— Это Гришка Перевезенцев виноват. Застывает, как мертвый. Время надо, пусть привыкнет Гришка под карандашом сидеть.

— Скажу Василию.

— Скажи. От меня привет обязательно передай. Ждем его здесь. Тут такие дела разворачиваются... Пусть рисует...

Неожиданно в открытое окно столовой влетела ласточка, забила под потолком, не зная, куда деваться. Какой уж тут обед — все сочувственно следили за усилиями птицы вырваться на волю.

— Закрутилась ты, как я, горемычная, — вдруг прошептала Першина. Сказано это было с такой болью, что Илья вздрогнул, украдкой посмотрел на бригадира. Она наблюдала за ласточкой, запрокинув голову, чуть вытянув шею, — казалось, сама сейчас сорвется и полетит вслед за птицей, укажет выход. А когда ласточка вылетела и в столовой снова поднялся обычный шум, вздохнула глубоко, провела ладонью по глазам.

— Только захотеть — и все будет. Ведь правда? — спросила Генку.

— Конечно, — самодовольно ответил Генка, не совсем разобравшись, о чем был ее вопрос.

Илья смотрел в окно на дорогу, проложенную от котлованов напрямик через кусты, мимо застроенного гаража, с грустью думал, что он этим людям совсем чужой. Вот они говорят о самом сердечном, близком, не обращая внимания, что рядом сидит третий человек, будто его и нет...

По дороге шли девчата — шаг ровный, спокойный и усталый. А одна позади — понурив голову, легонько размахивая рукой. Когда приблизились, Илье показалось, что это Галя. Он вскочил и, ни слова не говоря, бросился к двери. Загремел стул, покачиваясь на неровном полу.

— Какая его муха укусила? — изумленно спросила Першина.

— Не знаю, — сказал Генка и попросил: — Ты его больше не ругай. Это я виноват, а он объяснить не мог.

— И то чувствую. Никогда не было, чтобы новичок с первого дня лодырничал. За все время работы такого не видела. Зачем ты так сделал?

— Позлить его.

— Зачем?

— Посмотреть, что выйдет.

Илья встретил Галю у недостроенного гаража. Он очень обрадовался ей и не скрывал этого, но она на него смотрела совсем невесело. Они отошли с дороги к гаражу и сели на доски...

По ту сторону стены, расстелив на деревянном щитке фуфайку, лежал кладовщик Гога Соловьев. Заложив руки за голову, он смотрел в небо, по которому медленно ползли клочковатые облака. Бледное Гогино лицо играло сейчас румянцем, в глазах — волнение. Гога думал. Вот уже второй год работает он на стройке, а чувствует себя среди людей неуверенно. Иные после работы соберутся в кружок, сидят, курят неторопливо и разговаривают. Как будто и домой спешить незачем. Главное, говорят о том, на что у Гоги слов нету: подвезли арматуру неправильно-го сечения, вышел из строя бульдозер, а надо было расчищать площадку, вырыли траншею, но она наутро осыпалась, пришлось переделывать заново. Интересно ли говорить об этом! Гога приучил себя: кончилась работа, вскакивай на попутную машину и — к дому. Так бы и жить, но почему-то все считают, что Гога не в коллективе, а сбоку припека. Одна радость — когда заберется куда-нибудь подальше от людского глаза и станет думать. О чем? Мало ли о чем можно думать, если никто тебя не тревожит! Например, вдруг станет в мыслях прорабом Колосницыным, который в глазах Гоги — большая фигура. И воображение сразу нарисует яркую картину. Лязг работающих машин, гомон сотен людей раздается в ушах. И всеми механизмами и людьми распоряжается Гога. Властвует он тут с безнаказанностью монарха. Едва раскрывает рот, люди бросаются исполнять приказание. Бригаде Першиной достается, конечно, больше всех. Гога вытягивает руку вперед — и бригада послушно корчует кусты вдоль заросшего ручья по лодыжки в болотной воде. Генка Забелин, который в обычное время досаждал Гоге на каждом шагу, униженно просит передохнуть. Но Гога отвечает на его просьбу жестом: никаких разговоров, хватит, набаловали вас!

Мало ли о чем приятном можно думать, когда остаешься наедине с собой.

Нынче он вспомнил школьного учителя Качурина. Гога и сам не мог объяснить, почему вдруг Качурина. Он

только и запомнил учителя на выпускном вечере, когда тот произносил напутственную речь. «Каждый в свое время должен кем-то стать. Неважно, кто из вас кем будет, важно, чтобы вы становились людьми». Слова учителя врезались в память, но вот лица его Гога так и не мог припомнить. «Бывает же такая напасть неизвестно к чему», — удивился он. А сам думал и думал о том школьном вечере, как хорошо он закончился: все отправились к нему, он нашел у отца вино, танцевали, слушали музыку.

Когда он услышал, что снаружи за стеной кто-то сел на доски, насторожился и стал прислушиваться: опять будут говорить о неправильном сечении арматуры?

...А Илья старался рассмешить Галя.

— Что с тобой? Что ты? — без конца спрашивал он.

Галя чуть отвернувшись, глаза ее были полны слез.

— Что произошло? — уже сердито спросил Илья.

— Ничего особенного, — сказала наконец она, пытаясь улыбнуться. — Произошло то, что мне сегодня досталось... Не могу я больше оставаться здесь. Понимаешь — горячо заговорила она, — не могу, сил у меня таких нет. Грубые все, орут, ругаются. И тяжело. Знаешь, как тяжело? Вот!

Она показала руки. На ладонях вздулись кровяные мозоли.

— Слышала о бетонщиках, как здорово работают. Может быть, это и в самом деле героизм. Не знаю... Но это не женская работа. Сумасшествие какое-то! Я брала на лопату бетон и раскидывала его. Выкладывали дно котлована. Их там штук двадцать, под нефть... В котлован заедет самосвал, свалит бетон, а мы раскидываем его лопатами, чтобы ровно было. Лопата совковая, полпуда весом. Как кинешь раз, так полпуда. Все время ожидаешь, что вот сейчас у тебя что-то оборвется внутри. А потом вибратор, как будто тебя опутали проводами и включили ток — такое состояние... И люди. Нельзя же так... ведь первый день! А они смеются. Забавно. Какая я им цаца? У меня отец и мать — не рабочие. Ну и что? Это разве мешает? Я же сама пришла сюда. Не могу...

Чем дальше она рассказывала, тем спокойнее становился Илья. Видимо, новичков встречают одинаково. А что на руках мозоли и работа тяжелая — не беда, привыкнет.

— Брось, Галка, не расстраивайся, — весело сказал он. — Чего не бывает. Ты скоро втянешься и сама смеяться будешь, что так говорила. Народ тут славный, точно. Меня тоже поставили с одним. Хороший такой парень... И бригадир хорошая... Говорит, молодец, что хоть так сработал. Хочешь, я попрошу, она переведет тебя в нашу бригаду? Мы тоже бетонные работы будем делать. Вот выроем траншеи под фундамент ТЭЦ — и бетонировать надо. У нас и плотники есть, и каменщики, потому что комплексная бригада. Мы сегодня для арматурной мастерской место готовили: будут делать арматуру, чтобы не привозить с других участков. Хочешь, попрошу Першину?

Галя слушала, но плохо понимала. Одно знала, что едва ли она привыкнет к работе и людям, с которыми пришлось начать первый трудовой день.

— Нет, Илья, — сказала она. — Я ведь даже не представляла, что это за работа. Слышала, а не представляла. Я сегодня подумала: пройдет несколько лет, и ребята из школы пойдут на стройки и заводы, не думая и не мечтая о чем-то другом, все будет само собой разумеющимся. А мы все же по-иному хотели...

— Ты жалеешь, что не попыталась славать в институт? Не сознаешься, а жалеешь. И, наверно, клянешь меня за то, что уговорил идти сюда...

— Что ты, Илья. У меня своя голова на плечах. Захотела — и пришла. А что не знала, как тут, — это верно.

— Через неделю ты будешь говорить по-другому. Привыкнешь. Точно! — убежденно добавил он. Он хотел еще что-то сказать, но за стеной послышался грохот раскатившихся кирпичей. Илья заглянул в оконный проем и увидел сконфуженного Гогу Соловьева.

— Щиток упал, — сказал Гога, вылезая к ним через окно.

Его тянуло на разговор, потому что говорили здесь не об арматуре, а о школе, о тяжести работы — самом близком ему.

— Вот и Гога скажет: работа интересная, и народ тут замечательный, — проговорил Илья, ничуть не удивившись появлению кладовщика.

— Лучше не надо. Блеск! — сказал Гога. Он стоял перед ними, отряхиваясь от пыли, потом пятерней провел

по длинным волосам. — Будем друзьями, — продолжал он уже с воодушевлением. — Как и вы, попал сюда по недоразумению. Второй год бухаю. Стаж!.. Кажется, вечность проработал. Страшно утомительно идет время. На исходе лето, впереди бледная осень. Б-р-р! — И, повернувшись к Гале, запросто предложил: — Слушай, девочка, я хорошо понял. Бетон не для нежных рук, и брызги его не для милого личика. Тебе нужна другая работа. Не горюй, все будет в порядке. Есть приятель: мальчишлюкс. Он говорил, им помощник нужен. Будешь поглядывать в нивелир и отметочки делать, высоту измерять и так далее. Блеск, не работа! Измерение высоты! Виталий все меня звал в геодезисты, да я тут устроился неплохо. Блеск! — еще раз повторил он.

Гога замолк, и воцарилось такое молчание, что он нервно поежился.

— Что? — спросил он Илью, остолбенело смотревшего на него.

— Да н-ничего, — заикаясь от волнения, сказал, наконец, Илья и поднялся, намереваясь полезть в драку.

— Оставь его, пусть, — остановила Галя и впервые за все это время улыбнулась. Гога показался ей очень забавным.

— Хорошо, — согласился Илья. — Только пусть он выбирает выражения, когда о тебе говорит, — и добавил вполголоса: — «Блеск! Впереди бледная осень. Б-р-р!»

— Ого! — удивился Гога, услышав свои слова. Что-то ему не понравилось, и он сказал: — Тьма, что делать.

Из столовой вышел Генка Забелин, посмотрел по сторонам и, насвистывая, направился к гаражу. Увидев напухшие глаза девушки, злого Илью и с ними кладовщика, Генка сразу оценил обстановку:

— Что, спецовку не дает? — спросил он Галю. — А вы ему физиономию поцарапайте!

— Видите! — завопил Гога. — Все тут такие! Только и слышишь грубости... «Становитесь людьми!» Да, станешь, как же! Где хорошего набраться? Что было, растеряешь!

— У тебя было? — с веселым любопытством спросил Генка. — Говори, что у тебя было? — Да еще подмигнул Илье и Гале: послушайте, мол, люди добрые, что у него было.

Гога оглядел всех и промолчал.

Из комнаты по всему коридору разносилась песня: «Первый батальон, вперед, в атаку...»

Генка, помешкав немного, осторожно постучал.

— Войди, о человек! — крикнули из комнаты.

Генка облегченно вздохнул и рассмеялся. Василий в хорошем настроении. Толкнул легкую, щербатую дверь.

Как всегда, ужасный беспорядок. Кровать кое-как прикрыта одеялом, на полу окурки, и стелется к потолку сизый табачный дым. У ног брата палитра с живописными ляпками красок, она всегда напоминала Генке фанерку, случайно побывавшую под куриным насестом. Василий сидел перед полотном, натянутым на легкий подрамник, и курил.

Генка сразу подошел к окну, открыл форточку. Дым потянул на улицу легкой завесой.

— Генок, не ругай, все в порядке, — сказал Василий.

Генка взглянул на картину. Вот уже который день ему кажется, что все в ней на своем месте, а Василий часами сидит и не столько подправляет, сколько думает. Весь извелся за последние недели.

— Гена, обед я не варил. Тошно варить из картошки. Остального, как ты знаешь, у нас сегодня ничего нет.

— Я пообедал, — сказал Генка. — А на ужин что-нибудь сообразим.

— Ты разве не идешь сегодня строить собственный дом?

— Не собственный, а своими руками, — поправил Генка. — Я тебе сколько раз объяснял.

— Какая разница, — возразил Василий. — Важно, чтобы он был построен и мы получили в нем квартиру.

— Комнату, — терпеливо поправил Генка. — Квартиру дают на большую семью, а нас двое.

— Ладно, — согласился Василий. — Значит, ты сегодня не пойдешь?

— Пожалуй, я вообще больше не пойду. Я уступил свое место Сереге Теплякову. Ему хотелось строить дом. Он живет в общежитии, а старше меня втрое. Пускай будет вместо меня.

— Как хочешь, — без интереса сказал Василий.

— Мне надоело каждый день бегать с одной работы на другую, — пояснил Генка. — Проживем и здесь. По-

следнее время я не высыпаюсь, а сплю даже больше, чем раньше.

— Иногда бывает, — сказал Василий. — Если ты отдал свое место, ладно, будем жить здесь, я согласен.

Генка вышел в коридор и долго плескался у крана. Потом, вытираясь мохнатым застиранным полотенцем, встал позади брата, не сразу решаясь сказать, что думал.

— Першина просила передать, чтобы ты приезжал рисовать экскаваторщика.

Василий пристально посмотрел ему в глаза.

— Перевезенцева? — спросил он.

— Ага.

— И ты мне передаешь это? Ты тоже считаешь, что его надо рисовать?

— Не знаю, надо ли его рисовать, — сказал Генка, не глядя на брата. — До полочки у нас никогда не хватает. На стройке оформлять много чего надо.

— Значит, надо идти, — сказал Василий и добавил с надеждой: — Может, картину на выставке купят. Пропустят ее на выставку?

— Я спрашивал Першину, понравится ли картина. Она сказала: «Не думаю».

— Что сказала Першина? — встрепенувшись, спросил Василий.

— «Не думаю».

Складка легла у Василия на переносице, словно он собирался чихнуть.

— Ты не знаешь, почему она так решила?

— Мрачная. Все любят веселое. Кому хочется плакать?

— Первый батальон!.. — пропел Василий и хмыкнул. — Генок, это самая веселая картина в мире. Точнее, она смешна, как мир. Жил себе парень, радовался всему, девушку любил. Потом война... Долг потребовал: «Иди воюй!» И он воевал. А пришел с фронта — стал навerstывать упущенное. Что из того, что калекой остался, а девушка другого полюбила! Главное, не убили в нем стремления к цели. Чем же плоха картина? — Василий отбросил папиросу и тут же закурил новую, руки его дрожали.

— Что делать, Генок, — уже тише сказал он. — Веселее у меня не получается. В таких делах против души не

пойдешь... А лгать? Плохо на душе — улыбайся или делай вид, что улыбаешься, в морду дадут — не кривись и боже упаси дать сдачи? Нет, человек должен делать то, что думает, что ему хочется. В конечном счете моя картина воспитывает добрые чувства...

— Вася, папирота рубашку прожжет.

— А? — не сразу понял брат. — Ну да, прожжет. Спасибо, Генок. Не знаю, что бы я без тебя делал.

Он поднялся, хрустнув протезами.

— Это ты верно, — заговорил снова. — Надо быть во всем спокойным. Что у тебя нового? Не взяли на курсы?

— Пока нет. Знаешь, в бригаду пришел новенький. Долговязый, как журавль. Я над ним издевался, думал, по физиономии заедет, а он теленок. И фамилия у него — Коровин. Себя защитить не может. Смехота! Девчонке помогать бросился...

— Сердце, знать, доброе, — сказал Василий. — Хорошо иметь такое сердце.

Генка оправлял кровать, старательно устанавливая верхнюю подушку на ребро, чтобы было красиво.

— Может быть, — сказал он не сразу. — Только нахрапистым жить легче. Помнишь, ты говорил, что не понимаешь нынешних ребят, что вы больше решали и действовали, а сейчас, прежде чем сделать что-то, вокруг находятся, наговорят с три короба. Вот такой... Я, конечно, не скажу, что это так, потому что не узнал его хорошо, но думаю, что такой. Правда, один раз мне стало завидно: рыть землю — удовольствия мало, а он старается и говорит, что нравится. Мне показалось, что вовсе ему не нравится, вбил себе в голову, что надо где-то работать. Будешь работать, когда в институт не так-то просто попасть. А потом мне стало завидно... И девчонке помог. Я бы никогда не додумался. Ну там на улице или в трамвае — может быть... А на работе всем не будешь помогать, ноги протянешь.

— Что же он сделал? — спросил Василий.

— Ничего особенного. Пустяк. Помог сбросить арматуру. И все. А мы еще посмеялись. Правда, я не так, а Кобыков хохотал с удовольствием да еще сказал такое, что у Ильи уши порозовели. Скотина он все же порядочная.

— Кто?

— Да Кобяков. Геодезист. Сказал такое, что Илья... удивляюсь, как не бросился на него.

— Откроются курсы, оба пойдете учиться, не все быть разнорабочими. Подружился с ним?

— Да нет пока, — сказал Генка. — Но, наверно, подружимся. А девчонка ему нос натянет, как пить дать.

— Какая девчонка? Которой помог арматуру сбросить?

— Да нет, — сердясь на непонятливость брата, сказал Генка. — Вместе они устроились к нам, только в разных бригадах. С работы ехали в автобусе, она слушает Илью, а сама на других поглядывает. Кобяков тут как тут, увивается около нее. «Я к новым местам равнодушен, как чемодан». Это понимай — везде побывал. «Я люблю такой город, где человек нуль». Наш ему, видите ли, мал: провинция, каждый человек заметен. Девчонка, понятно, во все глаза на него смотрит. А Илья зубами скрежещет и поделать ничего не может. Все по-приличному, не придерешься. Натянет она ему нос. Таких не любят. Ей сейчас героя надо. Потом опомнится.

— Ты не думал, Генка, Першиной какого парня надо?

— Как ты, — не раздумывая, ответил Генка.

— Кхе... Это почему? — Василий смущенно отвернулся, еще раз кашлянул. — Безногий, видишь, и работать не умею.

— Такого, как ты, ей надо, — сказал Генка. — Першина сама все умеет.

* * *

В то время как Генка осторожно постучал в щербатую дверь своей комнаты, Илья Коровин тоже подходил к дому. В автобусе было тесно и душно, а на улице так приятно обвевало ветерком, что он не очень торопился. Поглазел на витрину часового магазина, подумав, что из первых получек надо будет выкроить на хорошие часы, обязательно с широким металлическим браслетом. На той стороне улицы, чуть наискосок, — фотоателье, где несколько месяцев работы ничего не оставили ни уму, ни сердцу.

Конечно, работу на стройке не сравнишь: есть возможность и устать, и порадоваться, и позлиться. Работать там будет интересно. Правда, было чувство вины за Га-

лю, хотя и неясное: зачем уговорил устроиться на строительство? Не по ней эта работа. Развеселилась, когда ехали в автобусе, а мысли все равно были далеко-далеко. А тут еще этот Кобяков со своими шуточками и приставаниями. Видный, красивый парень, а нутро неприятное, злое и, когда смеется, желтая кожа у глаз. За один день Илья сумел возненавидеть его. Не часто такое бывает.

Мать уже пришла с работы и гремела на кухне посудой. Она работала, пожалуй, в самой разумной организации, которая пышно именовалась «Горзеленстроем». Каждое утро около ста женщин, пожилых и добрых, приходили на улицы и в скверы города и высаживали цветы. А когда цветы распускались, ими любовались все желающие граждане и гражданки и даже у самых злых рождались после этого хорошие мысли. Очень разумная организация! Екатерина Дмитриевна работала в «Горзеленстрое» уже несколько лет, с тех самых пор, когда врач посоветовал ей уволиться с текстильной фабрики.

Увидев сына, она улыбнулась мягко, как только умеет одна мать.

— Я ждала позднее. Раздевайся, сейчас подогрею обед.

— Пять километров — не так уж далеко, — сказал Илья. — Автобус идет двадцать минут.

Заметив на столе хлеб, он отщипнул изрядный кусок и с аппетитом стал есть.

— Здорово проголодался, хотя и обедал, — пояснил он. — Если так пойдет дальше, начну толстеть.

— В нашем роду будто толстяков и не было, — откликнулась на его шутку мать. — Как тебе работа?

— Не знаю, что и сказать. Не разобрался еще. Понимаешь, думал, уже завод, а там кустарник, земля изрытая. А народ такой — хоть ложись, хоть падай.

Екатерина Дмитриевна промолчала, и ему пришлось продолжать.

— Новичков встречают очень уж по-хорошему. Сначала Генка, парнишка такой, лет шестнадцати. Волянит, волянит, аж тоска берет. А потом мне же из-за него и попало. Знаешь, ни разу не видел бригадира-женщину. Вот она и принялась ругать, просто так, для веселья. Говорит, что я бездельник, а попал в передовую бригаду. Похож на бездельника?

Екатерина Дмитриевна спрятала улыбку.

— Другой раз забываешь сделать, что тебя просят. Это с тобой бывает.

Илья уловил в голосе матери оттенок легкой насмешки, но это его не обидело.

— После обеда мы сделали все, что было задано. Генку словно подменили. И все же какой-то осадок от разговора с бригадиром остался. Не понял я ее. Залетела ласточка в окно, когда обедали, Першина шепчет: «Закрутилась ты, как я, горемычная». А через минуту опять смеется. Молодая еще...

— Как ее зовут-то?

— А вот не знаю. Все: Першина да Першина. Мне и в голову не пришло спросить... Завтра мы будем вырубать кусты, несколько бригад сразу. Сегодня бульдозер на корчевку поставили, а он в землю зарылся. Там же болотистое место. Генка говорит, что они ходили туда за брусникой. А дальше сосновый лес стоял. Кусты вырубать обязательно надо: нужна площадка для строительства ТЭЦ. Ух, и завод будет — на десять километров длинной...

Ему хотелось не думать о работе, но, к удивлению своему, он почувствовал, что это невозможно.

— Когда рыли ямы, подошел один тип. С умными глазами, красивый, и в берете, как француз. Вдруг ни с того ни с сего рассказал про своего знакомого, который, когда наденет праздничный пиджак, думает обо всем празднично, а снимет — и до следующего воскресенья говорит уже то, что не празднично. Наверно, такие люди есть. Но он намекал на меня.

Не переставая разливать суп в тарелки, Екатерина Дмитриевна посмотрела сыну в глаза, и ей подумалось, что за один день в нем что-то изменилось.

— Какие-нибудь были на то причины, — заключила она.

— То-то и оно, что никаких. Я говорил, что думал, а он решил — красуюсь.

— Зачем тогда обращать внимание? Сказал — заблудился.

— Я тоже подумал, — согласился Илья. — Да не всегда так удается.

— Не обращай внимания, — повторила Екатерина Дмитриевна. — И не расстраивайся. К работе привыкнешь, и люди покажутся другими.

— Я в этом уверен. А Першина говорит, что ничего не умею делать. И Генку выгораживала, а он нарочно не работал.

— Человеку хочется когда-то отдохнуть,— рассмеялась она на то, что у него никак не выходит из головы разговор с бригадиром.

А Илья продолжал рассказывать о том, что запомнилось накрепко. Как Серега просил спецовку, заискивал перед Гогой, как плакала Галя.

— Все вы еще дети,— вздохнула мать.

Илья ел торопливо, а когда вылез из-за стола, подошел к окну, которое выходило на тесный двор. Там происходило самое обычное: носилась ватага мальчишек, радуясь неведомо чему, гуляли матери с детьми, а на скамеечке собрались древние старушки — мирно о чем-то беседовали.

Илья представил, как пройдет двором, старухи скажут: «Рабочим стал, не вытянул в институт-то».

— Давай-ка я тебе разберу постель,— сказала Екатерина Дмитриевна.— Поспи, а вечером сходи в кино или на танцы. И все придет в норму.

— Какие там танцы,— отмахнулся Илья.— У меня ноги не двигаются.

— И все же надо погулять,— настойчиво сказала она.— Сходи к дяде. Старики будут очень рады.

— Схожу, только не сегодня.

Илья принялся разбираться на этажерке. Вместе с книгами здесь еще были учебники и тетради. Учебники были как новенькие. Он полистал их, потом связал бечевкой и засунул в самый низ. А тетради, не проглядывая, собрал в охапку и понес на кухню.

Сидя на полу и разрывая их на мелкие кусочки, говорил, словно оправдывался:

— Поступать буду в институт — все равно устареют. В фотоателье работал, так хранил, а сейчас зачем они нужны...

Слушая его, мать догадалась, что новая работа — это уже не пустое увлечение, тут серьезно. Что бы ни было, но она уже и тем довольна, что не вспоминает больше о Сибири.

— Хочется, чтобы все кругом делали друг другу только хорошее, понимали друг друга,— неожиданно сказал он в ответ на какие-то свои мысли.

— В конце концов так и есть,— заметила Екатерина Дмитриевна с улыбкой.— Только люди-то выражают свою любовь и уважение каждый по-своему.

Илья прикрыл глаза, и в памяти снова поплыл весь прошедший день: вспомнил и Кобякова, и кладовщика Гогу, и Першину, и даже Генку.

— Хорошенькое дельце, если они так выражают свою любовь.

Глава шестая

Стройка делится на три участка

— Поселок — первый участок.

В новом поселке стоят еще не застекленные добротные дома. Глядишь — и зависть берет: почему не тебе придется жить в них, а рабочим будущего завода.

На ровной и просторной площадке около пруда достраивается школа. Наискосок белеет здание поликлиники.

Второй участок — километрах в двух, за новым хлебозаводом.

День и ночь на втором участке кипит работа, потому что здесь заготавливают материалы всему строительству. Работают цехи железобетонных конструкций, лесопилка, арматурные мастерские и большой бетонный завод.

Дальше, в обширной низине, заросшей кустарником, роют котлованы под нефть, делают насыпи дорог и готовятся к закладке фундамента ТЭЦ. Отовсюду поднимаются каменные остовы различных сооружений будущего завода.

Где-то здесь, ближе к городскому шоссе, со временем остановится электропоезд, и к проходной густо потянутся рабочие. Среди них будут и те, кто только что окончил школу. При случае им скажут: «Тут было голое место». Они поверят, но не представят...

Самый большой и самый ответственный участок — третий — строительство завода.

Чтобы попасть из центра города на строительство, нужно ехать автобусом до нового поселка. Часть рабочих остается здесь, остальные идут к бетонной дороге, попутные машины забирают их и везут дальше, на другие, дальние участки.

Утром второго дня работы Илья сел в кабину самосвала к черному, как жук, шоферу. Шофер оказался разговорчивым.

— Эх, ты! — протяжно говорил он. — Поверь Ивану Чайке: каяться не будешь. Вот ведь, — ткнул он себя в грудь пальцем, — работал, дурак, в облпотребсоюзе. Послали меня раз на Менделеевский завод, познакомился я там с начальником цеха. Чудо, что делают! А сырья нехватка: из Баку им возят. Ждут они не дождутся, когда наш завод начнет работать. Мы им парафин, и все, что надо, а они синтетическую химию на первый план. Хватит, братцы, кожу для ботинок пищевым жиром пропитывать — сами едим, а на то есть синтетические жиры. Второй год работаю здесь. Честное слово, хорошо! Подымешься со дна котлована — аж дух захватывает от широты стройки, от ее размаха. Машины рокочут, ковши экскаваторов бухаются в землю, и ты — тоже не песчинка: в общем деле участвуешь...

Так он и не замолкал, пока вез Илью. Громоздкий самосвал с ревом несся по бетонной дороге. Кажется, справиться с этим норовистым чертом можно только с большим напряжением сил и внимания. Но шофер успевал говорить, поглядывать по сторонам и на Илью и будто едва касался руля большими загрубелыми руками. На прощанье он сказал:

— Еще встретимся. Иван Чайка по всему строительству гоняет...

Съехав с дороги, самосвал направился к котловану, неуклюже переваливаясь бортами. Обласканный радушием шофера, Илья с минуту смотрел ему вслед, потом бодро зашагал к прорабской будке.

У кладовой уже получали инструменты. Генка Забелин взял у Гоги топор и попробовал его острие о бревно, валявшееся рядом. Мимо проходил озабоченный прораб Колосницын — грузный, в сером выгоревшем плаще. Он слегка съездил Генке по макушке и, не останавливаясь, скрылся в будке. Генка почесал затылок и опять принялся рубить бревно.

Илье тоже дали топор. Положив его на плечо, он пошел к девочкам, среди которых увидел Галю. Сегодня она повязала голову цветной косынкой и стала похожа на матрешку. Бригада бетонщиц тоже шла на рубку кустов.

— Кажется, нам повезло,— сказала Галя,— и перекикиваться не придется — рядом будем.— Осмотрела Илью с ног до головы, добавила:— Ты напоминаешь дровосека из сказки. Жаль, кушака нет.

— И еще бороды, — в тон ей сказал Илья. — Ты на первом автобусе ехала?

— Наверно. Понимаешь, вечером ложилась — думала, никогда не встану. А утром ранешенько поднялась, даже мама удивилась. Только руки болят. Смотри, даже не сгибаются...

— Я тебя ждал на остановке. Втемяшилось, что ты решила не идти на работу. Хорошо, что не побежал к тебе, а то бы сам опоздал. Вечером зайду, если не очень устанешь.

— Конечно,— охотно откликнулась Галя, шагнула к нему и, полуобняв за шею, стала выправлять воротничок рубашки поверх пиджака.— Так красивее.— И засмеялась:— Люблю все красивое, что ты скажешь...

— Поцелуй меня,— попросил Илья и зажмурился от удовольствия.

— Смешной ты какой,— испугалась Галя.— А люди?..

— Скорее, а то подниму на руки и понесу. Будут тебе тогда «люди».

Галя быстро оглянулась и робко чмокнула его в щеку.

— Хочешь, спляшу?— предложил Илья.

— Что с тобой сегодня?— удивилась девушка.

Илья бросил топор, раскинул руки, и ноги будто сами заходили, закружилась пыль под каблуками. Лицо сияющее, в глазах удаль и гордость: «И мы не лыком шиты». Не успел опомниться, как вокруг собрались любопытные, смотрели удивленно: с чего бы расплясался?

Генка, встретившись с Ильей взглядом, приложил к виску палец, спросил глазами: «Чокнулся?»

Илья поднял топор и, взяв Галю за руку, вывел из толпы, сказал беззлобно:

— Повеселиться, черти, не дадут.

А сзади хлопали в ладоши, не потому что понравилась пляска — по привычке после представления.

Только остались одни — откуда ни возьмись Кобяков. Спортивная голубоватая куртка расстегнута у ворота так, чтобы был виден белый в крапинку галстук. Чуть скуластое лицо с выпуклым подбородком — умное, красивое лицо — и неизменный синий берет. Небрежно, как

старому знакомому, кивнул Илье, слегка поклонился Гале.

— Вы меня извините,— сказал,— я к вам с деловым вопросом.

Нашел время деловые вопросы обсуждать!

— Кладовщик говорил, что вы хотите перейти в другую бригаду. Нам как раз требуется грамотный человек. Подумайте. Если не против, я переговорю с начальником.

Галя, застигнутая врасплох, молчала, не зная, что ответить. Ильа, у которого еще не улеглось радостное возбуждение и озорство, сказал словами Гоги Соловьева:

— Послушай, мальчик. На исходе лето, впереди бледная осень: Б-р-р! Зачем ей с нивелиром таскаться по болоту? И тут не так уж плохо.

Уж на что опытен Виталий Кобяков, а здесь растерялся.

— Но ведь вас-то, кажется, не спрашивают,— вымолвил он.

— Что верно, то верно,— согласился Ильа.— Но и вас не просят. Вы что, на правах папы или маменьки заботитесь о ней?

— На правах друга,— отрезал Кобяков.

— Иди-ка ты... друг, своей дорогой.

— Извините,— скорбно сказал Кобяков Гале.— Побуждения были самые лучшие. Не знал, что за вас решают и думают.

Не так уж прост Кобяков: удар по самолюбию девушки — верный удар.

— Мне другие не указ,— обиженно сказала Галя.— Сама догадаюсь, что делать.

Но слова ее полетели вдогонку — Кобяков уже отошел. Галя смотрела ему вслед, и непонятно было, что она думает.

Илья ругнулся в душе, чувствуя себя в чем-то виноватым.

— Галь, прости, что вмешался. Не знаю, как вырвалось.— И добавил резко:— Не нравится он мне! Видеть его не могу!

— Не знала я, что ты такой,— отчужденно сказала Галя.— Напрасно человека обидел.

И пошла к своим бетонщицам.

«Человека! — подумал Ильа.— Такого человека обидеть — что телятника убить: сорок грехов спишется».

Накануне бульдозер прошел всего метров триста, оставив за собой глубокий прямой след. Из черной торфяной земли торчали ободранные корни, по бокам валялись груды срезанного кустарника. Отсюда и начали рубку.

Першина расставила бригаду цепочкой, а бетонщицы, не теряя времени, принялись стаскивать выкорчеванный ивняк в запыхавшие костры.

Илья оказался между Серегой Тепляковым и Генкой. Руки у него горели: хотелось показать, чего он стоит. Вот подойдет Першина, а у него изрядная площадка расчищена, пусть посмеет сказать, что он не умеет работать.

Поплевав на ладони, Илья размахнулся и ударил. Куст спружинил, топор отбросило назад. Илья озадаченно посмотрел на острое лезвие и стукнул еще. То же самое. Закусив губу, он со всего размаха ударил третий раз — топор опять отскочил, оставив едва заметную зарубку. С куста сыпались листья и сухие сучки. «Резиновый, что ли?» — с недоумением подумал он. Взял пониже и всадил топор глубоко в землю. Чертыхаясь про себя, он с остервенением стал бить куда попало. Куст наконец дрогнул, повалился. Тоненькая веточка полоснула по лицу, щеку зажгло, но Илья на такой пустяк не обратил внимания. Торжествуя, оттащил куст в сторону и принялся за следующий. С обеих сторон раздавалось мерное постукивание топоров. С трудом вырубив второй куст, довольный собой, Илья взглянул на Серегу и обомлел: тот уже каким-то чудом сумел расчистить довольно широкую площадку. Илья повернулся к Генке и присвистнул: сзади Генки тоже были навалены большие груды срубленного ивняка.

Илья засопел от досады и принялся за новый куст. Когда он его откинул назад, Генка еще продвинулся на несколько шагов. Серега в это время достал из кармана новенькой спечовки папиросы и неторопливо закуривал. «Это тебе не булки есть», — говорил его внимательный, чуть грустноватый взгляд.

«Свалюсь в изнеможении, а догоню Генку, — решил Илья. — Не может быть, чтобы я остался последним. Последнего и собаки рвут». Он не видел, как сзади появилась Першина, стрельнула неодобрительным взглядом по сторонам. Серега, не докурив, поспешно погасил папиросу и только проворчал:

— Бригадир баба — и покурить некогда.

Першина даже не обернулась на его голос, ее заинтересовал Илья. Она отобрала у него топор, наступила ногой на куст и легонько размахнулась.

Подрубленный под корень куст хрустнул и повалился. Подошла к следующему, приловчилась — свалила с одного удара и этот.

— Так вот и делай, — посоветовала она. — А то танцуешь, как ворона вокруг навозной кучи.

Илья проглотил обиду, но совету внял: старался одной рукой прижать куст к земле, а второй рубил.

С боков и сзади трещали горящие ветки, поднимая к небу золотистые искры и пепел. От работы и горячего воздуха стало жарко. Илья сбросил пиджак, стер со лба пот и снова принялся за дело. Теперь, шаг за шагом, он приближался к Генке, работавшему молчаливо и сосредоточенно. Илья старался изо всех сил, но и Генка заметно спешил.

— Привет! — весело крикнул Илья, когда сравнялся. — Смотри, Генок, не лопни с натуги.

— Постараюсь, — ухмыльнулся тот. — Сам не сломайся, малыш.

Оставив топор, Илья оглянулся. Сзади образовалась широкая площадка, заваленная кустарником. Девушки не успевали сносить кустарник в костры, им помогали рабочие из бригады Першиной. Илья подумал, что Галя, словно нарочно, старается держаться подальше. Он так и не увидел ее. С их участка убирал сучья рыжий детина, которого Илья уже встречал в столовой.

— Ишь, навалили, — бурчал он себе под нос, — кабы за вами лошадь...

— Когда лошади нет, и осел — скотина, — сказал Генка.

Рыжий выпрямил могучую спину, пожевал губу, почуввав в Генкиных словах что-то обидное.

— Кто скотина? — подозрительно спросил он.

— Осел. Я же сказал, — пояснил Генка.

— То-то же, — успокоился рыжий. — Смотри у меня.

Першина объявила передышку. Ребята пошли к костру.

— А девчонки заработались, — сказала Першина, — надо бы крикнуть им.

— Я крикну, — попросил рыжий, усаживаясь поближе к огню.

— Давай,— разрешила Першина.

— Эй-ей!— заорал рыжий.— Отдыхать зовут!

— Ну и глотка, — восхитился Генка. — Смотри, воробей летел мимо — сдох.

— Где? Чего врешь?— встрепнулся рыжий, потом успокоился, стал рассказывать:— В нашей семье все больsherотые. Косили в лугах, мамка куда-то ушла и — нет. Батя кричит: «Иван-н-а!» А она не отвечает. Говорю ему: «Дай я, я больsherотее. Иван-н-а!» Далеко слышно, только эхо в лесу перекачивается...

Посмеялись. Илья устроился на ветках рядом с Генкой. Подошла Першина, и Генка подвинулся, уступая ей место. Она разругунилась, волосы выбились из-под ситцевого платка. Взяв в губы шпильку, стала поправлять их.

Генка развернул пиджак, лежавший у него под боком, бережно вытащил затрепанную книгу и углубился в чтение.

— Как называется?— с уважением спросила Першина.

— «Приключения барона Мюнхгаузена».

Илья не сдержался, фыркнул.

— Ты чего?— обидчиво спросил Генка.

— Да так,— сказал Илья, пряча смеющиеся глаза. Он читал эту книжку лет десять назад и искренне считал, что она годится для самых маленьких.

— Так,— передразнил Генка.— Знаю, о чем подумал. Я и другие читаю. Недавно «Похвальное слово глупости» закончил. Соседка дала — все равно у ней без дела валялась, в печку хотела, а я попросил. Там мысли, которые тебе и во сне не снились. Я даже запомнил одно место: «Если тебя никто не хвалит, ты правильно поступишь, сам восхвалив себя». Здорово? И о Мюнхгаузене интересно. Не каждому удастся так соврать. Способности нужны... Метелюга воет, ночь, а Мюнхгаузен в пути. Видит крестик — кругом бело. Ну и подумал, что кладбище это. Привязал лошадь к кресту, а сам рядышком лег спать. Ночью, однако, потеплело, снег растаял. Барон, когда проснулся, видит, что лежит около церкви, лошадь откуда-то сверху ржет. Поднял глаза и ахнул: лошадь висит, привязанная за уздечку, на самом церковном кресте. Не каждый сумеет так соврать,— повторил Генка.

Першина сказала:

— Правильно. Если уж врать, то так, чтобы было интересно и чтобы сразу можно понять, где вранье, а где правда. А вранье без выдумки — обычное очковитирательство, плохое вранье.

Илья слушал, приглядывался к каждому, оценивал. Больше всего интересовала его Першина — грубоватая, прямая в оценках и, видимо, неудачливая в личной жизни. Не зря же она говорила тогда ласточке: «Закрутилась ты, как я, горемычная».

Одна за другой подходили к костру девушки, а Гали все не было. Илья не вытерпел, пошел искать ее.

Она стояла возле небольшой березки, прислонившись спиной к стволу, и смотрела на геодезистов, работавших неподалеку у ручья. Илья видел, как Кобяков с тетрадкой в руке перемахнул через ручей и быстро пошел к ней. Презирая себя, Илья тоже прибавил шаг.

Они подошли к девушке почти вместе, оба натянутые, хмурые. И доли самоуверенности не было на красивом лице Кобякова.

— На огонек к вам, — сказал Кобяков, обращаясь к Гале. — Если разрешите, конечно.

— Что ж, места хватит, — сказала Галя с неестественной бодростью. И это оживление больше всего огорчило Илью: «К чему она так?»

— У нас, изыскателей, профессия не очень благородная — все одни, все вдали, вот к людям и тянет, — сказал Виталий, извиняясь тем самым за свою настойчивость. И, чувствуя, что его слушают, продолжал: — Здесь еще что, не работа — одна радость. А вот когда в тайге, звери и птицы — единственные собеседники. Ни новой книжки, ни даже песенки по радио. Не очень приятно, особенно без привычки. Говорят, это романтика. Какое! Поработаешь лет двадцать и безнадежно устареешь — жизнь далеко уйдет... Обидно, не правда ли? Где-то все кипит, разгораются страсти, а твой удел — одно и то же, одно и то же. Но и то верно: попадешь после долгой командировки в город — все кажется раем, впечатления впитываешь куда острее. Потому и люблю свое дело. Со школьной скамьи хотел стать изыскателем, не отказываться же теперь.

Галя слушала, мечтательно улыбалась. Видимо, представляла себе и тайгу, где затерялась горстка людей, и Кобякова, вернувшегося после долгой командировки в

город. Это была другая жизнь, совсем не схожая с ее жизнью,— красивая, полная лишений, требующая большого мужества. И совсем уже по-другому взглянула она на Кобякова — ласково, ободряюще: пусть он что-нибудь еще расскажет.

А Илья хлестал прутиком по траве и злился. Он-то ничего не мог рассказать интересного. Да и не получилось бы: о себе он не умел говорить. Вспомнил, что осталось в Генкиной памяти из «Похвального слова глупости»: «Если тебя никто не хвалит, ты правильно поступишь, сам восхвалив себя». Разве Кобяков неправильно поступает? Конечно, правильно.

Илья тяжело повернулся и зашагал к костру.

— Зря сердится,— сказал Кобяков Гале.— Нет к этому никакого повода. Давно здесь работаете?

— Второй день,— вздохнула Галя.— Очень уж непривычно как-то. Меня до этого остерегали от всякой работы...

Все уже поднялись и снова рубили и стаскивали кустарник в пылающие костры, а они продолжали разговаривать, не замечая, как быстро идет время. Никогда еще Галя не чувствовала себя так легко, ни с одним парнем.

* * *

— Серега!

— Что, Гена?

— Ты зачем купил с полочки пару будильников? Нес, я видел. Давно тебя хотел спросить.

— А чтоб звенели громче. По обе стороны кровати ставлю. Как зазвенят, вся комната сразу просыпается. Только никогда не звенят в один голос, точности нет.

— Устаешь?

— Сплю крепко.

— У тебя никого нет, что ли? Почему ты живешь в общежитии?

— Есть, Гена, есть... Жена прогнала. Закладывал много.

— Уж много!— не поверил Генка, ощупывая взглядом тщедушную фигуру рабочего.— Куда в тебя лезло?

— Сам удивлялся.

— Ха, Илья, слушай: сам удивлялся. Так не пил бы!

— Не понимал. Все мы так...

— Что же ты, один и будешь?

— Привезу жену. Заработаю побольше, а там дом поспеет. Выстроим, наверно, к зиме. Как думаешь?

— Вполне можно выстроить, даже раньше, чем к зиме.

— Аня у меня — правильная женщина, — после некоторого молчания сказал Серега. — Убил я человека. С этого и пошло кувыркком...

Ребята глянули на Теплякова с состраданием.

— Как убил человека? — почти шепотом спросил Илья.

Серега долго молчал, собираясь с мыслями, а потом медленно стал рассказывать.

После армии он выучился на шофера и работал в пионерском лагере. Однажды под вечер возвращался из далекой командировки. От усталости закрывались глаза, руки дрожали. Неожиданно перед самой машиной старушку увидел. Сигналить было поздно — могла растеряться и броситься на дорогу. Свернуть тоже нельзя — глубокая канава. Решил: проеду, места достаточно. Как и опасался, услышав шум машины, старушка метнулась, и ее задело бортом.

Трясущимися руками открыл Тепляков кабину. Старушка лежала без движения. Нахлынуло все: только жить стал по-человечески, жена с ребенком... Взял и оттащил в кусты — все равно мертвая. Сел в машину — и, как вор, домой.

— Аня поцелуя ждет, — рассказывал Серега, прижав пальцы к виску, — а я дрожу как лист осиновый, слова сказать не могу. Говорю ей: «Беда...» — «Да может, живая?» — спрашивает Аня. И пошли с ней. Сами пошли...

Судили Теплякова и дали семь лет. Но отбыть наказание не пришлось: попал под амнистию. Шоферские права отобрали, он устроился на фабрику кочегаром. С тех пор как будто что оборвалось в человеке. Потерял уверенность в себе. И дома не ладилось. «Уходи», — сказала жена. И Серега, потрепав за волосы ребятшек, — их уже было трое — ушел.

— А придет она к тебе? — с сомнением спросил Генка.

— Уговорю... Она верит, — тихо сказал Серега. Он

прислушался к далекому шуму самосвала, вздохнул и принялся рубить куст.

— Хотел бы я посмотреть на его жену,—сказал Генка притихшему Илье. — Это, наверное, не то, что некоторые твои знакомые.

— Молчи,—сказал Илья.— Не твое дело.

— Молчу,—сказал Генка и, взглянув на Илью, злого, встрепанного, добавил примирительно:— Брось! Была нужда из-за девчонки хмуриться...

— Одного только не пойму: неужели не чувствует, какой он есть,—нерешительно проговорил Илья.

— Чувствует. Он красивый, умный, чуточку хвастливый. Что еще надо! А ты дурак!—отрезал Генка.

— Спасибо, Гена. От тебя другого, пожалуй, не услышишь.

Глава седьмая

По дороге к автобусу Илья и Генка остановились у котлована полюбоваться работой экскаваторщика Перевезенцева. Ковш экскаватора летал, как перышко, и без усилий загребал слежавшуюся землю.

Генка дрожал от восторга, видя, как моментально наполняются кузова самосвалов. Забыв обо всем на свете, он пожирал глазами чудо-машину, страстно желая забраться в пыльную кабину и потрогать рычаги. Он так увлекся, что серьезно рисковал попасть под ковш. Перевезенцев, парень лет двадцати шести, живой, с веселыми глазами, привыкший, что около его экскаватора всегда толпятся любопытные, хотел ругнуть непрошеного гостя, но узнал Генку.

— Здорово, Генок!—сказал он приветливо.

— Здравствуй, Григорий Иванович!—почтительно сказал Генка.

Перевезенцев не удивился, что его назвали по имени-отчеству. Мало ли чему он не удивлялся. За два года работы наслушался и насмотрелся всего, и теперь его сердце не волновалось, даже если он видел свой портрет в областной газете.

— Работаешь?—спросил Генка.

— Работаю,—сказал Перевезенцев.

— А мы к тебе вдвоем,— сообщил Генка.— Это Илья Коровин. Знакомься.

Перевезенцев дружелюбно кивнул Илье, который во все глаза разглядывал знаменитого экскаваторщика. Теперь ему был понятен смысл шеста с выцветшей надписью на фанерке. Илья подумал, что Перевезенцев, несмотря на громкую славу, вовсе не заносчив и располагает к себе.

— Вы уже домой?— спросил Перевезенцев, ни на минуту не переставая орудовать рычагами.

— Домой,— вздохнул Генка.

В самый разгар этой содержательной беседы невесть откуда появился затрепанный ГАЗ-69, перевалил через насыпь и как вкопанный остановился у края котлована. Из машины вылез грузный Колосницын и за ним секретарь комитета комсомола Трофимов.

Трофимов посмотрел на Илью — сначала не узнал. Потом опять повернулся, бесцветные глаза стали колючими.

— Устроился-таки к нам, послушал моего совета. Ну и как? Где работаешь?

— В бригаде Першиной.

— Хорошая бригада,— отметил Трофимов, но потом поправился:— Бригадир — скандалистка. А бригада ничего. Давай, давай! Привыкай! А чего тут?

— Смотрю,— сказал Илья.

— Вот, брат, есть на что посмотреть,— с назиданием в голосе сказал Трофимов.— Наш герой, лучший экскаваторщик области и ударник коммунистического труда. Имя его с газет не сходит. На таких и стройка держится.

Колосницын в это время махнул рукой экскаваторщику. Кроме скуки лицо его не выражало никаких чувств. Перевезенцев заглушил мотор и выскочил из кабины. Трофимов энергично тряхнул его замасленную, черную от грязи лапищу.

— Мы, Григорий Иванович, к тебе, предупредить. Сейчас приедут из студии телевидения киножурнал снимать. Не подкачай. Фуфаечку сними, причешишь — на людях покажешься.

Перевезенцев кисло улыбнулся и ничего не сказал.

— Как идет работа? — спросил Трофимов.

— Нормально, — сказал Григорий Иванович.

— Все скромничаешь. Человек известный, вниманием обласкан, а по виду будто обиженный.

— В уборе и пень хорош, — проговорил Перевезенцев.

— Брось! — Трофимов погрозил пальцем. — Могу сказать и другое: хвалят на девке шелк, когда в девке толк. Держи билеты на выставку народного хозяйства. Вроде персональных — на супругу и тебя. В воскресенье открытие. Там о тебе целый стенд говорит. Мы уж постарались представить тебя повыгодней. — И неожиданно засмеялся. Перевезенцев стал еще скучнее.

Генка вдруг побледнел от волнения, несмело протиснулся между Трофимовым и Перевезенцевым.

— А курсы на стройке будут? — спросил он хриплым, срывающимся голосом. — Хочется на какие-нибудь курсы, — уже смелее добавил он.

— Курсы? — переспросил Трофимов. — Будут курсы... А вообще-то не место красит человека, а человек место. И вот тебе пример, — указал он на Перевезенцева. — Спроси, кончал ли он курсы.

— Кончал, — сказал Григорий Иванович. — И нечего насмехаться над парнем. Дело он спрашивает.

— Ну ладно, ладно. Не будем ссориться, — миролюбиво сказал Трофимов. — В свое время все будет. Я поставлю этот вопрос в управлении. Откроют курсы, и будешь учиться. — Решительно оттолкнул Генку от экскаваторщика и опять предупредил: — Не подкачай, Григорий Иванович. Скоро они должны подъехать.

Махнул рукой Колосницыну, безучастно стоявшему поодаль. ГАЗ-69 так же неожиданно исчез.

Перевезенцев сплюнул и, обращаясь почему-то к Илье, сказал:

— Сменщика нет — попросили перерабатывать. В шесть утра приду, в шесть вечера домой. Я сам согласился, а меня за дурака принимают, по плечу похлопывают. Разве я против работы? Всегда, если нужно. Но ты меня уважай как человека. У меня тоже самолюбие. И игрушку из меня делать не позволю. Дал два билета — «вроде персональных». Это хорошо, я сам собирался на выставку. Дал бы — и спасибо. А то дал-то как, с усмешечкой. Вот тебе за хорошую работу! Видишь, мол, ценим тебя, помни, знай, сверчок, свой шесток. Иногда хочется середнячком быть, честное слово, — спокой доро-

гой, никто тебя не замечает. Да не умею. Бирку на шесте навесили, как в зверинце.

Перевезенцев досадливо поморщился, швырнул конверт с билетами в котлован. Белые листочки выпали из конверта, закружились в воздухе. Один билет залетел в ковш экскаватора. Это Григория взорвало.

— Воображает, что делает доброе дело, и я должен его благодарить. Не выйдет! Терплю, терплю, да и доберусь...

Илья был поражен услышанным, не понял обиды Перевезенцева и решил, что тот почему-то не в настроении.

Ребята остались посмотреть, как будут снимать экскаваторщика для телевидения. Они уселись на земле у края котлована. Генка засмотрелся на дорогу.

— Вон твоя любовь скачет, — сказал он.

Илья вздрогнул: по дороге легко, вприпрыжку бежала Галя. За ней весело вышагивал Кобяков.

Увидев Илью, которого она никак не ожидала встретить, Галя на мгновение смутилась, но подошла.

— Что это вы, мальчики? — спросила она удивленно. — Кого ждете?

— Тебя, — зло сказал Генка. — Разве не знала?

Девушка побледнела, яркие губы дрогнули. Кобяков спокойно сказал:

— Не хами.

— Рано пташечка запела, как медведь бы не склевал, — язвительно пропел Генка, недвусмысленно поглядывая на девушку.

— Не хами! — повторил Кобяков. Желтая кожа около его глаз собралась в складочки.

Наступило неловкое молчание. Слышалось только скрипение ковша и заглушенный шум самосвалов.

— Так мы пойдем, — сказала Галя, обращаясь к Илье. — Ты скоро?

— Нет, не скоро. У нас еще есть дела, — мрачно ответил Илья.

Он не смотрел, как Кобяков помог Гале взобраться на насыпь, как они скрылись на тропке, ведущей к бетонной дороге через кусты.

— Хорош фрукт. Захороводил твою цацу, — насмешливо сказал Генка. — Любовь с первого взгляда.

— Помолчи лучше. Без тебя тошно.

— Ладно, чего уж там, — сказал Генка, но, подумав, добавил: — Вообще-то тебе по физиономии следует.

Илья вскочил и крупно зашагал, не разбирая дороги.

— Куда ты? — всполошился Генка.

Илья даже не обернулся. «Подумаешь, какой гордый, — поразмыслил Генка. — Другой поплакался бы в жилетку и забыл. А этот в себе носит, переживает». Генка покачал головой и тоже сплюнул, подражая Перевезенцеву. Он не понимал, как можно изводить себя из-за какой-то девчонки. Мало их, что ли, на стройке! Не хочет эта, ходи с другой, если уж один не можешь. Сам он влюбился всего один раз — в артистку цирка, будучи на концерте. И сейчас еще он видел ясно, как она, неотразимо красивая в свете разноцветных огней, вышла на сцену, легла на спину и начала ногами вертеть полуметровое полено, видимо, сделанное из картона. Это у нее получилось здорово. Зрители, в том числе и Генка, неистовствовали, и тогда она снова легла и на этот раз стала вертеть другое полено, чуть побольше. С концерта Генка выходил как очумелый, натываясь на людей. Дома он выбрал не очень тяжелое полено и попробовал повторить номер. Полено в тот же миг, как только очутилось на ногах, свалилось и чуть было не расквасило Генке нос — хорошо, что он успел отбросить его рукой. Повторять номер Генка больше не решался, но артистка ему запомнилась и даже снилась по ночам.

Это была его первая и последняя любовь за все шестнадцать лет. «Слепой курице — все пшеница», — говорят о влюбчивых людях. Генка не слепой, влюбляться в простых смертных он считал ниже своего достоинства.

Он не сразу заметил киношников, которые тоже подъехали на машине, но не рискнули подвести ее к самому котловану. Широколицый, в стального цвета куртке оператор поздоровался с Перевезенцевым, затем сунул ладошку Генке, сказав при этом: «Заболот». Прошла целая минута, пока Генка догадался, что оператор назвал свою фамилию. Два помощника в это время устанавливали на штатив съемочную камеру и о чем-то жаростно, но тихо спорили. На Генку они поглядывали высокомерно и даже подозрительно: чего, мол, тут околачивается этот тип. Может, они думали совсем о другом, но Генке показалось именно так, и он тоже посмотрел на них презри-

тельно, а потом сплюнул и растер плевков ногой. Помощники выразительно переглянулись, но смолчали.

Оператор Заболот стал приловчаться для съемок. Сначала он заставил Перевезенцева выключить мотор и объяснил ему, что надо делать. Потом велел опустить ковш и медленно вывести его из котлована. Экскаваторщик добросовестно исполнял, что ему велели.

Из кабин самосвалов повывезли любопытствующие шоферы, но Заболот решительно отогнал их и крикнул Перевезенцеву:

— Приготовиться! — Нажал какой-то рычажок, но камера не сработала. Тогда он повернулся к своим помощникам и отрывисто приказал: — Аккумулятор!..

С этого и началось. Перевезенцев как услышал: «Аккумулятор», сразу напряжился, приятное живое лицо его безобразно окаменело.

— Улыбку! — крикнул ему оператор. — Можете вы улыбаться?

Экскаваторщик послушно оскалил зубы и стал похож на злого пса. У оператора полезли глаза на лоб.

— Я не знаю... — растерялся Перевезенцев. Он попробовал еще раз показать зубы, вращал глазами, но улыбки не выходило.

— Отставить! — крикнул оператор. — Покурите.

— Я не курю, — деревянным голосом сказал Перевезенцев.

— Все равно. Отдохните! — командовал оператор. — Страшного ничего не происходит. Вы работаете, как всегда, я снимаю. Больше ничего не нужно. Приготовились!

Но даже работать «как всегда» Григорий Иванович не мог. Ковш черпнул земли, задел за край котлована и раскрылся, к негодованию шофера, у самого самосвала. На лбу Перевезенцева выступил холодный пот.

— Не могу, — сказал он оператору. — Руки дрожат, и видеть не вижу.

— В самом деле, чего мучить человека, — неожиданно вступился за него шофер самосвала. Да и нам какой интерес стоять. За простой деньги не платят.

— Товарищи, я тоже работаю и прошу не мешать, — отрезал оператор Заболот.

Перевезенцев страдал от того, что не может помочь оператору, по-видимому, очень неплохому парню. Но еще

больше страдал Генка. Как ему хотелось, чтобы Григорий Иванович показал кинощикам класс работы, особенно высокомерным помощникам Заболота. Генка застонал в изнеможении, когда Перевезенцев второй раз позорно высыпал ковш между кузовом и кабиной самосвала. Шофер выругался и поехал, не догрузившись до нормы. Помощники оператора поглядывали на экскаваторщика и ехидно посмеивались.

— Вы точно Перевезенцев? — спросил вспотевший оператор. — Григорий Иванович Перевезенцев?

— Точно, — затравленно ответил Григорий Иванович.

— Тогда в чем же дело? — Заболот пожал плечами.

— Боюсь, у меня ничего не получится, — сказал Перевезенцев. — Я хотел посмотреть, как выгляжу в кино, но у меня не получится. Художник пробовал рисовать — бросил. Он умный парень: видит, у меня ничего не получается, — и бросил. Не знаю, что со мной делается, когда меня начинают рисовать или снимать в кино. Валяйте кого-нибудь другого.

— В постройке сказали, чтобы обязательно вас, — тоскливо сказал оператор.

— Мало ли что сказали! — рассердился Григорий Иванович. — Будто нет, кого еще можно снять.

Оператор раздумывал над словами экскаваторщика, засунув руки в карманы куртки. Два его помощника стояли рядом, безучастно позевывали. Вдруг оператор стукнул себя по лбу.

— Это ваш ученик? — спросил он, показывая на Генку.

Генка не успел рта раскрыть, как Григорий заревел:

— Скоро будет самым ловким экскаваторщиком на свете!

Оператор удовлетворенно кивнул.

— Что ж, подходит, — сказал он. — Его мы снимем как вашего ученика. Сначала вас крупным планом у экскаватора... Статичный кадр, без движений, — поторопился он успокоить экскаваторщика. — Как в фотоателье... А его — за работой. Назовем так: «На экскаваторе Перевезенцева». Вы ему передаете личный опыт. — Помедлил немного и усомнился: — А он того... умеет? — Оператор сделал рукой движение, обозначающее полет ковша со дна котлована до кузова автомашины.

— Как? — спросил Перевезенцев Генку.

— Попробую, — волнуясь, сказал Генка, стрельнув недобрый взглядом на помощников оператора: смотрите, мол, у меня, если что...

Григорий уступил ему место в кабине, и Генка с отчаянной решимостью задвигал рычагами. Ковш полетел по воздуху, брякнулся в котлован и через мгновение повис над кузовом самосвала.

— Не спеши! — предупредил его Перевезенцев, бросившись к кабине. Генка не слышал. Он сиял, не видя ни оператора, ни нацеленного на него глазка радостно стрекочущей кинокамеры.

* * *

Генка снимался в кино, а Илья бродил по стройке. Всюду он видел результаты большого труда тысяч людей и удивлялся тому, как мала в них доля одного человека. На площадке, где изготавливали железобетонные изделия, двигался по рельсовому пути башенный кран, поднимал из пропарочных камер готовые плиты и балки, складывая одна к одной на ровной площадке. Крановщица то и дело показывалась у окна кабины. Ветром трепало ее светлые волосы, простенькую фланелевую кофточку.

— Эй, подавай веселее! — кричали ребята крановщице, и в голосе их слышалось веселое озорство.

Со стороны доносился drobный грохот бетономешалки. Илья подошел поближе, понаблюдав за работницей, стоявшей на подмостках, отметил, что и она ловко справляется со своей работой.

Насмотревшись вдоволь, он отправился по разбитой грузовиками дороге в сторону городского шоссе. Вскоре его обогнала машина. Кузов был нагружен и закрыт брезентом. В кабине рядом с шофером он, к своему удивлению, увидел Гогу Соловьева. Гога тоже признал его и отвернулся. «Что это он так поздно, да еще на машине?» — подумалось Илье.

Начинало смеркаться. К вечеру стал дуть свежий ветерок и небо вызвездило. Внизу, в поселке, одна за другой вспыхивали в домах лампочки, второй участок сверкал огнями прожекторов. Когда Илья выбрался на шоссе, в стороне от домов тягуче и нудно завывала собака. По дороге проносились на большой скорости с зажженными фарами автомашины. Илья прошел к остановке и

сел на обочине у канавы, дожидаясь пригородного автобуса. Собака выла не переставая, нагоняя тоску.

— На луну лает, — услышал Илья.

Он резко повернулся на голос. У столба с надписью: «Остановка автобуса» — сидела девушка. Около ее ног стоял огромный чемодан с задранными углами. Лампа на столбе освещала правильное чернобровое лицо девушки.

— Она уже третий раз принимается выть, — сказала обладательница огромного чемодана и передернула плечами, как от озноба. — Говорят, они воют, когда какую-нибудь беду чувствуют. И такое впечатление, будто стоит кто рядом и твердит: ты плохая, все плохие... У вас не бывает такого состояния?

Илья улыбнулся странному сравнению, подошел к девушке и стал с любопытством рассматривать ее. На ней была застиранная кофточка и старая черная юбка, на ногах полуботинки. Толстые косы переброшены на грудь, она задумчиво перебирала их пальцами.

— Строят как, — кивнула девушка в сторону завода.

— Строят, — ответил Илья.

— Принимают на работу?

— Да. Народу требуется много.

— Хорошо, — сказала она. — А общежитие дают, не слышали?

— Не слышал, — сказал Илья. — А вы сюда?

— На стройку, — вздохнула она, доверчиво глядя на него. — Ехала в автобусе, не удержалась и вышла посмотреть.

— Откуда вы? — спросил Илья.

— С Кубани.

— С Кубани? — вырвалось у него. — И к нам на Волгу? Что, ближе работы не нашлось? Или здесь родственники?

— Никого. — Она поднялась с земли и, отряхивая юбку, посмотрела в сторону строительства. По бетонной дороге к поселку шла вереница машин, освещающая холмы насыпанной земли, временные заводские постройки. — Пока одна, почему не поездить, — по-взрослому добавила девушка. — А на Волге мне побывать давно хотелось.

— Ничего не понимаю, — удивился Илья. — Одна. А жить? Вдруг нет общежития?

Самому ему, когда собирался в Сибирь, и в голову не приходило подумать о жилье. Но то он, а то какая-то пигалица, которую каждый может обидеть.

— Найду жилье, — сказала она уверенно, а Илье показалось — беспечно.

«Черт знает что, — подумал он. — Глупая, что ли?»

— Ночь уже, — сказал он.

— Ночь, — вздохнула девушка.

— Куда же сейчас? — допытывался Илья, страшно заинтересованный этим беспечным и, видимо, все же милым существом.

— Куда? — переспросила она. — Не знаю. На вокзал, пожалуй. Торопиться некуда, вот и сижу.

«Точно, глупая...»

Илья живо представил ее на вокзале, прикорнувшей возле огромного чемодана и вздрагивающей от каждого шороха.

— Отчаянная ты...

Девушка грустно улыбнулась.

Подошел, сверкнув фарами, автобус. Девушка безропотно позволила Илье взять чемодан, оказавшийся неожиданно легким, почти пустым. «Пара платишек, наверно, и все добро». В плохо освещенном автобусе они сели рядом.

— Звать тебя как? — спросил Илья.

— Оля Петренко. А вас?

— Меня Илья, Коровин.

— Илюша, — зачем-то сказала она.

Пока ехали, Оля сообщила, что дома в станице у нее мать, маленькая сестренка и отчим, человек в общем-то неплохой, ласковый. Отпустили ее легко. «Поезжай, поживи самостоятельно. Захочешь — вернешься в любое время».

Узнав, что Илья со стройки, доверчиво прижалась к его плечу, стала расспрашивать: кем работает, интересно ли? И за ее вопросами чувствовалось: хоть внешне держится молодцом, на деле отчаянно трусит. Перед остановкой напротив вокзала она поднялась, вздохнула глубоко и протянула маленькую руку.

— Завтра, может, увидимся...

Илья решительно усадил ее на место.

— Никуда не пойдешь.

— Мне выходить, — робко и испуганно сказала она, пытаюсь освободиться.

— Куда пойдешь? Не спавши целую ночь... — горячо заговорил он. — Со мной поедem. Знакомые у меня. Поживешь день-два, пока не устроишься.

Оля как будто смирилась, но вся дрожала, с опаской поглядывала на него. А Илья посмеивался: «Вот как, без мамы-то!»

Когда вышли из автобуса, он поднял чемодан на плечо и, не оглядываясь, зашагал впереди. Оле ничего не оставалось, как следовать за ним.

У двухэтажного деревянного дома он велел ей посидеть на лавочке, а сам, бережно поставив чемодан на землю, поднялся по крутой скрипучей лесенке.

Дядя и тетка — Илья называл их стариками — еще не спали, мирно играли в лото на мелкие деньги. Лучшего развлечения они и не придумывали. Оба всю жизнь работали на заводе, получали благодарности, раз в месяц сидели на профсоюзных собраниях, в праздники, принарядившись, выпив «для веселья», ходили вместе со всеми на демонстрацию. Три года назад их торжественно проводили на пенсию. От безделья они развели кур, а все свободное время играли в лото и навещали знакомых. Илья любил своих стариков, очень добрых и дружных, и частенько приходил к ним, чтобы просто забыться, послушать рассказы деда. Старик прожил бурную и трудную жизнь, побывал на трех войнах, но еще и сейчас был бодр, любил похвастаться. Немножко мот, он, получив свои пенсионные, шел по магазинам и закупал всякой всячины, угощая бабу, насмехался над ее скарденностью. Во вторую половину месяца, когда от пенсии не оставалось и следа, он переходил на бабкино довольствие. Тогда уж бабка насмехалась над ним: «Купец Портянкин!»

Услышав, в чем дело, бабка, несколько грубоватая и прямая, заявила сразу:

— Куда ее!

— Веди, веди, — сказал дядя. — Не слушай ты ее, урядника...

Илья улыбнулся, дожидаясь, когда бабка сдастся. Ему и в голову не приходило, что они откажут Оле в приюте. Своих детей старики выучили: сын работал инженером на строительстве дорог, дочка окончила торфя-

ной институт, но уехала, простудилась на работе и заболела туберкулезом, хотя сама об этом долго не подозревала. Она настолько затянула болезнь, что лечение уже не помогло. Смерть дочери была для стариков тяжелым ударом, они даже не успели приехать на ее похороны. Постояли у свежего холмика, поплакали и, постаревшие, сгорбленные, вернулись домой. Старик, более крепкий, принял горе мужественно, а бабка стала слезливой, едва разговор заходил о дочери — плакала, рассказывала о своих снах: «Будто подходит ко мне, голубушка, — худущая, жалость берет...»

— Что ей дома не жилось? — сердито спросила бабка. — Да и кто знает, что она за девица.

— По-моему, очень хорошая, — с жаром сказал Илья.

— А ты откуда знаешь? Что на автобусе прокатились?

— Видно сразу, — сказал Илья и опять улыбнулся, вспомнив, что Оля терпеливо ждет у дома на лавочке.

— Веди, завтра пропишем, — решительно сказал дядя.

А когда возбужденный Илья ввел девушку в комнату, старик молодцевато расправил плечи и хмыкнул.

— Ого, — сказал он, надевая очки и пристально рассматривая Олю. — Этак годков двадцать пять назад и я был неплох...

— Жаль, дедушка, что меня еще в помине не было, — быстро нашлась Оля.

Бабка сердито выкрикнула:

— Пятьдесят девять. Кончила на низу. Плакали, дед, твои денежки.

Глава восьмая

Рыжий парень прибавал гвоздями к широкому листу фанеры гладко оструганные планки. Он отходил на два шага и, прищурившись, выверял прямизну углов. Фанера была мокрая, потемневшая от дождя, который моросил не переставая. Пока это было бесформенное изделие, но оно могло стать доской показателей суточной работы бригады. Поэтому каждый, кто оказывался рядом, относился к работе рыжего с уважением.

Молоток в огрубевших руках парня был похож на карающий меч. В данном случае беззащитной жертвой служили обыкновенные драночные гвозди. Если они гнулись, а это случалось часто, то отлетали в сторону и становились, таким образом, естественными отходами.

Один такой гвоздь подняла Першина, проходившая мимо. Она взяла у рыжего молоток и принялась прямить гвоздь, а потом ловко вколотила его. Рыжий наблюдал за ней с восхищением.

— Где ты родился? — спросила Першина.

— В районе, — сказал рыжий и, в свою очередь, спросил: — А что?

— Из колхоза, наверное, прибыл?

— Из колхоза, — подтвердил парень. — А что?

— Да ничего. Развалюха, поди, ваш колхоз?

— Да как вам сказать, — вздохнул рыжий и еще спросил: — А что?

— А то, — сказала Першина. — Дед твой каждую железку домой нес и на полочку клал: в хозяйстве, дескать, все пригодится. Отца этому тоже учили, пока тот единоличником был. А тебя забыли научить беречь добро. Зачем гвозди разбрасываешь?

— Так они погнутые, — сказал рыжий.

— Мозги у тебя погнутые, — уточнила Першина. — Брось, другой доделает. Возьми около будки тачку и шагай к траншее. Сейчас бетон будут подвозить.

Першина вытерла ладонью мокрый от дождя лоб, проследила, как рыжий покорно направился за тачкой, и тут только заметила Генку и Илью. Оба хохотали.

— А вам почему весело? — удивилась она.

— А что? — спросил Илья тоном рыжего.

— Если бы что-нибудь делал как следует, — возмущаясь, заговорила Першина, — куда ни шло. А то за что ни возьмется — все переделывай после. Как уж не научиться доску прибивать — это в деревне-то! А он, балда, вчера, вижу, припер колышком и доволен. Будут валить бетон, а опалубка ни к черту.

Она была явно не в духе, и к этому были причины. Вот уже третьи сутки лил дождь, и площадка превратилась в жидкое месиво. Днем бригада рыла траншеи, а наутро в них набиралось по колено воды, края оползали, и все приходилось начинать сызнава. Земля стала как тесто, вываленное из квашни.

Утром трактор притащил насос. Полдня выкачивали и оправляли траншеи.

Прибыл прораб Колосницын в насквозь промокшем плаще, объявил, что после обеда начнет поступать бетон. Плотники стали спешно приводить в порядок опалубку.

У всех были воспаленные, усталые глаза, спины парные, одежда давила на плечи. У Генки кепка сморщилась, и козырек, похожий на воробьиное крылышко, обмяк и опустился книзу. Илья тоже промок до костей. С самого утра они стояли в траншее, выкидывали грязь, никак не отстающую от лопаты.

Обед прошел молчаливо, ели не торопясь, равнодушно. От сырой одежды и потных тел стоял терпкий дух.

В столовой Илья увидел Галю. Она уже работала с геодезистами. Галя поздоровалась и не захотела уйти сразу, как все последние дни, когда они случайно встречались. С плохо скрываемым сожалением оглядела ребят, подумав, что им здорово достается.

— А мы сухие, — сказала она неизвестно к чему, усаживаясь на свободный стул. — В такой дождь не работа. Построили шалаш и отсиживались. Виталий знает много интересных случаев.

«А мне-то ты зачем это рассказываешь?» — подумал Илья, все время мечтавший, что как-нибудь он поговорит с Галей и все объяснится, все будет по-прежнему. Но подходящего случая так и не было.

Галя была захвачена возникшим чувством к Виталию и, как это случается, уже не могла смотреть на него трезвыми глазами, не могла поразмыслить, к хорошему или плохому приведет ее любовь. Она относилась к Виталию с робкой нежностью, хотя часто не понимала его. Он говорил, и трудно было разобраться: всерьез или в шутку. Иногда он пугал ее откровенным цинизмом. Но стоило ему спросить, пойдет ли она в парк или в кино, она надевала самое красивое платье и шла с ним. Если он обещался прийти и не приходил, она сидела с заплаканными глазами и ждала до поздней ночи, а наутро поднималась с головной болью.

Илью она по-прежнему считала хорошим другом, ей иногда не хватало его. Поэтому вдруг захотелось сегодня поболтать с ним.

Пока они разговаривали, Виталий сидел за соседним столом, сучая, осматривался. Потом к нему подсел

Гога Соловьёв. Кладовщик был чем-то расстроен, это Виталий почувствовал сразу.

— Что? — спросил он.

— Написал докладную, что склад худой, крыша течет и все прочее, — понизив голос, сказал Гога. — Дождь льет, и цемент схватывается. Брак тридцать две тонны.

— Правильно, — одобрил Виталий.

— А вдруг проверят? Загредишь заслонками...

— Ничего, обойдется. Ты не виноват, что на крупном строительстве крышу склада не могут починить. В крайнем случае, уволят — и все.

— Я рад, если уволят, — сказал Гога.

Они замолкли, увидев, что подходит Галя.

— Всего! — попрощался Гога. — Заходите с Галинкой. Новые пластиночки добыли: «Ультра-буги», «Буги-лошадь», «Домовой». Прима!

Виталий ласково похлопал его по плечу.

— Обязательно заглянем.

Гога остановился возле стола, за которым обедали Илья и Генка. Почесав нос, он в раздумье предложил:

— Послушай, Коровин. Ты, я слышал, в институт собираешься. Образы людей «темного царства» продам, хочешь? Будет на экзаменах такая тема. Или тему труда в поэзии Маяковского? Недорого бы уступил. Все на пленке.

— Побереги себе, — не оборачиваясь, ответил Илья.

— Смотри, пожалеешь. И эпитафий мог бы. «Человек — это звучит гордо!», «В человеке все должно быть прекрасно!» На любой случай подберу.

— Ты это всерьез?

— А что? Без обмана.

— Вот зверюга! — восхитился Генка. — Даже на пленке!

— Все честь честью.

— Купи, Генка, — сказал Илья, — у меня, знаешь, отвращение ко всяким пленкам. Это, наверно, с фотографии пошло.

— А мне зачем? — удивился Генка. — Я сам этих эпитафий кучу наберу. Вот: один кинул — не докинул, другой кинул — перекинул, третий кинул — не попал.

— Так это же, Генка, пословица какая-то. Таких и я сколько хочешь знаю: мал бывал — сказки слушал, вырос, стал сам рассказывать — морщатся.

— А ну вас! — с досадой сказал Гога. — С вами только время терять.

У выхода Кобяков бок о бок столкнулся с Ильей. Оба остановились, ожидая, кто первый пойдет в дверь. Илья в грязном ватнике, с красным, огрубевшим лицом. Кобяков рядом с ним выглядел женихом. Все тот же щегольской берет, на полусогнутую руку переброшена полиэтиленовая белая накидка, даже сапоги ухитрился не измазать глиной, — Илья попросту позавидовал такой аккуратности.

— Что-то ты, Коровин, обмяк, — с жалостью сказал Кобяков, пристально оглядывая парня. — И то, поступал сюда — думал: сладость какая! А тут хребтину гнуть, погодка некстати...

— Это ты зря решил — обмяк, — возразил Илья, в то же время презирая себя за то, что невольно постарался принять бравый, разухабистый вид: перед кем, зачем? — Это тебе кажется, придумал ты...

— Что я придумал? — полюбопытствовал Кобяков.

— Да все то, что обо мне говоришь.

— Занятно! Очень занятно. Значит, еще не собираешься удочки сматывать? Нет? Удивительно! Жизнь-то кругом какая! Как много интересного! Удивительно! Ну, оставайся. Скоро водку научишься пить, женишься на какой-нибудь бабе, детей куча будет. И вся недолга! А хорошая за тебя не пойдет, скучно ей будет.

Илья заставил себя рассмеяться.

— Откуда у тебя такая уверенность? И что ты хочешь?

— Я? — живо откликнулся Кобяков. — Да ничего не хочу. Не люблю неискренность, напускное. В этом, разве, беда...

— Врешь ты, Кобяков. Все врешь. Не знаю, отчего, но ты злобный и одинаковый. Я тебя сколько встречаю, и ты все одинаковый, вон как те столбы, что тянутся к поселку, все одинаковые.

Илья толкнул ногой дверь, пошел из столовой. Кобяков не отставал.

— Разговор с вами заинтересовал меня. — Кобяков неожиданно перешел на «вы». — Вы верите чутью женского сердца?

— Чутью? Не знаю... И не понимаю, к чему это?

— Разве? — насмешливо воскликнул Кобяков, и опять

мелкими складочками собралась кожа вокруг глаз. — А вот Галя разобралась, поняла.

У Ильи потемнело в глазах: он прав, ничего не возразишь.

— Буду рад продолжить с вами беседу на эту интереснейшую тему, — крикнул Кобяков уже с дороги. — В более подходящем месте...

На дороге ждала его Галя...

Першина уже собирала бригаду. Прибыли первые самосвалы с бетоном. Куда не могли пройти машины, бетон развозили на тачках. Колесо тачки идет по узкой доске и все время норовит сорваться в грязь. Илья отвез пять тачек и понял, что для этой работы нужны крепкие руки и большое искусство. Из пяти он довез благополучно только две, остальные пришлось вытаскивать из грязи с помощью Генки Забелина.

Першина позвала их и велела взять вибратор. Илья ходил по опалубке, то и дело опуская его в бетон. Серая масса волновалась, кипела.

Уйма сколько требовалось бетона под фундамент ТЭЦ. Одна за другой подходили машины, а в траншеях почти не прибывало.

В самый разгар работы из кабины только что подошедшего самосвала вышел опрятно одетый старик, а за ним легко спрыгнула с подножки девушка. Веселый, черный шофер улыбался им вслед. Не успел Илья оглянуться, девушка, стремительно подбежав, обняла его за шею и чмокнула в щеку. Генка растерянно и с завистью присвистнул. Тогда девушка поцеловала и его.

— Здорово, племянничек, — сказал старик Илье.

— Добрый день, дядя! — удивленно выговорил Илья. — Что это вы сюда приехали?

— Ольгу определял на работу, — гордо сказал старик.

Ольга тем временем наклонилась над вибратором и осторожно потрогала его пальчиком. Потом защебетала, как над игрушкой.

— Интере-ес-но-о! — пропела она, всецело поглощенная прибором. — А как работает?.. Неужели?

Генка, еще не совсем оправившись от изумления, бережно стер рукавом фуфайки грязь с вибратора и стал показывать, как им пользоваться.

— Неужели? — опять произнесла девушка, своим возгласом повергнув в восторг бедного Генку. Он почувствовал, что с ним происходит нечто похожее, как тогда в цирке.

— Сначала вырыли траншеи, а перед тем как заливать бетоном, медяки бросали, — сказал он, не совсем соображая, почему говорит именно это, а не другое.

— Неужели медяки? — спросила Оля, пошарила в карманах и швырнула мелочь в траншею. — А зачем? — любопытствовала она.

— Традиция, — напыщенно сказал Генка. — Все порядочные строители так делают. Чтобы здание крепче стояло.

— Дедушка, у тебя есть мелочь? — спросила Оля. — Брось в эту яму, здание будет стоять крепче.

Генку даже не покорило ужасное слово — яма. Он проследил, как дед разбрасывает монеты, и опять перевел изумленный взгляд на Олю.

— Трудитесь, молодые люди, — в тон Генке, так же напыщенно сказал дед, приподняв, как для приветствия, руку, и прикрикнул: — Ольга, пошли, ЗИЛ ждет.

Илья оглянулся на ЗИЛ и узнал в шофере Ивана Чайку, весело смотревшего на него.

— Что я говорил! — крикнул Иван Чайка. — По всей стройке гоняю, везде встречу. Бывай здоров!

— Счастливо! — махнул ему Илья, глядя, как неохотно идет за дядей Оля. Ей хотелось побыть еще немного, но спорить с суровым стариком она не решалась.

— Интересно! — тонко пропел Генка, стараясь подражать ее голосу. — Она нас любит, да?.. Неужели? Зря я ей не сказал, что снимался в кино.

Илья взглянул на него в крайнем удивлении, пожал плечами.

— Это ты мне? — спросил он.

— Дед, у тебя есть медяки? — спросил Генка, склонив голову и прислушиваясь к собственному голосу, потом приблизил лицо к носу Ильи и сказал:

— Слушай, посмотри мне в глаза. Ничего не видишь?

И еще повторил:

— Почему же я не сказал ей, что снимался в кино?

В субботу Генка, заляпанный бетоном, в заскорузлых, как корка, штанах, в смятой кепчонке, но оживленный и бестолковый, пристал к Илье, упрасывая пойти в клуб на танцы.

— Послушай, — говорил он, — ты что-то все помалкиваешь. В первый день тебя не остановить было. Пойдем потанцуем, веселее станет.

Илья сначала не соглашался: не особенно хочется танцевать, когда приходишь с работы разбитый, с мозолями на руках, когда с блаженством еще во время еды поглядываешь на чистую постель, но в конце концов не устоял перед мольбами Генки и согласился. Но это оказалось еще не все: Генка как ни в чем не бывало сказал:

— Знаешь, пригласи Олю. Я бы и сам, да неудобно. Тебе по-родственному смелее.

— Какой я ей родственник, — усмехнулся Илья, догадываясь, что творится в Генкиной душе.

— Так она у твоих родственников квартирует, — нашелся Генка. — Значит, ближе.

Илья был не против. В самом деле, у Ольги еще нет подруг, она будет рада.

— Серега, пойдем с нами, — позвал Генка рабочего, щепочкой очищавшего грязь с сапогов.

— Куда, Гена? — спросил Серега, выпрямляясь и посмотрев на ребят усталым взглядом.

— На танцы.

— У-у, — протянул Серега. — Была нужда, за свои деньги да ноги вертеть. Я лучше собственный дом пойду строить. Отделываем уже. Скоро будем заселяться.

— Не собственный, а своими руками, — поправил его Генка, вспоминая, что и Василий говорил так же. — До собственности сами не свои, кулачки проклятые. Атавизма в вас полно.

— Какого, Гена, атавизма? — заинтересованно спросил Серега.

— Самого обыкновенного. Все старинушкой живете, все бы себе.

— Что ты напустился на человека, — вмешался Илья. — Он строит после работы, и, конечно, собственный это дом. Тут даже гордость есть — сам делал. Это и есть собственность в широком понятии. Вот строим мы завод,

я тоже могу сказать — наш собственный, хотя он и не собственный, если разобраться.

— Видали, теоретик выискался, — насмешливо заявил Генка. — Вся беда, что он — как небо от земли от этого самого широкого понятия.

— Ты, Гена, совсем не признаешь меня за человека, — с горечью сказал Серега. — Я, когда говорил, думал то же, что и Илья: собственный дом, собственный завод, земля, на которой стою, — собственная. А ты к словам придираешься. Атавизм припел, хотя и не знаю, что такое атавизм. У меня это самое широкое понятие в горбу с потом и кровью въелось, мне ведь не с твое годков-то. — Взглянул на Илью: так ли, мол, я объясняю. Понял, что так, и удовлетворенно добавил: — Идите и танцуйте. В свое время я тоже танцевал. Правда, нынешние танцы — простое топтанье: взад-вперед, взад-вперед. Мы красиво танцевали. — И Серега, к веселью ребят, растопырив руки, прошелся на носочках. — Идите, а завтра ко мне в гости. У меня Аня приедет.

— Что ты говоришь? — обрадовался за него Илья. — Когда?..

Дома Илья торопливо поел, а потом долго стоял перед зеркалом, завязывая галстук. Галстук попался плотный, как из клеенки, узел получался кривой, некрасивый.

— Когда тебя ждать? — спросила Екатерина Дмитриевна, наблюдая за сыном. — Ты идешь с Галей?

Илья сразу потемнел лицом. Со злостью отшвырнул галстук в сторону, выправил воротник рубашки поверх пиджака. Так было проще и свободнее.

«Собственно, и одеваться-то не для кого, — подумал он, — а еще прихорашиваюсь».

— Вы поссорились?

Он опять не ответил, но мать поняла его.

— Раньше ты все рассказывал, — с грустью сказала она, — даже о том, с кем подрался. Я чувствую, что тебя гнетет не работа. Хорошо, — покорно вздохнула она, — я от тебя ничего не требую.

— Самое странное, что мы с ней совсем не ссорились, — сказал Илья, расчесывая жесткие, торчащие волосы. — Мы говорим с ней, когда видимся, но все как-то не так... — Он бросил расческу и перевел разговор на дру-

гое. — Я приду после двенадцати, возьму ключ, чтобы не тревожить тебя.

— Возьми, хотя я все равно услышу. — Она придирчиво оглядела его и осталась довольна. Все в нем было ладно, все шло ему, а белый воротничок рубашки красиво оттенял загорелую мускулистую шею. И ей стало обидно, что Галя предпочла кого-то другого.

* * *

Генка ужинал с братом. В комнате было прибрано, но как-то без уюта. Едко пахло красками. Илья с любопытством оглядывал стены, завешанные небольшими этюдами.

— Вот ты какой! — воскликнул Василий. Он сидел на табурете, неловко вытянув под столом протезы, — Генка каждый день рассказывает о тебе, но все же я представлял не таким. Знаешь, что он сказал о тебе?

— Вася, — недовольно остановил его Генка.

— А ты не скрывайся. И в глаза и по-за глаза о друзьях говорят одинаково. Он сказал о тебе, что ты длинный, как журавль, и теленок. Журавлиного в тебе ничего не вижу. Это он на свой рост мерял...

— Вася! — опять сказал Генка.

— Не нравится, друг мой? Другим пересмывать косточки ты мастер. Объясни-ка, что в нем от теленка?

Генка, насупясь, сказал Илье:

— Ты не слушай. У него дурацкое настроение. Взялся два ковра нарисовать, вот и злится.

— Если тебе не хочется, чтобы я их делал, — откажись!

— Не мне — тебе не хочется! Не рисуй, раз противно. Проживем и без них, не первый раз без денег. А ты: возьми, возьми. И нечего на других зло срывать.

— Он всегда прав... — Василий жалко улыбнулся. — Ты извини, Илья, если что не так. Он ведь тобой бредит. А про теленка я просто так...

— Мне иногда хочется кого-нибудь стукнуть и обругать и на свое место поставить, а потом сдерживаюсь. Хочется, чтобы так было понятно.

— Ничего, — успокоил его Василий. — Главное, ты знаешь, за что и кому следует. Чутье есть. Все остальное с годами приложится.

Генка усмехнулся, сказал от двери:

— Научишь, пойдет всем носы квасить. Тоже, деяти.

— Генок у нас тупой, как доска, — заметил Василий. — Он все понимает буквально... Ребята, а не сходить ли мне с вами в клуб? Разрешите?

— Будет здорово! — обрадовался Илья.

Несмотря на несколько странный прием, Василий ему понравился. Не зря Першина допытывалась о нем у Генки. Лицо у него было строгое, глаза умные и чуточку с печалью, словно остались в них невзгоды, которые он перенес.

Собрались быстро. Шли тихой улицей, поскрипывали протезы Василия. Вечер был теплый, яркий от уличных огней. Много было гуляющих разодетых людей. Около винного подвальчика Василий остановился.

— Может, зайдём? У меня здесь прочный кредит.

Зашли. За стойкой, наклонив голову на бычьей шее, — пожилой человек, черноволосый, с горбатым носом. Около высокого столика покачивались на нетвердых ногах два собутельника. У одного яйцевидная голова, стриженная под нелевку, мясистый нос. Взглянув на вошедших мутными глазами, они обнялись и направились к выходу.

— Пожалуйста! — свирепо проговорил стриженный. — А мы пошли-и...

— С богом, — сказал Василий, и к человеку за стойкой: — Доброго здоровья, Дода Иванович!

— Доброго здоровья!

— С хорошей погодой, — сказал Василий.

— С прекрасным настроением.

— Для прекрасного чутков недостает.

— Сейчас, — засуетился Дода Иванович.

Он налил по стакану светлого вина и положил три конфетки рядом.

— Чего до положения риз напильсь? — спросил Василий, кивая на дверь, которая с хлопом закрылась за собутельниками.

— Беда у одного, душу изливает.

— Что так?

— Да шел как-то переулком, навстречу парни. Содрали с него белое кашне. Не спорил, было их много. А дня три спустя гулял по набережной, в руках гитара. Вдруг те парни навстречу. Ударил одного гитарой по голове и

тут сообразил, что ошибся. Не те парни. К тому же с красными повязками — дружинники. Вот и держали пятнадцать суток. И обрили наголо, и на работу сообщили. Беда.

— Нагорит.

— Не помилуют, конечно... Беляева не видел?

— Нет, — сказал Василий. — Погиб?

— Траур.

— Жаль беднягу.

Ребята переглянулись, подумав всерьез, что умер человек. Стало не так весело.

Илья подошел к стойке, желая расплатиться за всех, но Дода Иванович с презрением отвернулся.

— Молодой человек не знает правил, — насмешливо сказал он. — Кто ведет, тот платит.

На глазах изумленных ребят он достал картонку, испещренную фамилиями, перед которыми стояли крестики. Беляев был обведен траурной чертой, что опять напомнило о смерти.

Продавец спокойно поставил Василию три крестика, убрал картонку и помахал на прощанье рукой.

— Он всем отпускает в долг? — спросил Илья.

— Ну, всем! Кого знает. Художникам, правда, неограниченный кредит. Слабость его. Пей сколько влезет, но долг вовремя отдай, что бы там ни случилось. Для погашения долга у него определенные дни. Андрюха Беляев не отдал и попал в траур: значит, кредита ему больше не видать. Вдвойне принесет, а Дода Иванович скажет: «Тебе были нужны, мне не нужны. Оставь с собой, не надо». И наградит презрением, от которого впору сквозь землю провалиться.

— А мы подумали: умер Беляев, — разочарованно сказал Генка.

— Умер для Доды Ивановича. — Василий огляделся, недоумевая: — Собственно, куда вы меня тащите?

— Сейчас узнаешь, — сказал Генка. — Только води себя тихо. Она девушка такая, что с ней надо тихо.

— Вона! — удивленно присвистнул Василий. — Ты что же, изменил своей артистке цирка?

— Так то было не по-настоящему, — смутился Генка.

Василий, узнав, что надо подниматься на второй этаж, идти отказался. Генка не посмел, и Илья пошел один.

Старушка вышивала, дед, вооружившись очками, читал затрепанную книжку. Оля хлопотала на кухне. Увидев Илью, зарделась, огладила фартук, который делал ее очень домашней. Эта отчаянная девчонка, оказывается, в самом деле красива.

— В клуб хотим пойти, — сказал Илья. — Хочешь с нами?

Глаза у Оли расширились от изумления и радости, она заспешила, все повторяя:

— Скоренько я, сейчас. Одну минутку.

Закончила дела на кухне и скрылась за дверцей шкафа. Сначала оттуда полетели тапочки. К ногам свалилось ситцевое платье, вытянулась до плеч голая рука, подхватила со стула кофточку, юбку, и через минуту, не больше, появилась Оля, мало похожая на ту, что была в фартуке.

— Бесстыдница, — ласково пожурила ее бабка. — Шла бы одеваться на кухню. Ить парень!

— Эко дело, парень! — вступился старик. — Не сглазит. — И, подмигнув Илье, добавил: — Всем взяла, только хлеб не умеет резать. Наковыряет — не знаешь, какой стороной в рот совать.

В простенькой белой кофточке, черной юбке Оля казалась нарядной.

— Как посмотрю, все и кажется — Веруська, — всхлипнула бабка. — Такая же была озорная.

Оля чмокнула стариков, подхватила Илью под руку и повлекла к двери.

— Счастливенько! Не ждите скоро!

— За словом в карман не лезет, — сказал старик.

Когда спустились с лесенки, Оля просто, без смущения поздоровалась с Василием, потом с Генкой.

— Пошли, что ли, мальчики? — сказала она.

Василий даже хромать стал легче, у Генки язык прилип к гортани. Прежде чем что-нибудь сказать, он смущенно и долго откашливался, бормотал невнятное и все невпопад. Илья втихомолку посмеивался. Было понятно, отчего у Генки немеет язык.

* * *

Илья никак не ожидал встретить в клубе столько знакомых. Здесь был Григорий Перевезенцев с женой, рос-

лой блондинкой. «А ведь я ее где-то видел, — стал вспоминать он. — Точно, на башенном кране, и ребята кричали ей: «Эй, подавай веселее!» Тоже, наверно, как и Григорий, не умеет быть середнячком».

В компании приятелей стоял длинноволосый Гога Соловьев, в темно-зеленых, расклешенных брюках, дорогом, песочного цвета пиджаке с накладными карманами.

«Что он, не может стоять на месте?» — с досадой подумал Илья, видя, что Гога пританцовывает, вихляет всем телом, будто оно у него на шарнирах.

И вдруг вздрогнул, заметив на диване Кобякова и Галю. Они тихо разговаривали, не обращая ни на кого внимания. «Значит, и они здесь», — с тоской проговорил он, понимая, что вечер для него безнадежно испорчен. На первый танец его увлекла Оля. Он чувствовал ее податливое, гибкое тело и видел большие глаза с влажным блеском. Но ему все было безразлично. Оставив Олю с Генкой, он прошел в конец зала, к буфету, огороженному барьером, и сел рядом с Василием. Вскоре за соседний стол сели Перевезенцевы. Григорий что-то оживленно рассказывал, а жена, смеясь, нежно смотрела ему в глаза. Василий достал из кармана блокнот и украдкой стал набрасывать счастливую пару. Хорошо, что Григорий не видел, иначе могла выйти неприятность.

— Бедный Генка, — сказал Василий, глянув в зал, — как он старается. А девушка на зависть, и имя хорошее — Оля.

«Да, девушка на зависть», — повторил Илья.

Им принесли пива, холодного, пенистого. Убрав блокнот в карман, Василий медленно сдул пену к краю кружки и проговорил:

— Генка еще мальчишка, ты посматривай за ним.

— Я у него учусь, где уж мне смотреть, — сказал Илья. — Брат у вас чудесный.

— Не брат он мне. — Василий с досадой встряхнул головой, а поймав удивленный взгляд Ильи, повторил: — Какие мы братья...

«У него было много горя», — подумал Илья, глядя в печальные глаза Василия. Они оставались такими, даже когда Василий смеялся.

— Пришел я из госпиталя... Без ног, с шальным настроением. Работать постоянно не мог — болел часто. Вот сижу с тобой, болтаю, а чувствую себя прескверно. Пос-

ле контузии у меня это. Временами с нервами непонятное... Все годы после армии жил на пенсию, иногда прирабатывал: плакат ли, копию с картины. Я перед тем, как на фронт идти, три курса художественного училища закончил. Забросила судьба в поисках приработка в детскую колонию — товарищ по армии служил там, вот и зазвал. Стал временным оформителем, кружок еще вел. И ходил ко мне парнишка. Встанет сзади и, чувствую, смотрит, пристально смотрит. А говорить — куда там, дикий волчонок, не доверяет... Братишкой его звал. Сначала мои слова — как об стенку горох, потом, гляжу, привык. Подаст, сбегает, куда попрошу. Выяснил: ни отца, ни матери у него нет. Войной разбросало. Жил с сестрой. Не понравилось. Убежал искать счастья. Но связался со шпаной и, как часто бывает, попал в колонию. Спросил я его: будешь у меня жить? Молчит. Опять стал подозрителен. Думаю, заберу, договорюсь с начальником колонии, отдадут. И забрал. Хотел учить — не пошел, говорит, привык к работе: в колонии четыре часа учатся и четыре работают. Вскоре я опять залядел, положили меня в госпиталь. Думал, убежит, но нет, привязался. Ходил каждый день, сядет на койку и молчит... Сколько я намучился с ним, пока работу искали! «Из колонии? Не требуется!» Вот и весь сказ. Говорю: «У вас же объявление о найме висит, люди вы или кто?» — «Уже набрали». На какой завод ни сунусь, один ответ. И не доказать, что душа у парня чистая... На стройку взяли. Спасибо Першиной, к себе в бригаду зачислила. Руки у нее цепкие, приглядывает. Курсы бы ему какие окончить, парень-то башковитый, да нет пока курсов. А ты почему в институт не пошел?

— Можно было и в институт, — неохотно ответил Илья. — А лучше сначала поработать. Наглядишься, научишься кое-чему и тогда знать будешь, чего тебе хочется.

— Сейчас не знаешь?

— Представьте, да.

— Но это же странно!

— Может быть. — Илья пожал плечами, рассеянно оглядел танцующих.

— Я в самом деле не понимаю, как это не знать, чего тебе хочется?

— Ну, может, не так сказал... Конечно, человек дол-

жен чего-то добиться в жизни, зачем он и на свет тогда появляется. Но я пока просто с удовольствием просыпаюсь утром, знаю, что день будет новым. На работе мне приятно, если все ладится. Не думаю, что это плохо, если каждый день для тебя новый. Встречаешь разных людей, видишь, как они к жизни, к работе относятся, и себя понемногу открываешь.

Увидев, что к буфету подходит Кобяков под руку с Галей, замолчал, весь как-то внутренне подобрался.

— Добрый вечер! — сказал Кобяков, здороваясь с ним. — Садись, Галина, отдохни.

«Наслаждается, скотина, — подумал Илья. — Почему-то надо было придти за наш столик».

Галя как будто только увидела его, натянуто улыбнулась, сказала:

— Кого я вижу! Как дела, Илюша?

— Дела?.. Если тебе интересно, то дела прекрасные. Что у тебя дома?

— Что дома? — вспыхнув, переспросила она. — Все в порядке. Зайди как-нибудь. Братишка из деревни приехал, все лето у отца был, черный, как головешка...

— Много сегодня наших, — сказал Илья, не отвечая на ее приглашение, и, увидев Гогу, шагающего по залу вихляющей походкой, добавил: — Даже Гога пришел... Может, потанцуем, Галя? — Попросил как можно обычнее, стараясь скрыть дрожь в голосе.

— Ой, как не хочется! — смеясь, сказала она. — Очень устала...

Она была в светлом платье, ладно облегавшем фигуру, в тех же самых туфельках с каблуками-гвоздиками. Серые глаза спокойные, чистые. Илья вспомнил, как она скандалила в райкоме комсомола, и улыбнулся.

— Ты чего? — растерянно спросила Галя, побоявшись насмешки.

«Я лучше дворничихой в домоуправление пойду», — сказала она тогда. Робкий поцелуй возле могучей липы и радостное чувство, когда он, отбросив топор, стал отплясывать перед ней, пока не увидел Генку, вертевшего пальцем у виска: «Чокнулся?» И вот все нарушилось. Видно, не было у нее даже маленького чувства к нему, просто школьная дружба. Случайно встретились, случайно вместе пришли на работу, и достаточно было маленькой случайности, чтобы отойти друг от друга.

— Почему же Гоге не быть здесь? — услышал он запоздавший вопрос Кобыкова. — Разве есть запрещение? Или он хуже других?

Виталий явно задирался — продолжал беседу в более подходящем месте, как и обещал.

— Как можно! — поспешно согласился Илья. — Уж он-то, по крайней мере, думает, что лучше всех.

— Давно ли были мальчишками, — сказал Василий, впрочем, больше обращаясь к себе. — Помню, как бегали на вечеринки, с девчонками провожались. Таких, как ваш Гога, с нами не было, гоняли.

— В чем же провинился Гога? — повернувшись к нему, спросил Кобыков, и такой у него был удивленно-растерянный вид: Василия он видел впервые и не знал, как к нему отнестись. — Вы не можете его знать.

— Странно, не правда ли? — улынувшись, сказал Василий. — Но порой мне кажется, о вас я больше знаю, чем вы о себе.

— Ну, если вы такой провидец, скажите, послушаем, — усмехнулся Кобыков. Он отодвинул пустую кружку и стал лениво грызть сыр. — Прежде всего о Гоге. Он вам не нравится. А чем? Везде и всюду чувствует себя свободно? По-моему, это здорово — чувствовать себя свободным человеком. Ничто над ним не тяготеет, живет без оглядки, как и подобает. Кто-то из древних сказал, что тот человек счастлив, кто здоров телом и спокоен душой. Таков Гога. Это-то в нем кое-кому и не нравится. А я чуть постарше, присматриваюсь и завидую ему, стараюсь быть похожим, потому что знаю: у чуткой молодежи всегда есть что-то новое, свежее.

— Так, так, — поощрительно кивнул ему Василий. — Кстати, и в наше время было отребье. И тоже находились люди, старавшиеся оправдать их потуги. Новое! Свежее! Не за то выдаете. Где вы увидели раскованность в нем? В расхлябанной походке, в вызывающем поведении? Ума много не надо, чтобы усвоить это. Вы лучше уж к другим присматривайтесь, если не хотите прослыть косным старцем. — Он показал в зал, где у стен стояли парни и девушки, с усмешкой посматривавшие на Гогиных приятелей. — Вот вы сказали мысль кого-то из древних, на эту же извечную тему я могу привести другое изречение: «Жить для людей — величайшее счастье!» Души у ваших дружков сужены. И вы знаете это не хуже меня. А поче-

му к ним тянетесь, их защищаете, это уже другой вопрос, пока для меня непонятный... Ваш Гога все делает ради себя, ради своей выгоды, но так как его жалкие потуги себялюбца наталкиваются на сопротивление, он наливается желчью, ненавидит окружающих.

— Странное у вас понятие, — раздумчиво сказал Кобяков. Он не подымал глаз и раскаивался, что затеял этот разговор при Гале. — Допустим, я с вами кое в чем согласен. Но давайте разберемся хотя бы в одном. Гога, по-вашему, пришел на стройку для себя — ему, чтобы поступить в институт, трудовой стаж нужен. Но он работает, и польза от него есть. Потом он окончит институт, станет инженером и опять будет работать для себя, чтобы подняться. Не вижу в этом ничего плохого — от него опять явная польза. Он поставил себе цель и добивается ее. Зачем же толкать его к тем, у кого жизнь серее: без мечты, без взлетов. Да еще и требовать от него, чтобы он любил их.

— Я так и думал, — спокойно сказал Василий.

Кобяков насторожился, чистая желтая кожа собралась у глаз в складки.

— Не понимаю вас, — сказал он, пристально рассматривая Василия.

— Да чего же не понять, — ответил Василий, поудобнее устраивая протезы под столом. — Я когда говорил, что знаю о вас больше, чем вы сами о себе, — недалек был от истины. В вашей философии себялюбца ровнешенько нет ничего нового. Иди вперед, хотя бы и по костям ближних, ибо они серые, без взлетов, тебе же предназначена иная судьба. Видишь плохое — закрой глаза и скажи: «Не мое дело, пусть как знают». Какая уж, к черту, порядочность! Мы росли — считали: чтобы человеком стать, надо иметь цельную натуру. Непримируемую душу...

— Не знаю, — торопливо сказал Кобяков. — Работал, побывал во многих местах. Особо цельных натур не привелось встретить.

— Вам по характеру встречались такие, одно к одному тянет.

— Можете говорить обо мне как угодно, — сказал Кобяков. — Но только нельзя требовать от людей, чтобы они были такими же, как в двадцатые или тридцатые годы. Тогда все было проще. Скажут надо — идут, раз надо, не раздумывают. «Сидят папаши, каждый хитр: землю по-

пашет, попишет стихи...» — единственная хитрость, которую допускали, а в остальном — душа нараспашку... Кое на чем обжигались, умнели. А нынче — надо? А кому надо? Для чего надо? Мне надо ли?.. На практике не всегда выигрывает тот, кто стремится дать людям радость и счастье.

Их отвлек шум в зале. Разгневанная Оля хлопала по щекам растерявшегося Гогу Соловьева. Он пригласил ее танцевать, и девушка согласилась. Гога обхватил ее, как дерево, и стал дрыгать ногами, стучая ее по коленкам. Оля вспыхнула, подумав, что Гога над ней насмехается, вырвалась и надавала незадачливому кавалеру пощечин.

Все еще возбужденная, с красными пятнами на черном бровом лице, она подошла к столику и села рядом с Ильей. Ее всю трясло. Следом за ней появился Генка с глупым и счастливым лицом.

— Спасибо, Оля! — с чувством сказал Илья.

— За что? — удивилась девушка.

— И за меня спасибо, — проговорил Василий.

— Ничего не понимаю, — смутилась Оля.

— Спасибо за веселую сценку. Удовольствие доставили им, — сказал Кобяков, поднялся и собрался уходить. Илья, не спуская с него потемневших глаз, тоже поднялся, толкнул плечом. К несчастью, сзади Кобякова стоял стул, он наткнулся на него и перевалился на другую сторону.

И так уж многие поглядывали на Олю, севшую за столик, а тут новый скандал. Быстро собрались любопытные. Виталий, побледневший, с гримасой боли на лице, поднялся с пола, резко повернулся и почти побежал через зал к выходу. За ним, неопределенно глянув на Илью, заспешила Галя.

* * *

Шли домой. Скрипели протезы Василия. Никто ничего не говорил. Густая темнота вокруг, которую еле раздирали редкие лампочки на столбах, дальний звон проходивших трамваев и шуршание листвы, опавшей с деревьев. В конце аллеи остановились: Илья и Генка должны были проводить Олю, Василий направлялся домой.

— Ты, брат, не того... грубо, — смущенно сказал Василий, протягивая на прощание Илье руку.

Илья посмотрел на свои руки, точно удивляясь самому себе, своему поступку, сказал, оправдываясь:

— Я слушал, слушал его — противно.

— Твои уроки, — фыркнув и пряча смеющееся лицо, сказал Василию Генка. — Теперь, погоди, он пойдет всем носы квасить.

Глава десятая

В воскресенье утром Илья проснулся и долго ходил по комнате из угла в угол, не зная, чем заняться, и думая о том, что произошло вчера в клубе. Нескладно получилось, никогда не замечал в себе такой прыти. И это все разговор, в который он не вмешивался, хотя весь кипел. Именно потому, что кипел, и не вмешивался: спорить без поддержки — это только веселить людей и себя на смех поднимать. «Да, нескладно получилось... А как посмотрела Галя...»

Он подходил к окну, день был солнечный, воздух по-осеннему прозрачный, раза два брал книгу, но читал, не понимая, о чем речь. Матери дома не было — ушла на рынок. Чтобы чем-то занять руки и меньше думать о вчерашнем вечере, он пошел в сарай и с удовольствием стал прикладывать дрова, привезенные недавно. Именно с удовольствием, еще никогда не испытанным и таким успокаивающим душу. «Это, наверно, потому, — думал он, — что я начинаю находить вкус в работе». Под руки попался приемник, который он мастерил, занимаясь в школьном радиотехническом кружке. Илья с улыбкой осмотрел его и отшвырнул в угол, но потом подумал, бережно поднял и убрал на полку. Все-таки память.

Вдоволь наработался и умаялся, а затем взял полотенце и пошел на реку, до которой было рукой подать.

С высокого берега хорошо просматривалась вся южная часть города, с шумливым вокзалом и многочисленными заводскими трубами. От моста асфальтовая дорога шла по дамбе, мимо вокзала, и поднималась к старинному пригородному селу с белой церковью на горе. Правее села строился нефтеперерабатывающий завод. С реки его не было видно, но Илья мог точно указать, где размещается второй участок, в каком месте заложен фундамент ТЭЦ.

Южная часть считалась рабочим районом и связывалась с центром двумя мостами. Ниже мостов река огибала полукруг и сливалась с Волгой, образуя стрелку.

Когда-то весь город умещался на стрелке, был окружен высокой стеной, но сейчас разросся и далеко шагнул во все стороны. О прошлом напоминают многочисленные церкви, затерявшиеся среди многоэтажных домов. Летом целые толпы туристов осматривают их, фотографируют, и им не надоедает. Коренные жители города равнодушны к достопримечательностям, они больше присматриваются к самим туристам и относятся к ним с благодушной предупредительностью. Но гораздо большей популярностью пользуются туристы у мальчишек, которым всегда хочется иметь необыкновенную почтовую марку, необыкновенную наклейку на спичечном коробке или просто памятный значок.

Было время, Илья увлекался собиранием всего необыкновенного, а сейчас стал ближе к категории «коренных жителей», для которых ничто не ново в своем городе...

Илья спустился к песчаному пляжу. Вода уже охолодела, и купаться он побоялся, а только вымылся до пояса. Потом сел на камень и стал смотреть на ребят, ловивших на отмели пескарей. В компанию рыболовов затесалась голенастая девчонка в коротком платье. Она забралась в воду и оглашала воздух радостным визгом. Самое удивительное было то, что мальчишки, видимо, смирились с нею. По крайней мере, визжала она безнаказанно. Придет время, и кто-то из мальчишек будет смотреть на эту девчонку с восторгом, от одного взгляда ее становясь счастливым или глубоко несчастным. Может случиться и так, что девчонка предпочтет другого, а этот, затаив грусть, станет ходить за ней по пятам. Все может случиться...

Илья считал, что надо как-то бороться за свое счастье, но как? «Конечно, — размышлял он, — после вчерашнего Галя и смотреть на меня не захочет».

Охватив руками колени, Илья долго сидел на берегу и думал.

Если раньше он скользил по лицам людей, отмечая только внешние стороны, то сейчас за каждым старался угадать всю жизнь, отметить каждую черточку характера... кто он, чего он хочет.

Его размышления прервал Генка Забелин, неожиданно оказавшийся на берегу.

— Вон ты где, — облегченно сказал он. — Мне мать сказала, что, наверно, на речке. Все ходил и смотрел, с километр отмахал. Упарился.

— Посиди, — пригласил Илья.

— Какое сидеть! — отмахнулся Генка. — Забыл, что ли? К Сереге в гости собирались, подымайся давай, еще ко мне нужно зайти. Я с самого утра ушел.

...К их удивлению, в комнате Василия хозяйничала Першина. Пол блестел чистотой, передвинут был шкаф, за который бросали все, что было можно. Василий — в рубашке-безрукавке, побритый и праздничный — сидел на маленькой скамеечке и не сводил глаз с Першиной. А она, накалив утюг, размашисто гладила на столе белье.

Приход ребят несколько смутил их. Василий кашлянул, как всегда в минуты растерянности.

— У нас, Генок, видишь, гость, — сказал он.

Генка давно знал, что Василий неспроста спрашивает о Першиной, но не думал, что его чувство приведет к чему-то путному. Поэтому он сегодня и удивился и обрадовался приходу бригадира, обрадовался за Василия. Генка взглянул в смеющиеся глаза Першиной и сказал:

— Вы тут занимайтесь. Мы в поселок сейчас. К Сереге Теплякову жена должна приехать. Звал нас в гости.

Першина сложила выглаженное белье в ящик, осмотрела комнату, проверяя, все ли на месте. Села, всплеснула руками, сказав с довольной улыбкой:

— Хорошо как у вас.

Василий просиял, в волнении затеребил ворот рубашки.

— Как, Генок, не отпустим ее? — спросил он. — Оставим у нас жить?

— А чего! — охотно откликнулся Генка. — Давай.

Першина погрозила ему.

— Смотри, командовать буду и на работе, и здесь. Взойдешь. — Потом спросила Илью: — Нравится тебе работа?

— Не жалуюсь, — сказал Илья.

— И тебе не надоедает каждый день делать одно и то же? Ничего нового — бетон и земля.

— Все это так, зато я чувствую, что сам зарабатываю на себя и что-то, пусть небольшое, но нужное, делаю...

— Значит, тебе в самом деле нравится работа? — уже рассерженно спросила она.

— Пока доволен, не знаю, как дальше будет.

— Но не век же ты будешь разнорабочим? Незачем было и десятилетку кончать.

— Конечно, не век. Я сначала привыкну к любой работе, а там видно будет, кем стану.

— А ты, Гена, кем станешь?

— Я? — оживился Генка. — Э! Я буду сначала экскаваторщиком, как Григорий. Года два поработаю — к этому времени завод построим, — поучусь немного, и меня поставят мастером или прорабом. Поработаю и опять поучусь — и поставят меня начальником участка. Вот тогда я вас в бараний рог сверну.

— Почему нас? — с улыбкой спросила Першина.

— Не вас, конечно, — поправился Генка. — Я бездельников и негодяев колошматить буду, житья им не дам.

— Гена, — весело вмешался Василий, — негодяи и бездельники к этому времени все переведутся.

— На мой век останутся, — отмахнулся Генка.

— На кого хотел бы ты учиться? — продолжала допытываться у Ильи Першина.

— Еще не знаю. Ничего не случится — поступлю в строительный институт, на вечернее отделение. А сейчас совсем неважно, кем я работаю — плотником, бетонщиком или каменщиком. Мне важно себя проверить — могу ли с охотой работать на стройке.

— Зря, Женя, напустилась на парня, — сказал Василий. — Ты хочешь, чтобы он разложил свое будущее по полочкам и сказал, в каком году кем будет. Это только наш Генка может, — прищурился, кольнув Генку взглядом, и уточнил: — Немного полегкомысленнее он... Поработает на стройке, среди народа, и будет ясно, что делать дальше. Неплохо и грамотным рабочим стать, не всем быть инженерами. Кто у тебя отец? — спросил Илью.

— До войны работал слесарем на фабрике, — ответил Илья, думая прежде всего о том, что первый раз услышал имя Першиной. К ее грубоватой силе как-то не шло мягкое имя — Женя. — Потом он ушел на фронт, и мама получила извещение: погиб на Курской дуге...

— Да-а, — досадливо протянул Василий.

После некоторого молчания Першина сказала:

— Будь по-вашему. Ты уже, кажется, где-то до это-

го работал? Вот так. А теперь иди в плотники, потом машинистом башенного крана и еще кем-нибудь. Мечешься, а пора бы остановиться.

В годы войны Першина, не доучившись до седьмого класса, пошла в строительное училище. И уже начала ходить, но бросила — показалось тяжело. А сейчас жале-ла: на каждом шагу приходится чувствовать, как мало знаний. Может, по этой причине и завела разговор с Иль-ей. Конечно, неважно, кем будет работать — простым ра-бочим или инженером, но чтобы не шел ощупью, как при-ходится подчас ей.

— Времени хватит, — беспечно сказал Илья. — Еще останется.

Она покачала головой и проговорила:

— Жизнь летит незаметно. Не успеешь оглянуться, а она уже прошла. Коротка она...

И, заметив, что ее слова произвели на Василия впе-чатление, подошла к нему, потрепала волосы. Василий прижался щекой к ее руке.

— Ну, мы пойдем, — заторопился Генка.

* * *

Они приехали в поселок во второй половине дня. В комнате, где жил Тепляков, стояло четыре кровати, стол и четыре тумбочки. На одной из тумбочек тикали два со-вершенно одинаковых будильника. Серега сидел за сто-лом, подперев руками голову.

— Привет, — сказал Генка. — Где же твоя жена?

— Не приехала, — уныло сказал Серега. — Не знаю, что и подумать. Написала: приеду, хочу посмотреть мес-то, где будем жить. Без ребят хотела приехать... И нету.

— Может, еще подъедет, — сказал Илья.

— Нет, поезд уже пришел, — с тоской сказал Сере-га. — Теперь не приедет. Хорошо, что пришли. Совсем скучно одному. Сейчас чаю согрею, — засуетился он и, хлопнув дверью, вышел. Потом вдруг вспомнил, вернул-ся. — Григорий звал телевизор смотреть. Киножурнал ка-кой-то о стройке покажут. Можно было и в общежитии посмотреть, да у нас телевизор испортился. Крутили, кру-тили, и испортился. Столько денег стоит, а портится.

Серега опять хотел скрыться, но Илья задержал его:

— Не надо чаю. Пойдем к Перевезенцеву. Его и Ген-ку будут по телевизору показывать.

— Что ты! — удивился Серега. — За что их? Гена, ты что-нибудь натворил?

— Кажется, натворил, — вздохнул Генка, на его лице и вправду появился испуг. — Не знаю, как у меня в кино получится. Я вроде здорово работал, но кино — это совсем другое дело. В спортивных киножурналах другой раз замедленно показывают прыжки: летит человек с десятиметровой вышки в воду, как пушинка, — медленно-медленно. Получается красиво. А что, если им вздумается показать мою работу медленно? Каждый, кто посмотрит, скажет: гнать его надо в три шеи...

— А я люблю только такие кинокартины, на которых плачу или смеюсь, — сказал Серега. — Все остальное — ерунда.

Его замечание разобидело Генку:

— Глупость из тебя так и прет. Только ты не обижайся, — поправился он.

— Я не обижаюсь, — покорно сказал Серега. — Я уже близок к тому возрасту, когда трудно сдержать глупость. Молодые еще могут сказать вовремя: «Стоп!» А старики — как дети...

И опять, как бывало и до этого, Илья с удивлением посмотрел на Теплякова: не так уж он и прост, как все принимают его. О таких говорят: себе на уме.

Перевезенцев занимал однокомнатную квартиру с ванной, кухней и газом. В комнате, рядом с высокой, блестящей никелем кроватью, умещались по стенке диван и тумбочка с телевизором. По другую сторону были шкаф и еще тумбочка с радиоприемником. Жена его, Варя, радушно усадила гостей и, поймав взгляд Григория, поставила на стол бутылку вина.

— Богато живешь, — сказал Серега, с интересом поглядывая на радиоприемник с зеленым мерцающим глазком. Передавали концерт по заявкам строителей.

— Живем не пышно, другой раз у соседей слышно, — самодовольно сказал Григорий, подмигивая жене.

— В семейной жизни бывает, — знающим тоном проговорил Серега. — Дерешься, целуешься — сам черт не разберет. У меня будет комната, тоже куплю радиоприемник, выберу самый большой, чтоб орал на весь дом. Музыку слушать буду. Сам не свой до музыки. Особенно до такой, которая с воем и громом, — джаз называется. Включу на полный голос, окна настезь — не плати за

вход, танцуй сколько влезет. Телевизор покупать не хочу, он ломается. Радиоприемник — куда как здорово.

Пока Серега разглагольствовал, по радио пели песни. Бетонщики, каменщики, штукатуры со всех строек страны — все больше знатные — наперебой заказывали песни из кинофильмов, и их просьбы послушно выполнялись. Диктор объявил, что следующим номером поется современная грузинская песня, в которой есть слова: «Я вношу свою лепту в строительство коммунизма». Песня, очевидно, была хорошая, тем более что, кроме приведенных слов, ничего разобрать не удалось. В заключение была исполнена песенка о покорении космоса, которая, правда, к строителям непосредственного отношения не имела, но зато откликалась на события дня.

Гости слушали и чинно разговаривали. Генка выпил стопку вина, покраснелся и стал посмеиваться. Потом залепетал: «Ла-ла-ола-ла». Это надо было понимать: я тоже строитель коммунизма и тоже вношу свою лепту.

— Ко мне всегда заходите, — сказал Григорий. — Жена у меня гостей любит. А вот на рыбалку со мной не стоит идти, если не хотите заклятого врага нажить. Такой уж у баб характер: сиди все время дома — лучше тебя во всем свете нет. А уйдешь — и такой, и сякой, и немазаный. Ревнивые...

— Думала тебя, дурака, ревновать, — сказала Варя с улыбкой. — У самого, поди, сердце обмирает, когда задерживаюсь.

— Бабам не положено задерживаться, — строго сказал Григорий.

— Вот-вот, — проговорила Варя. — Бывает, привидится человеку во сне, что он падает, — в поте лица сразу просыпается. Говорят, такое чувство у нас еще от дальних предков — обезьян: во сне они с деревьев сваливались. Мой Гриша вроде бы не падал ни разу, но домострѣм от него несет на версту, дедовские привычки крепко въелись.

— А я бы согласился приобрести его привычки, — сказал Илья.

— Нет уж, брат, приобретай-ка свои, — шутливо заметил Григорий. — Захребетники нынче не в почете. — Указал на жену: — Понимаешь, учиться выдумала на старости лет. Ты тут по хозяйству, а она в школе. И ничего не скажи — сразу домострѣвщина.

— И тебе надо бы поучиться, — сказала Варя. — Хоть вы, ребята, объясните ему. Все равно вечера у телевизора просиживает.

— Ладно, не разоряйся, — сказал Григорий, — может, еще и буду учиться. Вот с Серегой вместе.

— Куда уж мне, — отмахнулся Серега. — Вы молодые, а я прожил свое. Как говорил Павка Корчагин: прожить жизнь надо так, чтобы было что вспоминать. Я прожил, мне есть что вспомнить.

Илья засмеялся, хлопнув Серегу по плечу:

— За такое толкование Павка Корчагин тебе по макушке съездил бы.

— Может, я и не так сказал, — заскромничал Серега, — мне — не вам, мне все прощается.

— У меня отец искал счастья с двугривенным в кармане, — неожиданно сказал Генка. — И я искал...

— Не расстраивайся, Генок, — сказал Григорий. — У каждого из нас что-нибудь случается. У тебя все счастье впереди...

Григорий включил телевизор, и, пока на экране мелькали поперечные полосы, Серега успел сказать:

— Дорого стоят, а ломаются.

Показалось лицо диктора, который объявил программу передач. Потом они увидели крупный заголовок: «Труд, достойный чести».

И пошла под тихую музыку панорама стройки. Как зачарованные смотрели они знакомые места, радуясь каждому предмету, попавшему в объектив. Тут были громадные, как хищные птицы, краны, дымили отработанным газом груженные самосвалы, гребли землю неуклюжие бульдозеры. Показался Григорий, и диктор сказал, что это экскаваторщик, недавно завоевавший звание ударника коммунистического труда, что на своем веку он вырыл не один котлован. Затем начался рассказ о Генке Забелине: он и очень добросовестный, и очень понятливый ученик, у него уже есть опыт — хоть сам другому передавай. Генку показывали крупно, мелко и средне, спереди и сбоку. А он сидел в кабине за рычагами и даже не косился в объектив. Он был занят важным делом и держал себя так, словно все шестнадцать лет только и работал на экскаваторе. Перед концом в кадр ворвался Перевезенцев, указывая что-то рукой. Это когда он кричал Генке: «Не спеши!»

— Я правильно сказал: экскаваторщик из тебя выйдет ловкий, — с удивлением в голосе проговорил Григорий, все еще находясь под впечатлением увиденного. — И даже я получился. Смешно!

Генка молчаливо и гордо улыбался. Как-никак похвалил его сам Перевезенцев! «Ла-ла-ола-ла», — возбужденно пропел он под веселый смех остальных.

Глава одиннадцатая

Утром Илья отпрашился у Першиной, вскочил на подножку попутного самосвала и поехал в управление, где помещался комитет комсомола. Надо было встать на учет.

На площадке, заваленной штабелями железобетонных балок и колонн, он заметил Олю. Молотком на длинной ручке она выстукивала только что вынутые из пропарочных камер балконные плиты — совсем как мастер паровой бригады делает проверку перед отправлением локомотива.

Илья спрыгнул с подножки, подбежал к ней.

— О, Илюша! — радостно встретила его Оля. — Ты ко мне? А что вчера не приходил? Дедушка говорит: пождем, должен подойти. Я ждала, а ты так и не пришел...

— Мы с Генкой в поселке были, у Перевезенцева в гостях. А чего это ты делаешь? — показал на молоток, не понимая, зачем он ей нужен.

— Проверяю, трещинок нет ли. Знаешь, меня учат на контрольного мастера. Я так рада. Только ругаться часто приходится. Вон, смотри, сидят, — указала молотком на бригаду бетонщиков, которые неторопливо курили и разговаривали. — С ними больше всего. — И стала объяснять, явно гордясь уже усвоенными знаниями: — Каждая балка, или плита, должна быть одинаковой длины, а они всегда стараются сделать подлиннее — из большой маленькая выйдет, а маленькую, доскать, не растянешь — явный брак. И гонят. А прорабы отказываются брать изделия, им давай по стандарту. Да и бетона сколько лишнего идет. А бетонный завод и так с перебоями работает. Вообще-то, посмотрела я — неразберихи тут полно: то арматуры нет, то бетона. И никому ни до чего, свыклись. Да и бетонщики свою линию держат: что потяжелей да

пообъемней, то и делают. Им же выработка с кубометра засчитывается. Вот и нагнали балок да колонн целые штабеля, на весь завод хватит, да еще на следующий останется. А мелких деталей, лестничных маршей особенно, не хватает. На днях прискакал тут один, говорят, из комитета комсомола. «Привет! Привет! Как работается?» — спрашивает бригадира Васильева. «Плохо», — отвечает тот. «Что же это вы, братцы? Надо постараться. Бодрости в вас мало, бодрости». Попытались ему объяснить, что и как, — не дослушал, убежал: некогда, другие участки надо навестить. Помог, называется...

— Точно, Трофимов, секретарь комитета, — догадался Илья, вспомнив, как он приезжал к Перевезенцеву. — Пошуметь умеет.

Подошла машина, груженная арматурой, развернулась и встала.

— Васильев! — крикнула Оля.

Поднялся рослый парень в ватнике и рукавицах, в кепке козырьком назад.

— Сейчас, мое золотце, сейчас. Одна минута, и все будет готово. Поднимайтесь! — приказал бетонщикам.

И в самом деле, в один миг машина была разгружена. Рабочие стали готовить камеры для заливки бетоном.

— Слушаются тебя, — улыбнулся Илья.

В комитете комсомола напротив Трофимова сидел Кобяков. Секретарь сухо поздоровался с Ильей и указал на стул.

— На ловца и зверь бежит. Садись, будем разбираться.

Кобяков как-то нервно передернулся, сказал:

— Еще раз прошу: не делайте трагедии из того, что произошло. Все проще.

— Проще! — встрепенулся Трофимов, осмотрел ключе из-под очков того и другого. — Не согласен. Мы организуем дружины по борьбе с нарушениями, а два комсомольца на виду у всех драки устраивают. Ваше дело я на комитет вынесу, и не просите. Распустились, стыдно подумать. Один рукоприкладством занимается, другой лезет на экскаватор и выдает себя за машиниста. В постройке на смех подняли. Опровержение пришлось писать. А все перепутал оператор, дурной какой-то. Из райкома звонок — уже откуда-то узнали. Что, я за вас отдуваться буду?

— Зачем, — сказал Илья. — Не надо только заводить дутые персональные дела. Кобяков правильно сказал: все проще. Мы с ним сами разберемся. Никакой драки и не было. А если что против Забелина имеете — тоже напрасно, парень давно просится в ученики к Перевезенцеву, и Григорий Иванович не против, а его держат в бригаде. Он уже вам говорил, что хочет на курсы. Лучше бы в самом деле разобрались, почему не открывают курсы.

— Слушай, Коровин, — рассердился Трофимов. — О тебе речь идет или обс мне? Рановато тебе учить меня. И можешь успокоиться: персональное дело будет. Собрание еще проведем — всем покажем истинное лицо ваше.

— Давайте. Вот оно, на ваших глазах.

Когда Илья, закончив свои дела, вышел из комитета комсомола, его поджидал Кобяков. Пошли рядом.

— Предлагаю, Коровин, мир. Оба мы не образцовые, в чем ты сейчас убедился. Ты зол за Галину, наверняка, но ведь пойми: она сама выбирает. Что ей, прикажешь, что ли? Знаю, тяжело тебе, но переболеешь... Не будем ломать копий. Так как: мир или сосуществование?

Илья был тронут непоказной искренностью Кобякова. Даже голос у него был другой, более мягкий, проникающий в душу.

— Лучше выберем пока последнее, — сказал Илья. — Вспомни, сколько раз мы с тобой встречались и о чем шел разговор. И поймешь: из-за Гали или нет. А из-за нее — верно — пристальней начал к тебе приглядываться. Думал, что-то в тебе новое, непохожее на других. На танцах я ждал, что ты дашь сдачи, приготовился...

— Не хотел репутацию свою пятнать. Ты же слышал сегодня — персональное дело. А что бы произошло, если подрались бы по-настоящему? Недолго и из комсомола вылететь. А мне последний год остался в комсомоле, лучше выйти по возрасту. Я, может, тоже в свое время отличался прямотой, горел. Да глаз у меня не так устроен: видел на каждом шагу подлость, двоедушие, желание перегрызть глотку, чтобы добиться своего. И опять повторяю: сегодня ты убедился. Думаешь, его взволновало, что произошла драка? Как бы не так. Боятся, что укажут пальцем, дойдет до кого повыше. А потому лучше застраховаться. То же и с Генкой. Случай смешной, но наводит на размышления. А посему — выдать за ошибку операто-

ра, тому влетит. Насмотришься всего, и поневоле злость заест. А если она не в ту сторону направлена — виноват, но исправиться трудно, человек есть человек... Смотри, как разоткровенничался, — усмехнулся он сам себе. — Чем-то ты меня зацепил сегодня...

— Вот тебе моя рука, — сказал Илья.

На этот раз они распрощались почти дружески.

* * *

Генка стал героем дня. Подошел во время работы рыжий, пожевал губу и спросил:

— Это тебя показывали по телевизору?

Генка, которому уже надоели любопытные, вскинулся на него:

— Дядю! У меня дядя есть, мою фамилию носит.

— Тебя, — сказал рыжий. — Чай, не слепой, видел.

И отправился восвояси, раздумывая, как мог Генка Забелин научиться управлять экскаватором.

— Гена! — вскоре окликнула Першина. — Иди к Колосницину, вызывает.

— Зачем? — насторожился Генка.

— Да, наверно, шею намылит, — встала рядом, облакала смеющимися глазами, договорила: — Беги, страшного ничего нет. Только не пререкайся с ним...

Генка смотрел на нее с недоумением. Прораб на стройке — заметная фигура. Но Колосницин как-то умудрялся стоять в тени. Он ни во что не вмешивался, если это непосредственно не касалось работы, никто не слышал, как он ругается, хотя причин для ругани было много. Он все делал тихо и незаметно. Поэтому Генка и насторожился: просто так Колосницин вызывать не станет.

В дверях прорабской будки он столкнулся с Григорием Перевезенцевым. «И тебя?» — спросил испуганный Генкин взгляд.

— И меня, — подтвердил Григорий.

Колосницин сидел за столом. Под рукой груды нарядов и чертежей. Скромно сели на скамейку, опустили руки на колени.

— Знаете, зачем я вас вызвал? — спросил Колосницин, выпрямился, и стул под ним жалобно скрипнул.

— Нет, — сказал Генка, подумав, что в Колосницине килограммов девяносто будет.

— Нет? — грозно спросил трепещущего Генку. — В кино сниматься мастер, а за поступки отвечать тебя нет? Как ты очутился в журнале?

— А я... да так получилось, — невнятно стал оправдываться тот, даже приподнялся, чувствуя дрожь в коленях. Григорий за плечо снова усадил его на скамейку, заставил жестом замолчать. Сам сказал:

— Получилось так, как надо. В конце концов, на строительстве уйма толковых рабочих, а вы привязались ко мне. Что за любовь делать героев? Перевезенцев тут, Перевезенцев там. Другой, может быть, рад был бы, для другого поддержка, а вы мне надоели хуже горькой редьки. Я давно хотел сказать вам, да все случая не было.

По мере того как Григорий говорил, брови у Колосницына ползли вверх. Потом он тяжело поднялся, прикрыл покрепче дверь, через которую доносился стрекот пишущей машинки.

— Ты это всерьез? — в крайнем удивлении спросил он. — Может, я не так понял?

— Все так, как есть, — успокоил его экскаваторщик. — Знаю, зачем устраивается шум вокруг одного человека: пыль в глаза пустить. Авось за этим шумом будут меньше видны недостатки, которых полно и чтобы изжить которые по-настоящему, надо работать. А по-настоящему не каждому хочется, да и не каждый сможет... Так и договоримся, Михаил Иванович: надо сутки — сутки отработаю, пришлете учеников — займусь и с ними. А в постройке скажите: на всякие совещания и заседания Перевезенцев больше не ходок.

— Бунт? — спросил Колосницын. — Первого человека встречаю, который от славы отказывается... Ты думаешь, мне польза от всей твоей славы? Вот она где у меня! — постучал огромным кулаком себе по загорбку и договорил: — Признаться, я и сам подумывал, что тут что-то ненормальное. Тебе что, вызвали — и укатил на полдня, а то и на день. А мне крутись, ищи замену.

— Мне что, — подтвердил Перевезенцев.

— Так и порешили, — согласился Колосницын. — Поддержку я тебе обещаю, коли так обернулось. А что с Забелиным будем делать? — Оглядел съездившегося Генку, усмехнулся: — Артист!.. От меня потребовали разобраться и сделать выводы. Да еще бумагу какую-то

подписывал, подсунули: опровержение, вроде ноты иностранному государству.

Перевезенцев попросил:

— Переведите его ко мне, Михаил Иванович. Обещаю вам: сделаю настоящего экскаваторщика. Хватка у парня есть, чай, видели вчера?

Генка совсем съежился, ожидая ответа, а глаза — не моргнувшие ни разу глаза — подозрительно засветились, затекли слезинкой.

— Ладно, ладно, — заторопился Колосницын. — Идите. С завтрашнего дня... пусть работает.

Григорий и Генка вышли. В проходной комнате девушка-машинистка с любопытством осмотрела их, проводила взглядом до самой двери — наверное, все слышала.

— Молодец тот парень, Заболот, кажется, — сказал Григорий. — Находчивый. Люблю таких. Попадет ему теперь?

— Попадет, — вздохнул Генка. — Нота, — добавил он многозначительно, — вещь серьезная. Из-за этих нот войны бывают.

— Да, дела. Надо бы как-то сообщить его начальнику, что мы тут виноваты. Мы с толку его сбили.

Илья, помогавший плотникам разбирать опалубку, с тревогой посмотрел на подошедшего Генку.

— Ну как? — спросил он. — Зачем тебя вызывали? Я пришел, Першина говорит: «Генку вызвал прораб, нагоняй дает». Что тебе было?

— Ничего не было. Что я им... сел на экскаватор, попробовал, получается или нет... — и не удержался, радостно обхватил Илью, попытался уронить. — Перевели в экскаваторщики с завтрашнего дня.

— В ученики, Гена, — поправил Перевезенцев.

— Перевели в ученики к Григорию Ивановичу! — заорал Генка.

После работы все трое решили ехать в студию телевидения. Телевизионная мачта поднималась высоко над домами, и ее можно было увидеть с любого конца города. Добрались быстро. Открыв дверь, наткнулись на вахтера. Он расспросил, куда и зачем, направил к директору.

— Слушаю вас, — сказал директор, пожилой человек, круглый, как катышок, с пробивающейся розовой плешью. Он с любопытством осматривал их: посетители в рабочих спецовках — нечастые гости в кабинете.

— Извините, пошутили нескладно, — сказал Григорий, когда познакомились. — Начальству своему критику в такой форме преподнесли. — И постарался возможно короче объяснить, как все вышло.

Директор слушал, качал головой и что-то черкал на листке бумаги.

— Вы даже не представляете, как я рад вам, — сказал он, когда Григорий замолк. — И даже дело не в операторе — он свое получит. Рад, что подумали: плохо может быть человеку. Пришли бы вы или не пришли, ответ на опровержение давать надо. Но теперь-то я знаю, что ответить.

Он нажал кнопку в столе, и в дверях показалась кудрявая голова секретаря.

— Заболота ко мне.

Появился Заболот с куском пленки в руках, которую рассеянно накручивал на палец и раскручивал. Признав Перевезенцева и Генку, хмуро поздоровался.

— Благодарю, что ребята такие, — сказал ему директор. — Иди работай. Да впредь не очень самовольничай.

Сказано было несколько грубо, но все же понятно, что никакого взыскания оператору не предстоит. Заболот это тоже понял и повеселел. Он повел гостей осматривать студию.

Пришли в огромный зал с рядами электроламп на потолке. На штативах стояли мощные прожекторы, висели на проводах микрофоны. Две телевизионные камеры на трехколесных тележках, от которых тянулись толстые провода, были придвинуты к стене. «Отсюда мы ведем передачи», — сказал Заболот, плотно прикрывая за собой дверь с красным фонарем, на котором было написано: «Тихо, идет передача».

Потом гости попали в отделение киносъёмочной группы. Илья буквально прилип к проявочной машине, придирчиво осмотрел звукозаписывающий аппарат. «Это тебе не фотоателье!» — только и мог произнести он. Желая еще больше поразить ребят, Заболот шепнул киномеханику. Вскоре свет погас, и на белом полотне замелькали кадры, рассказывающие о строительстве в тридцатых годах большого шинного завода.

— Батюшки! — ужасался Генка. — А мы плачем — много ручной работы. Да здесь все делали руками, даже кирпич на носилках таскали.

— Носятся как, — заметил Перевезенцев, — полные носилки наложат и бегут. Здоровый народ был. Только что-то смешно бегают.

— Снимали тогда на шестнадцать кадров, — пояснил Заболот. — Шестнадцать кадров в секунду. А проекторы теперь на двадцать четыре. Все убыстряется. Люди ходят, а впечатление такое, что бегают.

— Вон что, — разочарованно протянул Григорий. — А я думал... А все же здорово! Молодцы вы, киношники!..

Перевезенцев хотел сказать, что работники студии, хоть и не производят материальных благ, но тоже делают доброе дело: люди увидят себя на экране телевизора, и им захочется быть еще лучше.

Оператор долго тряс им руки.

— Заходите чаще. И спасибо огромное!

Глава двенадцатая

Дни летят стремительно. Одних они старят — слабеют мускулы, мозг, другие набираются сил. Молодые хотят стать взрослыми, но, став ими, с завистью оглядываются назад. Такова жизнь.

Стройка — тоже жизнь. Чего не было вчера, уже есть сегодня. Вчера это здание было по первый этаж, сегодня поднялось до второго.

По утрам на строительные площадки стекаются тысячи людей. Мудрые, честные, бездельники и неверы, сильные и слабые, а все вместе они — коллектив.

— Какая громадина будет ТЭЦ! Трубу увидишь за двадцать километров.

— Эка невидаль! Курбскую колокольню видно за тридцать пять.

— Здорово научились строить! Мигнуть не успеешь, и уже цех готов.

— Цех из крупных блоков? Вот увидите, он развалится и придавит добрую сотню людей. Случай такой был: сорвалось перекрытие, и двум рабочим отдало ноги. Не хотел бы я быть на их месте.

Одни день за днем возводят по крупице то, что потом назовется заводом. Другие тоже на работе, но чаще мешают, треплют другим нервы... По утрам много стекается людей на строительные площадки...

По свежим насыпям идут самосвалы: везут бетон, лес, кирпич. Чтобы завод работал, нужно прежде вынуть и переместить двадцать пять миллионов кубометров земли и немного меньше уложить кирпича и бетона.

— И это все должны сделать мы? До конца жизни хватит.

— Нет, завод должен вступить в строй через пять лет. Сделаем в срок, и нас будут поминать добрым словом.

— Как же, вспомнят о тебе! О строителях вспоминают, когда течет крыша или отваливается штукатурка. Электромонтер написал стихи, жалуется, что его вызывают, если вдруг гаснет свет. Будь десять лет порядок со светом — и не потревожат.

— Дойдем до этого, я пойду в электромонтеры.

— Простой, братцы! Ура! Нет бетона.

— Что горланишь, дармоед? Нашел чему радоваться. Эй, парень, добеги до прораба, узнай, в чем дело.

И вынужденная заминка опять собирает рабочих в кружок.

— Говорят, на первом участке какая-то бригада перешла на хозрасчет. Раньше бросали кирпичи где попало, раствора не жалели. Теперь следят строго. Каменщики выкладывают стену ровненько, за ними сразу штукатуры, только затирают. Толщина намета семь миллиметров. А в стены идет и половняк. Подумывают сэкономить кирпичей на целый дом.

— Дуракам закон не писан.

— На днях проводили рейд по общежитиям. Картины, телевизоры, кровати на колесиках, и все недовольны. Придет с работы — и, не раздеваясь, во всем грязном на кровать. Недовольным будут давать отдельные комнаты. Жаль, живу дома, я бы тоже ложился спать не раздеваясь.

— Жены боишься?

— Кто их не боится! Другие только храбрятся, а когда дело дойдет до точки, норовят в кусты.

— Я, братцы, женился на хохлушке. Уложили меня с женой в чулане, на полу. Ночью обхватил что-то круглое, приложился губами — холодное и твердое. Открыл глаза — сплю в обнимку с арбузом.

— Сколько машин! Наверно, согнали со всего города.

— Да, а мы стоим. Эй, где прораб? Давай сюда про-

раба! Сколько можно стоять? За простой деньги не платят.

— Ты потише насчет прораба. Прораб найдет тысячу случаев отомстить тебе. Даст невыгодную работу, и баста.

— Разве есть такие?

— Сколько хотите. Заставит весь день расчищать площадку: камень отнести, бугор разровнять — и выведет человеко-день.

— Человеко-день? Что это за чудовище?

— Это когда на выполненную работу нет расценок. Допустим, у тебя пятый разряд, твой человеко-день — два рубля, третий разряд — полтора не набирает. А об учениках и говорить нечего. Им деньги не нужны, им опыт нужен.

— Они и питаются опытом? На завтрак — опыт, на обед — опыт, на ужин — тоже?

— У них есть мамы. Мамы заменяют опыт пищей.

— Да здравствуют ученики, у которых есть мамы!

— Бетон везут. Расходись по местам!

— А-а... чтоб он застыл по дороге!

Через минуту опять налаживается ритм рабочего дня. Самосвал пятится к траншее, задирает кузов над кабиной, и серый ошметок бетона с лязгом устремляется вниз. Много требуется бетона, чтобы заложить фундамент многочисленных построек нефтеперерабатывающего завода!

Завод — это новые цистерны бензина, дизельное топливо, жидкий газ, парафин и смазочные масла, нужные для жизни страны.

По утрам тысячи людей собираются на строительные площадки: мудрые, честные, бездельники и неверы, сильные и слабые, а все вместе они — коллектив.

Дни летят стремительно. Одних они старят, другие набираются сил. Чего не было вчера, уже есть сегодня. И это жизнь.

* * *

Секретарь комитета комсомола, кудрявый и черный, как жук, хитро уставился на рослого парня в заляпанной спецовке, только что вошедшего в кабинет.

— Садись и ничему не удивляйся, — сказал он.

— Иван Чайка!

— Так точно, — сказал секретарь. — Был шофером, стал комсомольским руководителем. Если ты не перестанешь пялить на меня глаза, я запущу в тебя чернильницей и разговора не выйдет. — Секретарь улыбнулся, блеснув зубами, и товарищески кивнул: — Садись, Илья.

Илья сел, все еще не переставая удивляться.

— Скажи хоть, как все произошло? — попросил он. — Я считал, меня Трофимов вызывает.

— Я лучше тебе расскажу, как утром меня пригласили в партком и дали взбучку за плохо проведенный воскресник. Учебный год вот-вот начнется, а школа в поселке еще не сдана. Собралось нас человек двадцать, сделали очень мало. Думал увидеть тебя на воскреснике, а ты не пришел.

— Но я же не знал, — обидчиво сказал Илья.

— Много у вас на третьем участке комсомольцев?

— Не знаю. А почему ты меня спрашиваешь?

— Прощупываю, — почти серьезно сказал Иван. — Ты когда зашел, мне подумалось: неплохо бы тебя в баскетбольную команду. Наверняка рукой до корзины достанешь. В Америке, говорят, есть профессиональная негритянская команда баскетболистов. Рост у каждого — больше двух метров. Любую команду избивают с непомерным счетом, с ними даже играть не решаются... Что же мы с вашими комсомольцами делать будем? Ты где взносы платишь?

— Я еще только на учет встал. А что делают комсомольцы — знать не знаю.

Иван Чайка промолчал. Вышел из-за стола и встал перед Ильей, засунув руки в карманы.

— Не будем ворошить старое, — сказал он. — И комитет работал здорово, и комсомольцы чудненько поддерживали его. Ладно. Будем создавать на вашем участке комсомольскую организацию. Участок теперь оформился, люди постоянные. Помогать мне будешь актив сколачивать.

— Помогать я не отказываюсь, — сказал Илья и развел руками. — Но что делать?

— Первое собрание, видимо, сумеем провести не раньше чем через две недели. Сейчас надо выяснить, кто из вновь прибывших комсомолец, и всех на учет поставить. Вот и действуй. Главное сейчас — к людям присмотреть-

ся. В актив надо выбрать таких, чтобы действительная польза была.

— В своей бригаде я сделаю, — сказал Илья. — Скажи хоть, как ты попал сюда? Меня любопытство разбирает.

— Ты что, маленький? — рассвирепел Иван. — Моего предшественника освободили. Уехал учиться. В партийную школу взяли. А я член комитета. Поневоле пришлось секретарем стать. — Иван задумался, глянув на почерневшие от масла и металла руки. — Все бы ничего — от машины отвыкнуть не могу. Тоска съедает, и зуд во всем теле. Увижу, что газует мимо, вздохну глубоко... Ничего, — тряхнул он головой. — Наладим дела, подберем подходящего парня на это место — и опять за баранку. Ну, как у тебя с работой?

— Что с работой. Под ТЭЦ фундамент заложили. Теперь дело за каменщиками. Нас на днях перекинут на строительство заводууправления. Опять рыть траншеи. Генку перевели к Перевезенцеву в ученики. Юркий такой парнишка. Помнишь, приезжал, мы вместе работали? После того как показали в кино, и перевели.

— Слышал, — засмеялся Иван. — Он не комсомолец?

— Да нет пока. А парень толковый.

— Как его фамилия? — спросил Иван и, когда Илья сказал, записал в блокнот. — Толковый, говоришь?

Илья кивнул. Они дружески распрощались, причем Иван шлепнул его по спине и сказал с чувством, похожим на зависть:

— Здоровяка ты. А в команду баскетболистов я все равно тебя запишу. Подберем орлов, потом хоть с самими неграми играть не побоимся.

— Будет тебе, — сказал Илья. — Ты прежде порядок в комсомоле наведи.

* * *

После того как Першина побывала у них дома, Василий словно переменился. Он все время находился в радостном возбуждении, мурлыкал себе под нос: «Первый батальон, вперед, в атаку!..» И нет-нет да и поглядывал в зеркало. Потом вдруг объявил, что бросил курить, так как табак очень вреден для здоровья. Генка, хотя и сам покуривал, решение одобрил: «Правильно: папиросы —

только деньгам перевод». А когда Генке под руку попала какая-то книжка и он по привычке швырнул ее за шкаф, Василий вытащил и водворил на место — на этажерку. При этом он не сказал ни слова, а только выразительно повел глазами. Он ревниво охранял тот порядок в комнате, какой установила Першина.

Как-то Генка вернулся с работы, и Василий прежде всего спросил:

— Женя ничего не говорила?

Для Генки этот день был полон значительных событий: он осваивал искусство управления экскаватором. Он сам был в не менее радостном возбуждении, и, конечно, до него не сразу дошло, о чем именно спрашивает Василий. Поэтому он беспечно ответил:

— Мало ли о чем она говорит. Трещит, сколько ей захочется. Таков уж человек: когда у него радость, он забывает о других.

— Я доволен, что у тебя все так удачно складывается, — сказал Василий. И ни о чем больше не рискнул спросить Генку. А тот начал было рассказывать о своей работе, но вскоре тоже замолчал, потому что видел: Василий думает о другом.

На следующее утро, проводив Генку на работу, Василий взял этюдник и тоже отправился к автобусу. В поселке строителей его прихватила попутная машина.

Измятый, выдавший виды самосвал сначала неслился по бетонной дороге, а потом круто свернул, выскочил на пригорок и встал.

— Приехали, товарищ художник, — сказал шофер. — Это самое высокое место — вся стройка видна. Впереди площадка ТЭЦ, правее — будущая сырьевая база... вон там, где экскаватор работает. Вам, собственно, куда?

Василий тяжело вылез из кабины, огляделся. Многое изменилось с весны, когда он впервые был на стройке. Там и тут поднимались недостроенные корпуса, протянулись высокие насыпи дорог. Василий обернулся к шоферу.

— Спасибо, дружище! Отсюда я сам потихоньку добреду. Посмотрю, что делается, и пойду.

Самосвал уехал. Василий закинул этюдник за плечо и потихоньку направился к площадке ТЭЦ.

У арматурной мастерской — простого навеса среди голого поля — он заметил Першину, разговаривающую с

грузным человеком в сером плаще. Женя оглянулась, засветилась радостью:

— Васенька, я сейчас освобожусь...

Торопливо договорила что-то собеседнику, с сожалением осмотрела свои забрызганные грязью резиновые сапоги, старенький костюм и решительно направилась к Василию.

— Ну, пойдем. Все же надумал меня рисовать? И как же ты станешь это делать? Что мне — руки в боки, правую ногу чуть вперед, голову запрокинуть? Я всерьез побаиваюсь: вдруг одереveneю, как Гришка Перевенцев.

— Как-нибудь сладим, — засмеялся Василий. — Ты сейчас была удивительно хороша. Я даже приревновал тебя к этому толстяку.

— К дяде-то Мише! — обрадовалась Першина и поддразнила: — Мы с ним дня друг без друга прожить не можем.

— Вот такой мне и хотелось тебя уловить, — влюбленно глядя ей в лицо, сказал Василий. — Ты иди работай, а я приткнусь где-нибудь, мешать не буду.

— Разве так? — разочарованно воскликнула Першина. — А я думала, ты поставишь меня перед собой и начнешь списывать. Уж и я нагладелась бы на тебя. — Добавила ревниво: — У Гришки ты даже анкетные данные спрашивал.

— Раз тебе так хочется, — развеселился Василий, — и у тебя спрошу. Почему бы и не спросить? Ведь я о тебе ничего не знаю. Родилась?

— В 1927 году, — охотно отозвалась Першина. — В феврале.

— Училась?

— Шесть классов в школе и немного в строительном училище.

— Так... — Василий замялся, подыскивая следующий вопрос. — Цель жизни?

— Не сеять скуку. Больно уж ненавижу уксусные лица.

— Любила?

— Тебя люблю, дуралей. — С нее слетела вся шутовость, сбивчиво заговорила: — Как увидела тебя, словно всю перевернуло. Сама себя не узнаю. Появился и нет, и ни к чему... Идешь другой раз, все и кажется: вроде

ты. Побежишь, нагонишь... Сколько я передумала! Заставил первую домой прийти. Шла, и колени дрожали. Зачем идешь? Что ты для него?..

Отвернулась с обиженным, пылающим лицом. Василий смущенно кашлянул.

— Спрашивай дальше,— предложила она грубовато,— что молчишь?

Но спрашивать больше не хотелось. И Василий уже просто так, не думая, задал следующий вопрос:

— Родственники за границей есть?

— Есть,— проговорила Першина.— Муж за границей... Убит под Берлином...

И, словно опасаясь, что Василий поймет ее не так, положила ему руки на плечи, заглянула в глаза.

— Он в отпуск в сорок четвертом году приехал. А я еще девчонка... Познакомились. Говорит: «Так плохо, если тебя никто не ждет...» Привел меня к своим родителям — отец, мать у него. «Вот, живи, скоро война кончится, вернусь». Уверен был. И уехал. А потом погиб. Я его и не узнала хорошо. Извещение передали. Родители: «Оставайся у нас, живи как дочка». А я ушла, в общежитие ушла, откуда и взял меня...

Василий молчал: никуда ты от войны не денешься, каждый шаг напоминает о ней. Потом он осторожно снял ее руки с плеч, сказал совсем неожиданное:

— Генка недавно рассказывал... ваш Серега Тепляков купил два будильника, ставит их на тумбочку... Как зазвенят, все сразу и просыпаются. Только вместе не звенят...

— Серега все что-нибудь придумает,— тихо сказала Першина.

— Иди, Женя. Я хочу один... Я рядом буду...

Она покорно отправилась к своей бригаде. Василий, сильно хромая, обошел кругом площадку ТЭЦ. Ему приглянулось местечко шагах в двадцати от рабочих, разбравших опалубку. Он притащил деревянный щиток, долго прилаживался, как сесть.

Василий работал по памяти, карандаш словно небрежно, но уверенно скользил по бумаге.

Он очень легко и быстро сделал три разных наброска. И может, оттого, что они сразу дались ему, он, даже не взглянув хорошенько, убрал их в ящик. Он засмотрелся на рабочего, который тяжелым длинным ломом от-

бывал схватившуюся с бетоном деревянную опалубку. Кургузый пиджачишко на его широких плечах при каждом взмахе грозил лопнуть по швам.

Не сама работа заинтересовала Василия, а крепкое, мускулистое тело, недюжинная сила рабочего. Почти рядом стояла Першина, что-то говорила. Рабочий на мгновение прервал работу, выпрямился, и Василий не без удивления узнал в нем Илью.

Следующий набросок он делал спокойнее. Ему хотелось, чтобы Першина была на рисунке среди людей своей бригады. Он очень огорчился, когда, сложив инструменты, рабочие неторопливо потянулись в столовую.

Прибежала Першина, и за ней Илья. Женя села на щиток, прижалась к Василию — лицо у нее ласковое, мечтательное. А Илья, глянув на лист бумаги, прикрепленный к фанере кнопками, удивленно присвистнул:

— Как живая,— сказал он о Першиной.

— Ну, это ты брось,— недовольно заметил Василий.— Лыстецы нынче не в моде.

— Точно. Чего мне лыстить? А это, наверное, я — по пиджаку узнал.

— Это ты,— подтвердил Василий.

— Сереги, конечно, нет. Вид у него нефотогеничный. А жалко. Он бы обрадовался... И Генки нет. Так нельзя. Мы его своим считаем. Правда, бригадир?

— Правда,— подтвердила Першина.— Генку мы своим считаем...

— Слушай! — вскипел Василий.— Когда ты с ломом стоял, я тебя не учил! Почему ты меня учишь?

— Я не учу. Я только пожелания высказываю. Правда?

— Он только пожелания высказывает,— подтвердила Першина.

Василий посмотрел на них и неопределенно хмыкнул. Ему было приятно, что Женя так вот просто под села к нему, прижалась плечом и беззаботно болтает глупости. Он чувствовал теплоту ее тела, ровное дыхание, запах волос и боялся пошевелинуться, боялся, что она ненарочно может отодвинуться. «Как я рад, что встретил тебя,— снежностью подумал он,— и как жалею, что встреча не произошла десять — пятнадцать лет назад. Тогда мы оба были юными, озорными и еще не видели, не пережили всего, что выпало на нашу долю. Мы прямо

со школьной скамьи попали в пекло войны, нам очень не повезло. Лучшие годы больших надежд и любви были потрачены на ненависть...»

— Илья, это не тот, с которым мы спорили в клубе?

Кобяков шел в столовую. Руки в карманах, походочка гуляющего человека.

— Он самый,— ответил Илья.— Парень будто исправляется. Помог ваш спор в клубе.

Илья замахал рукой.

Кобяков, увидев, что ему машут, подошел.

— Привет! — сказал он и тоже первым делом взглянул на рисунок, удивился: — Ого! Поворот к злободневности... Начинаем писать о строительстве завода. И мы пахали! Поздравляю!

— Что ты с ним будешь делать,— с искренним огорчением сказал Илья.— Рот хоть зашить бы, что ли?

— Не поможет,— проговорил Василий.— Другим местом гавкать начнет.— Нервная дрожь передалась его рукам, и, чтобы скрыть ее, он потянулся в карманы за папиросами. Пошарив и не найдя папирос, вспомнил, что бросил курить, но рук так и не вынул.— Ошибаешься,— возразил он Кобякову.— Опять не в точку... К заводу и людям я имею самое непосредственное отношение. Что ей дорого,— кивнул он на Першину,— то дорого и мне. Но это частность, может быть: завод хочу видеть, дело рук человеческих. Оттого и здесь. Ошибаешься, как всегда.

Замечание Кобякова задело его за живое, и он не волновался бы так, не будь рядом Першиной. А она, словно изучая, рассматривала Кобякова и только еще плотнее пододвинулась к Василию, положила ему на плечо голову.

— Таков я есть, чтобы в ваших глазах ошибаться, — усмехнулся Кобяков, повел глазами на рисунок и договорил: — И все же истинная ваша цель понятна.

— Уйди, прошу тебя,— попросил Илья.— Что ты всегда на рожон лезешь?

— Только ради тебя,— многозначительно произнес Кобяков и в самом деле повернулся и пошел, все так же лениво, как и до этого.

Илья растерянно моргнул. И после ему не раз вспоминались эти слова, но он так и не понял, почему Кобяков ушел «ради него».

Подул ветерок, и старая дуплистая липа сбросила на землю парашютики семян, твердых и приятных на вкус. В прозрачном и холодном воздухе крутились пожелтевшие листья. Ветер подхватывал их, и они торопливо трогались в путь, чтобы осесть где-нибудь у заборов и подъездов домов.

Илья осмотрел дерево со всех сторон. Оно было все такое же старое и могучее, закованное листовым железом. И в одном месте в железе круглая дыра — память о первом дне, проведенном с Галей. Постояв, он стал подниматься на третий этаж, не снимая руки с гладких перил. Он сам не очень представлял, почему и зачем идет в этот дом. Его просто тянуло сюда. «Ничего плохого в том нет, если я зайду к ней, — успокаивал он себя. — До этого я бывал здесь, и ко мне привыкли».

В коридоре он увидел Андреюку — загорелого и стриженного под бобрик. Он держал в руке баночку с клеем, а вокруг, на подоконнике, была настрижена бумага, валялись лучина и растрепанное мочало.

— О, Илья! — обрадовался Андреюка. — А я из школы пришел и змея делаю. Сейчас склею и запускать пойдем.

— Галя дома?

— Не, ушла куда-то с сумкой. Наверно, в магазин. Да ты иди, раздевайся. Мама дома.

Илья пошел было в комнату, но мальчик вдруг опередил его, прикрыл плотнее дверь.

— Погоди, — сказал он, хмуря выгоревшие на солнце брови, — поговорим давай.

— Давай поговорим, — улыбнулся Илья. — О чем мы будем говорить?

— В общем, вот, — стал очень серьезным Андреюка. — К Гальке один тип повадился. Я приехал из деревни, а он сидит — нога на ногу. Галька перед ним на цыпочках: «Тебе не скучно? Может, пластинку завести?» Ходит каждый день. И сегодня обещался, мама позвала. Ей он нравится, и Гальке даже сказала: «Довольна твоим выбором». А она уши развесила.

Андреюка все сказал, и очень прямо. Илье расхотелось оставаться здесь. Но он все еще медлил. Невольно взял у мальчика клей, принялся помогать ему.

— Не наше с тобой дело, Андрейка. Галя сама знает, что хочет.

— Фи! Ничего она не знает. Меня спрашивает: «Хороший он, правда?» А я ей кукиш, пусть позлится. В общем, вот... Выходи за нее замуж, а то поздно будет.

С Андрейкой у Ильи с первых дней установились приятельские отношения. Они могли разговаривать обо всем, что приходило в голову.

— Девчата выходят замуж, а про мужчин говорят: женятся. Хватит об этом, расскажи, как в деревне жил?

— Чего рассказывать,— неохотно ответил мальчик.— Ничего, весело. — Но потом оживился и, захлебываясь от восторга, продолжал: — Знаешь, каких окуней ловил, во! С руку. Не веришь? Ты у папы спроси. С плота поймал такого, что еле вытащил. Сел на него, боялся — убежит, а он меня подкидывает. Еще бы немного — и ушел.

И Андрейка принялся рассказывать о рыбалке, деревенских мальчишках. Он забыл о серьезности, которую на себя напускал, и слушать его было интересно.

— С кем ты там расшумелся? — крикнула из комнаты мать.

Открылась дверь, вышла Елена Николаевна. Это была полная, круглолицая женщина.

— Добрый день, тетя Лена,— сказал Илья.

— Здравствуй, Илюша. Проходи. Давно ты у нас не был.

— Я на минутку забежал. Шел мимо... и забежал.

— Галя сейчас придет,— сказала Елена Николаевна.

Андрейка увлек Илью в комнату, стал показывать коллекцию жуков и бабочек.

— Смотри, носорог, около лесозавода нашел. Заберешься на опилки и ройся, всегда найдешь.

Чтобы не обидеть мальчика, Илья осторожно потрогал жука.

— Замечательная коллекция,— похвалил он.

Вошла Галя и несколько удивленно поздоровалась.

— Андрейка, тебя мама что-то зовет,— сказала она строго.

Мальчик надул губы, но покорно ушел.

— Ты так и не извинился перед Виталием? — не глядя на Илью, спросила она. — Вел ты себя в клубе отвратительно. Он на тебя ужасно сердится.

Илья усмехнулся:

— Сорок лет сердилась старуха на базар, а он торговал и того не знал...— Но, заметив, как омрачилось ее лицо, поправился: — Мы уже разговаривали после. Раз он даже ушел «ради меня».

— Как ушел? — не поняла Галя.

— Очень просто. Попросил, он и ушел. Я долго не мог понять, почему он это сделал. А потом догадался: после вечера в клубе уважать меня начал. Почти помирились.

— Вот и отлично! — сразу обрадовалась она, не очень задумываясь над его словами. — Я тебя с того вечера и не видела. Прохожу около ТЭЦ, все нет и нет. Ты вовремя зашел. У нас сегодня неожиданная вечеринка. Старый друг нашей семьи решил развлечься.

Ему стало хорошо и уютно, приятно было слушать ее голос.

— Виталий говорит, на будущий год мне можно поступать в геодезический институт. Кое-какую практику я получила...

— Пойдем туда... к твоей маме,— с трудом сказал Илья.

В прихожей уже собирались гости. Прихорашивалась перед зеркалом девушка, Галина подруга, милая и застенчивая, с копной рыжих волос. С Еленой Николаевной разговаривал артист филармонии Сергей Шевелев. Илья как-то уже встречал его здесь, а перед этим слушал и на концертах. Пел Шевелев неплохо, и репертуар у него был обширный, но Илье все время казалось, что он поет как-то не так. Он не мог бы сказать, как надо, но едва слышал голос Шевелева, к нему снова приходило это странное чувство. Крупная голова артиста была с плешинкой, глаза тусклые, прикрытые белесыми ресницами.

Потом пришел виновник вечеринки, преподаватель педагогического института. Ему было лет тридцать пять, густая шевелюра, крупный мясистый нос, глубоко сидящие проницательные глаза.

Пока усаживались за стол, как-то незаметно появился Виталий Кобяков — в темно-синем костюме, белой рубашке с однотонным, серебристого цвета галстуком, в светлых полуботинках. Илью он будто и не заметил, когда здоровался с остальными. Это Илью обескуражило.

Сначала все ели, и была почти тишина, прерываемая стуком вилок и ножей. Застенчивая Галина подруга украдкой смотрела на артиста, сидевшего бок о бок с ней, и, видимо, думала: как хорошо, что ее пригласили сюда.

— Вот вы и рабочим стали,— неожиданно обратился Шевелев к Илье.— Сейчас у вас что-то вроде медового месяца. Первое знакомство, неомраченные радости. Потом все будет по-другому, впечатления сгладятся. Ну, и как месяц меда? Довольны?

— Не жалуюсь,— сказал Илья, темнея лицом. Сам тон вопроса показался ему неприятным.— Ничего, по моему, плохого нет, что я стал рабочим,— добавил он, в упор глядя на артиста.

— Я уже говорил вам,— сказал Шевелев Елене Николаевне.— Соседи мои по квартире — рабочая семья. Ребятишек шесть человек, мал мала меньше. Такой гам поднимают, хоть уши затыкай. А если супруг пьяный ввалится, начинается настоящая баталия. Принес я им как-то два билета на концерт, проследил: сидят на их местах два сопливых мальчугана, слушают, рот приоткрыв. Не их дети, чужие совсем. Отдали первым попавшимся на улице. Ведь никуда не ходят: работают, спят. И это жизнь!

— Ужасно,— поддакнула ему Елена Николаевна.— Прокляла я тот час, когда решила отпустить Галину на стройку. Сейчас будто ничего, а сначала работала... как там — в котловане,— что только и творилось с ней. Вон кто сманил, — незло сказала она, кивнув на Илью. — Можно было прекрасно устроиться в другом месте.

— Чем плохо на стройке? — спросил Илья.— Народ там чудесный. Ей теперь каждый день — как когда-то год в школе.

— Уж и не говори,— подхватила Елена Николаевна.— Что ни день, то новые словески. Никогда таких и не слышала. Вчера кричит Андрюшке: «Эй, чувак, сбегай за хлебом». Вы подумайте,— с тревогой сказала она, обращаясь к гостям. — Чувак! Хилять — это значит: гулять. «Где ты так долго была?» — спрашиваю. «Мы хиляли по бульвару». Удивительная тарабарщина. А сегодня еще ужасное слово: лабать. Ты знаешь, что такое «лабать»? — спросила она преподавателя. И, подняв указательный палец, четко произнесла: — Танцевать! Не смейся! — при-

грозила она фыркнувшей Гале.— Хорошему же вас там учат. И еще называется — трудовое воспитание.

Пока Елена Николаевна говорила, преподаватель от души смеялся, закончила — сразу же сказал:

— Студентов из деревень мы настраиваем, чтобы записывали частушки во время каникул. На днях принес студент толстую тетрадку. И вот какие там частушки: «Мой миленок изменяет, делает фигурину. Неужели не найду такого выгибулину!» Каково? Есть и актуальные: «Мне миленок изменил, себе милую нашел. Он нашел, и я нашла — борьба за качество пошла». Последняя — даже остроумная. Словотворчество всюду. Стоит ли удивляться, Елена Николаевна?

— Не со стройки у нее все это, — не вытерпев, сказал Илья.

Артист вскинул на него тусклые глаза, спросил:

— Откуда же, разрешите узнать? Там у вас каждый пятый — бандит, тюремщик. Блатной жаргон в ходу.

— Вы даже сами не догадываетесь, как точно попали, — вежливо сказал артисту молчавший до этого Кобяков. — Его лучшие друзья — шпана из детской колонии и шофер-убийца.

— Боже мой! — испуганно воскликнула Елена Николаевна.

А Илья даже привстал из-за стола, но, поймав предостерегающий взгляд Гали, с трудом успокоился.

Удивительное дело: она без слов умела обуздать его.

— Я пошел работать и стал приглядываться ко всему, — сказал Илья. — Жизнь, оказывается, гораздо сложнее, чем до этого думал. Бывают и промахи, и ошибки. Я увидел первый раз Генку Забелина и тоже подумал: шпана. У него кепочка с крохотным козырьком, белый шелковый шарф... А Серега случайно задавил старушку. Но знали бы вы, что после этого было с ним! А Генка — парень такой, что ему завидую. Он гораздо чище, чем некоторые... Сердце у него золотое и мысли чистые. Он гадости никакой не скажет и не сделает. А от некоторых я слышал. Только они, когда надо, умеют прикрывать нутро приличными словами. Генка чище, чем многие из нас.

— Спасибо за такое мнение, — сказал артист.

Кобяков, наклонив голову, медленно ел. Зная, что говорят о нем, он старался держаться непринужденно.

— Боже мой! — опять воскликнула Елена Николаевна. — Серега! Генка! Чего уж оправдываться. Вот откуда в ее разговоре ужасные словечки.

— Не со стройки у нее все это, — упрямо твердил Илья. — А на стройке, конечно, разный народ. Бывает и дрянь.

— Илья, что ты сегодня взбеленился? — обиженно спросила Галя. — Спорит о чем-то, а о чем — сам не знает. Слышала я от Гоги Соловьева. А разве он не со стройки?

— Гога — временно пережидающий, — сказал Илья. — Никто Гогу строителем не считает, кроме, разве, него, — кивнул он на Кобякова. — Генка сказал о Гоге: «Получит трудовую книжку — и фю-и-и-ть». Ничего у него от стройки не останется. Такой же и он, — снова показал он на Кобякова. — Решительно ничего не останется.

— Илья, ты стал невыносим, — резко сказала Галя. Она сидела пунцовая от гнева, стыдилась поднять глаза.

— Ничего, Галина, — остановил ее Кобяков. — Пусть упражняется. Слух идет, что он в комсомольские вожаки метит. Правда, до этого он хватит шилом патоки и сбежит со строительства. Посмотрим, что от него останется. Куда денутся хорошие слова.

«Удивительная способность у человека, — подумал Илья, — повертывать все с ног на голову. В комсомольские вожаки метит. Неужели Галя не понимает его, ведь он весь на виду. Сложности в нем никакой нет».

— Думайте, как хотите, — сказал он. — Мне пока нравится, быть на стройке полезным — нравится. Может, вам этого не понять, словами я так не скажу.

— Да нет, понятно, — подал голос преподаватель.

— Не кажется ли вам, что мы много говорим о стройке, — сказал Кобяков. — Если одному интересно — это не значит, что все его должны слушать.

— Конечно, — поддержала Елена Николаевна. — Василий Дмитриевич, — обратилась она к преподавателю, — ваш вечер, а вы больше отмалчиваетесь.

— Ума набираюсь, — сказал преподаватель, подмигнув Илье. Затем стал рассказывать о проходивших недавно в институте приемных экзаменах.

— Очень милая, красивая девушка. Спрашиваю: «Каким стихом написан «Евгений Онегин»? И что, вы

думаете, она отвечает? «Белым». Снижен балл. По курсу, конечно, не прошла.

— Это жестоко,—сказала Елена Николаевна.— Ошибиться в стихах, которые никогда ей не понадобятся, и не попасть из-за этого в институт? Как ни говорите — жестоко... Вот отца-то нет поблизости, и плохо. Не смогла заставить сдавать экзамены. А прошла бы...

— Обязательно прошла бы,—подтвердил Василий Дмитриевич и теперь подмигнул Гале.

Когда муж поехал работать в район, Елене Николаевне казалось, что он не застрянет там надолго. Но вот уже три года он работал в Марьине, и переводить его не собирались. Время от времени Елена Николаевна ездила к нему, но никогда не уживалась больше недели. Она считала, что мужу не удалась жизнь, а следовательно, и ей, и с ужасом думала о том дне, когда ей с детьми все же придется ехать в район на постоянное жительство.

— Жестоко,—повторила она.— Сделать девушку глубоко несчастной из-за каких-то стихов.

— Ничего, пойдет работать на стройку. В котлован,—сказал артист и засмеялся.

Его попросили что-нибудь спеть. Он долго отнекивался, ссылаясь на простуженное горло, но, спустя немного, согласился. Глядя тусклыми глазами на застенчивую Галину подругу, пел сочным баритоном:

...Хочу к молодой груди прижаться,
Хочу я жизнью наслаждаться...

Илью передернуло. Застенчивая рыжеволосая девушка вскользь посмотрела на него сияющими глазами и не поняла, отчего ему не понравилось пение Сергея Шевелева.

Елена Николаевна попросила Василия Дмитриевича помочь ей отодвинуть стол, чтобы он не мешал танцующим. Преподаватель и Илья осторожно понесли стол в следующую комнату.

— Считайте меня единомышленником,—сказал преподаватель.— Но вы очень ершисты, так сказать, еще не обтерты. Не мешает быть несколько хитрее, так иногда нужно. Лбом не каждую стенку прошибешь. Я тоже понимаю, чем вам не нравится Галин молодой человек или этот артист Шевелев, но приходится иногда терпеть. Нельзя же в приличном доме устраивать скандалы.

— Лучше поступиться совестью? — спросил Илья.

— Промолчать иногда — еще не значит пойти против своей совести. Поймите, это мой добрый совет вам.

Они вернулись в комнату. Шевелев закончил петь, и ему аплодировали.

— Bravo! Bravo! — вполне искренне сказал Василий Дмитриевич. — Вы прекрасно пели.

Шевелев самодовольно улыбнулся, а Илья сказал преподавателю:

— Сегодняшняя вечеринка напомнила мне случай...

Он говорил только преподавателю, но к нему стали прислушиваться.

— ...Был тогда я помощником вожатого в пионерском лагере. В последний день воспитатели захотели устроить банкет. Проводили пионеров в город — и опять в лагерь. И нас, помощников вожатых, пригласили. Представьте: длинный ряд столов буквой «Т». В углу, на составленных лишних столах, почти под потолком — оркестр. Все усталые — ведь надо было отвезти ребят в город на поезде да вернуться обратно. И время позднее. Все были в сборе, ждали только начальника лагеря. Ждали уже часа полтора. Вдруг видим, идет. Остановился около столовой у всех на виду и еще с полчаса проговорил с женой. Он говорит, она хохочет, закатывая глаза. Все видят и все понимают: не спешит, дает понять, кто мы и кто он. Понимают: не за людей, за скотину считает тех, кто ниже его чином. И все молчат, пошепчутся между собой и опять молчат. А как появился, важный, надутый, с выпяченным брюшком, наш великолепный лагерный оркестр грянул «Слався». И вот представьте... я вскочил тогда на стол и крикнул: «Кто вы? Люди ли?..» — а потом потоптал тарелки... К сожалению, последнего не было, — сказал он сконфуженному преподавателю, который хотел отойти и не знал, как это сделать. — Вы говорите: «Промолчать — это не значит пойти против своей совести». Я тогда промолчал, как и все мои товарищи. Нам было стыдно самих себя... Вот я вспомнил и ответил вам.

Илья замолк, и наступила неловкая пауза. Елена Николаевна сухо сказала:

— Не уясню никак, почему вам этот случай напомнила наша вечеринка? У нас, кажется, «Слався» никому не играли.

Артист наморщил лоб и тоже пытался отгадать, для чего рассказана лагерная история. А застенчивая девушка смотрела на Илью и вообще не понимала, чем ему не нравится вечеринка. Потом она опять украдкой взглянула на артиста, повернувшегося к ней спиной, и подумала: хорошо, что ее пригласили. Такая компания ей нравилась.

Кобяков танцевал с Галей и вел себя так, будто все остальное его не касается. Илью удивляла перемена в нем. Здесь он был уважительным молодым человеком, и только.

Галя танцевала, склонив голову ему на грудь, с мечтательной улыбкой на губах. Елена Николаевна поводи́ла на них ласковым взглядом.

Илья, как слепой, натываясь на стулья, прошел к вешалке, сорвал плащ и бросился к двери.

В коридоре он запнулся за пустое ведро, отскочившее с ужасным грохотом. Из комнаты по-прежнему доносилась музыка.

— Черт с ними! — выругался Илья, нахлобучил на глаза кепку и через две ступеньки побежал с лестницы, придерживаясь рукой за гладкие перила. На улице он глубоко вдохнул свежий воздух и еще раз сказал:— Да, черт с ними! Не на них земля держится.

* * *

Гале захотелось проводить Виталия. Гости опять сели за стол, а они тайком оделись и выбежали на улицу. У старой липы Виталий набрал горсть сухих листьев и высыпал ей на голову. Она сделала вид, что убегает от него, спряталась за дерево. В три прыжка Виталий настиг ее, внезапно запрокинул голову и стал целовать в трепещущие горячие губы. Потом она сама приблизила губы к его губам, крепко обняла за шею.

— Ты лучше всех на свете, — убежденно прошептала она.

Они пошли в парк, к Волге. Было удивительно тихо и ясно, и шелест листвы под ногами казался неестественно звучным. Светлая полоса лунного света, как луч прожектора, легла на воду. Серебрились кусты акаций, плотной стеной обступившие берег.

Галя заглянула Виталию в глаза: о чем он думает?

— Ты знаешь, мне твоего бывшего друга даже жалко,— сказал Виталий.— Он ни с кем не может ужиться.

— Не знаю, что случилось с ним,— сказала Галя.— Он всегда был очень веселым, смешным...

— Он и сейчас смешной. Ко всему подходит с меркой, какую ему дали в школе. А жизнь — нечто иное. Были когда-то и мы рысаками...

— О себе ты никогда не рассказываешь,— капризно проговорила Галя.— Кто ты и что ты, я не знаю. И в то же время мне кажется, что я тебя знала всю жизнь.

— Разве так интересно тебе, откуда я родом, кто мои родители? — спросил Виталий.— Я есть, и этого вполне достаточно.

— Вот опять ты увливаешь в сторону.

— Слушай,— решительно сказал он, останавливаясь и обнимая ее.— Мать — врач, отца не помню: когда я был маленький, его взяли, и о нем мы больше не слышали. Он работал заведующим районо. Сейчас он реабилитирован, но нам от этого не легче.

Галя затихла, прислушиваясь к его резкому голосу, потом зябко поежилась.

— Подумать только, какое страшное было время. Просто не верится.

— Ну вот, не надо было тебе говорить. Все прошло, все по-другому. Считают, что мы счастливее своих отцов. — Он взглянул в ее серые, с влажным блеском глаза и добавил: — Никогда не видел тебя такой хорошенькой. Ты сегодня особенная.

— Тебе так кажется,— польщенная, сказала Галя.

Ей вдруг захотелось вечером поехать туда, где она впервые встретила Виталия. Мимо белых стен древнего монастыря они прошли на площадь и разыскали такси. Через пятнадцать минут шофер с немалым удивлением высадил их на пустынном шоссе, развернулся и уехал, что-то ворча про себя. Сбоку за кустами проглядывали огни строительства. Внизу, где прямой лентой тянулась бетонная дорога, поблескивая фарами, ползли самосвалы.

— Галинка,— шептал Виталий на ухо. Галя чувствовала его горячее дыхание, слышала волнующий голос, и огромное ликующее счастье наполняло ее.

Он оберегал ее от веток кустарника, через который они продирались, чтоб выйти на бугор, откуда вся стройка

была как на ладони. И когда кустарник кончился, она облегченно вздохнула. Виталий привлек ее к себе, потерся щекой о волосы и опять стал неистово целовать в губы, шею, бормоча бессвязные, обжигающие слова.

— Не надо, прошу тебя...— обессилев от ласк, испуганно проговорила Галя.— Слышишь?

— Ну что ты... Ты хорошая, славная...

Потом они сидели, прижавшись друг к другу. Гале хотелось молчать, а Виталий говорил:

— Все естественно. Когда-нибудь пришло бы такое время. А я тебя люблю.— Он поцеловал ее в холодные, обмякшие губы.

«Почему он так спокойно говорит? Как он может?» — думала она.

Виталий чиркнул спичкой, сидел, глядя на тусклый огонек папиросы.

«Как он может? Почему он так спокойно говорит?» — неотвязно вертелось у нее.

И вдруг в тишине, около домов, завывала собака, так тоскливо, что испуганная Галя ткнулась головой ему в грудь.

— Вот видишь, ты всегда была послушной,— сказал он, думая, что она начинает успокаиваться.

— Ой, что это такое! — простионала Галя.

И снова тоскливый протяжный вой заставил ее вздрогнуть. Слышно было, как вдалеке скрипнула калитка.

— Шарик! Шарик! — раздался женский голос.

— Мне тебя только увидеть было, — продолжал Кобяков. — Сразу толкнуло: вместе нам, дорожкой одной... Смешные вы стояли тогда у котлована, боязливые. Помнишь, я мимо ехал? Посмотрел — вот, думаю, есть в ней что-то притягательное. Незнакомы еще были, а сердце ликует. С первого взгляда общее у нас зародилось. Так и понял. И не ошибся. Уверен был.

— Ой, что же это такое!..— бессмысленно повторяла Галя. Виталий, обхватив колени руками, курил и недовольно морщился.

Внизу сверкала огнями стройка. Папироса догорела и затухла. Он отбросил ее, поднялся и, потягиваясь, сказал:

— Пойдем, пока автобусы ходят. А то опоздаем, потом не выспишься!

Рыжий пожевал губу и уставился на Серегу тупым взглядом.

— Я припадочный,— сказал Серега, вращая белками.— Придут выгонять — сяду на пол, в руки стамеску и топор, а в рот мыльного порошка наберу. И буду пузыри пускать. Я в госпитале врачу табуреткой закатил, и то ничего не было.

Рыжий подумал и спросил:

— А догадаются?

— Попробуй догадайся, когда у тебя в руках топор.

Подошел Илья, заинтересовавшись разговором. Сел на кирпичи напротив расстроенного Сереги.

— Кому ты грозишь?— спросил он.

— Отказали в комнате,— устало сказал Серега.— Я хотел въезжать, дом как игрушка, а мне отказали. У меня Аня с ребяташками приехала. Я им письмо написал. Куда я их теперь? Вот пойду, займу самовольно квартиру, в руки стамеску и топор... Сказали, получишь деньгами. А я работал, думаешь, из-за денег? Я с семьей жить хочу. Куда я теперь ребят дену?

— Ты сходи и попроси, — посоветовал рыжий.— Мне когда чего надо, я прихожу и стою. «Чего тебе?» — спрашивают, а я молчу. Ну и дают.

— Я пойду. Вот сейчас встану и пойду,— заторопился Серега. — Только просить я не умею.

— Подожди, — остановил его Илья. — Не нервничай. Давай спокойно обдумаем. Почему тебе отказали?

— А я знаю? Не сразу начал строить. Генок сначала ходил, а потом я стал. Мне хотят деньги выплатить, а я разве из-за денег? Я хотел счастье свое устроить. Привезти Аню с ребятами и жить, как все хорошие люди.

— Пойдем к Колосницину,— сказал Илья.

Серега так растерялся, что самостоятельно думать совсем не мог.

Он покорно поднялся и, опустив голову, пошел за Ильей. Вслед им смотрел рыжий и говорил:

— Я приду и молчу. Меня спрашивают, а я молчу. Они не выдерживают и дают...

Колосницын сидел у себя в конторе за столом. Перед ним на стене был приколот чертеж с обозначениями будущего завода.

— Чего тебе? — недовольно спросил он, отрываясь от чертежа.

— Мы вдвоем, — сказал Илья, вытаскивая Серегу из-за своей спины. — Ему в комнате отказали.

— Знаю. Решили начальник участка и застройщиком. Целая комиссия заседала. Я-то ничего поделывать не могу. Говорил уже, да что толку. Посчитали — проживет пока в общежитии, а будут сдавать новый дом в поселке — выделяют ему комнату.

— Ему сейчас нужно. Зачем ему после.

— У меня семья приехала, — проговорил Серега.

— Ребята, милые мои, поймите, я-то всей душой. Говорил об этом и еще раз говорить буду. Но что из этого получится — не знаю. В этих вопросах прораб — пятая спица в колеснице. Застройщиком все решает.

— Не знаю прямо, что делать, — с убитым видом сказал Серега, когда вышли. — Просить я не умею.

Илья ничего не сказал ему, вскочил на ходу в попутный самосвал и вскоре был в комитете комсомола. Иван Чайка сидел за столом и рассеянно вертел какое-то письмо. Увидев Илью, оживился.

— Послушай-ка, ты на своем участке не знаешь ли комсомольца Валерия?

— Что за Валерий?

— В том-то и вопрос. Тут написано: «Черненький, живет на поселке, в новом доме...»

— Мало их, черненьких, у нас.

— Вот и я про то, — уныло сказал Иван. Девчонка пишет: «Я попала в беду. Лежу в родильном доме, родила дочку. Помогите мне найти вашего комсомольца Валерия. Он такой черненький, живет на поселке. А фамилию его я не знаю».

— Веселенькое дельце...

— Куда как веселое. Сижу и ничего не могу придумать. И смешно, и ее жалко. Может, ты что посоветуешь?

— Купи колыбельку, поставишь здесь. Члены комитета воспитают.

— И то хоть занятие будет. Чертова кукла, ложится с парнем, не спросив фамилию... Чего у тебя?

— Ничего хорошего. Неладное что-то творится. Знаешь, на краю поселка дом своими руками строили. Выстроили, и Сереге Теплякову почему-то решили не давать комнату. Он должен был ее получить.

— Почему же так? — спросил Иван.

— Видишь, сначала работал Генка Забелин, а потом он уступил свое место Сереге. Серега добросовестно ходил каждый вечер, а теперь ему обещают выплатить деньги.

— Тепляков его фамилия? — спросил Иван и записал в своем блокноте. — Сейчас выясним.

Они пошли к начальнику третьего участка, но того не оказалось на месте — уехал в город.

— Вот незадача, — посетовал Иван. — Придется идти в постройком, к Ледневу... Мы уже с ним на ножах — сумел. С ним разговаривать только у омута. Хоть и не хочется к нему, но что сделаешь. Парня в обиду не дадим.

Председатель постройкома Леднев был не один. С ним сидел круглоголовый, наголо остриженный человек средних лет. Иван поздоровался с тем и другим.

— Что такое? — спросил Леднев. — С чем пришли?

— Произошло то, — сказал Илья и смешался, подбирая слова. — В общем, так... Тепляков строил дом наравне со всеми, а обещанной комнаты ему нет.

— Решили дать наиболее нуждающемуся, — сказал Леднев, поиграл карандашом и добавил: — Правильно решили. Он и работал не полностью. За дни, что был на стройке, ему выплатят деньгами. Начальник участка уже дал распоряжение.

— На что ему деньги! — вспыхнул Илья. — Ему комната нужна. Пусть он работал не с самого начала, прежде Забелин ходил. Но он потом уступил Теплякову свое место. Выходит, Тепляков полностью работал. Он так ждал, во сне бредил... Довели человека, говорит: самовольно въеду — и баста. И ничего с ним не сделаете. — Илья криво усмехнулся и продолжал: — Обещает сесть на пол, в руки стамеску и топор, а в рот мыльного порошка. Буду, говорит, пузыри пускать и твердить: «Я припадочный». Вот до чего довели человека.

— Здорово, — рассмеялся стриженный. — Но нам-то ты зачем раскрыл его тайну? Будем знать, что он нарочно, и выселим без опасений.

— Ничего не выйдет, — явно задираясь, сказал Илья. Отмахнулся от Ивана, который пытался его сдержать, и продолжал: — Мы тоже понимаем, что к чему. Кто после этого будет строить дома своими руками? Работай ве-

черами без отдыха, а потом тебе пообещают выплатить деньгами. Люди не из-за денег идут. Порочить доброе дело никто не даст. За это взгреют по-хорошему. Мы ведь и дальше пойдем.

— Куда, например? — спросил стриженный.

— Найдем. Знаем, куда. В райком ходим... Да брось ты, я правильно говорю.

Последние слова относились к Ивану, который незаметно дергал Илью за пиджак.

— Что за Тепляков? — спросил стриженный у Леднева.

— Из бригады Евгении Першиной. Так... средний рабочий...

— Да? — произнес стриженный, странно поглядев на Леднева.

— Обвинителей развелось — пруд пруди, — рассердился Леднев. — Мотаешься целые дни по участкам, а всё говорят: «Не бывает, ничего не делает...»

— Все-таки он правильно заметил. Хорошее дело можно быстро ославить. Кому комнату отдали?

— Есть список, утвержденный комиссией. Интересуетесь — занесу. Начальник участка так предложил, а я поддержал. Не я один...

— Вот именно: не вы один, — жестко сказал стриженный. — Хорошее качество «поддержать»: всегда не в ответе. — Взглянул на Илью по-доброму. — Если все так, как рассказал, получит ваш Тепляков комнату. Он что, комсомолец?

— Какое! — улыбнулся Илья, на миг представив в глазах Серегу. — У него трое детей. Семья приехала, а он живет в общежитии. Поэтому-то и обидно. Серега — что ни на есть нуждающийся. Один, так он и не попросил бы.

— Но вы-то почему хлопчете? — округлил глаза стриженный. — Какое ваше дело?

— Наше какое дело? — теперь изумился Илья. — Тепляков в чьей бригаде работает? У нас. Чье же это дело?

Вышли из стройкома, Иван потер нос и сказал:

— Впутал ты меня в историю. Я ведь тоже решил, что твой Серега — комсомолец. — Иван достал из кармана блокнот и черкнул в нем.

— Ваня, уходи ты с этой работы, пока не поздно, — участливо посоветовал Илья, проследив, как он снова прячет блокнот. — Не то тоже станешь бездушным бюро-

кратом. Понимаешь, видимо, работать с людьми — большой талант нужен, призвание какое-то. Взял и зачеркнул человека — не комсомолец.

— Брось ты, — краснея, сказал Чайка. — Не потому я вовсе вычеркнул его. Дело-то выиграли. Ну и черкнул, чтобы потом не запутаться. Столько фамилий — голова кругом. Хочешь, опять впишу, только помечу, что все в порядке. — Достал блокнот и тщательно записал: «Тепляков Сергей. Получил комнату». — Теперь доволен? Что уставился?

— Кто это такой? — спросил Илья. — С Ледневым был?

— Ты меня изумляешь, — развел руками Иван. — Работает столько времени и не знаешь. Захаров, секретарь парткома. И напрасно ты при нем горячился, можно было и так разобраться.

Илья присвистнул, хотел что-то сказать, но смолчал.

— Пожалуй, я пойду, — после некоторого молчания заявил он. — Спасибо тебе.

— Не за что, — сказал Иван, посматривая с ухмылкой, как Илья помчался к самосвалу, шедшему на третий участок, ловко вскочил на подножку и прямо на ходу взобрался в кабину.

Илья спрыгнул с самосвала недалеко от котлована. Около экскаватора Перевезенцева никого не было. Не стояли даже машины, дожидаящиеся груза. Илья обошел вокруг экскаватора и только тут заметил Григория. Он лежал на земле, постелив фуфайку.

— Ты чего? — спросил он Илью вместо приветствия.

— Генка где?

— Семь бед свалилось на твоего Генку. В больницу ушел.

— В больницу! — У Ильи вытянулось лицо. — Зачем?

— К брату. Брат плох. Вторую неделю лежит. Только устроился работать, плакаты и лозунги писал в красном уголке... И свалило. Художник — парень такой... Рисовал меня. Вчера страшно плохо было, на уколах жил. — И, заметив, что Илья остолбенело смотрит на него, заорал: — Ну что встал! Нету Генки, сказал же! Все утро пришибленный ходил, прогнал я его.

Илья медленно пошел прочь. Перевезенцев опять лег на фуфайку и закрыл глаза. Потом повернулся на

другой бок и, злясь больше на себя за свою грубость, пробормотал:

— Чего ходят? Друзьями называются, друг о дружке ничего не знают.

Глава пятнадцатая

В субботу, возвратившись со стройки, Илья попросил мать:

— Приготовь на завтра что-нибудь в больницу. Товарищ заболел.

— Кто же? — всполошилась Екатерина Дмитриевна. — Что с ним?

— Не знаешь ты его, мама. Генкин брат... Вернее, не брат, только живут как родные братья. Василий с войны такой: подлечат его, а он вскоре опять в больницу.

Екатерина Дмитриевна поохала, потом оделась и ушла в магазин. Илья взял было с этажерки книгу, собираясь почитать. Пролистал несколько страниц и положил книжку обратно. На глаза попала тетрадка в тонком коленкоровом переплете. Сюда он когда-то выписывал понравившиеся мысли из книг, стихи. Илья прочел несколько строчек — как это все наивно и смешно. Бросил тетрадь на место, надел плащ, запер комнату и вышел. Ему захотелось провести своих стариков, у которых уже давно не был.

Как и следовало ожидать, они играли в лото. Увидев Илью, Оля, сидевшая на диване с семейным альбомом, обрадованно поздоровалась. В альбоме были и пожелтевшие от давности карточки с изображением лихих усатых дядей, и совсем свежие. На одной был снят маленький Илья, большеголовый, с любопытствующими глазами.

— Ты прекрасно сохранился, — сказала Оля, показывая ему снимок и заливаясь колокольчиком. Она вся преобразилась в его присутствии, глаза светились тихой неизъяснимой радостью, и нельзя было без улыбки смотреть в них.

Илья подсел к ней на диван, и они вместе досмотрели альбом.

— Может, ты скажешь ей, — вдруг проговорила баб-

ка.— Хочет уходить в общежитие. Разве плохо у нас? И мы привыкли. Ведь как Веруська...

У старушки глаза наполнились слезами.

Ласковая, обходительная Оля пришлась по сердцу старикам, и ее желание уйти от них они приняли как обиду.

— Что это ты, право, выдумала? — спросил Илья.

— Я всего разок заикнулась, — смущенно пояснила Оля, перебирая пальцами косу.

— Это я на нее покрикиваю, — вмешался дед. — Заело ее, и уходит. А хлеб не умеет резать. Наковыряет — не знаешь, какой стороной в рот совать. «Уйду, — говорит, — сами режьте». С норовом девка, — одобрительно заключал он.

— Ой, ты какой, дедуся, злопамятный, — упрекнула Оля. — Уж забыть бы пора, а ты все повторяешь...

— А у нас новость. Сереге Теплякову комнату дают, — сказал Илья. — Радует, как ребенок.

— Когда-нибудь и у меня будет комната, — проговорила Оля. — Дедку с бабкой на иждивение возьму. У них к тому времени коммунистическая сознательность подымется, они от государственной пенсии откажутся. А кормить-то их все равно надо будет.

— Нет уж, — сказал дед, — что заработал, не отдам. Будешь получать свою — и отказывайся.

— Дедуся, когда из меня бабка выйдет, наступит полное удовлетворение всех моих запросов. Деньги мы побросаем в ямы, которые для домов роют. Ох, и крепко стоять будут!

Оля совсем развеселилась, чмокнула стариков по очереди и закружилась по комнате. Длинные косы разлетелись в стороны.

— Хорошее на мне платье? — спросила Илью.

Платье было самое обыкновенное: из ситца, с короткими рукавами. Но оно шло к ней, и Илья сказал:

— Замечательное!

И Оля опять залилась колокольчиком.

— Ты зашел, чтобы позвать гулять? — спросила она, глядя на него открыто, маняще.

— Пожалуй, — смешался он, потому что такое ему вовсе не приходило в голову. — Если хочешь, пойдем.

— Только не до ночи, — строго сказал старик: ему нравилось командовать Олей. — Запру и не пушу.

— Дедуся,— капризно протянула девушка.— Я же с Илюшей.

— Хоть с чертом,— беспечно сказал старик.— А придешь ночью — не пущу.

Но по глазам было видно: пустит и даже спать не ляжет, будет поджидать.

Оле захотелось на танцы, но сады уже были закрыты, а в клуб идти Илья отказался. «Побродим по бульвару?»— «Конечно! Это очень интересно». — «Погуляем по набережной у Волги?» — «Вот именно, у Волги. Там так красиво». Что бы Илья ни говорил, она со всем соглашалась. Лишь бы ему не было скучно, а ей всегда весело. «Почему?» — удивился он. «Потому что с тобой». Илья покосился на нее и ничего не сказал.

Недалеко от набережной, у серого здания, приткнулось открытое кафе — полотняный навес, вздрагивающий от холодного ветра, груды пожелтевших листьев под мраморными столиками.

Илья выбрал местечко у стены, где не так дуло. Подошла пожилая официантка.

— Ты замерзла, давай какого-нибудь вина выпьем,— сказал Илья. Оля согласно кивнула.

Почти все столики были свободны. В углу, у буфетной стойки, сидели двое — мужчина и девушка, пили кофе. Илья узнал их: Сергей Шевелев и застенчивая рыжеволосая Галина подружка. Девушка была грустна и уже не смотрела так восторженно, как в тот вечер, и артист уже не пел: «Хочу к молодой груди прижаться...» Его тусклые глаза лениво оглядывали редких посетителей. Шевелев встретился с Ильей взглядом, сделал вид, что не узнал. Что-то сказал своей собеседнице, а потом они поднялись и ушли...

Официантка принесла вино и пирожное.

— Молодожены, наверно? — спросила она, радуясь случаю поговорить со свежими людьми.

Оля опустила голову, затеребила пальцами косу.

— И что смущаешься! — воскликнула официантка.— Радость, девонька, не скрывают, она должна быть на виду. Чтобы и другим приятно было от радости-то твоей.

Вздыхнула глубоко и неторопливо пошла к буфету.

— За что мы выпьем? — спросил Илья.

— За то, чтобы все было хорошо,— прошептала Оля. Илья засмеялся.

— С удовольствием выпью... И за ту пару, которая только что ушла. Вернее, за нее. Мне она показалась кроликом, он — удавом. Чтобы у нее все было хорошо...

— Недаром говорят: что далеко, то и видно,— печально проговорила Оля. Стоило Илье посмотреть ей в глаза, и он прочел бы немой упрек: до чего же ты невнимательный. Где-то что-то увидел, а вот что рядом с тобой сидит девушка, для которой каждое твое ласковое слово — радость, не хочешь замечать.

Видно, и вправду говорится: что сердце не заметит, того и глаз не увидит.

Когда Илья подвел ее к дому и показал на часы, было ровно двенадцать. Оля пожалела, что так незаметно пролетел этот вечер.

— Постоим немного,— попросила она. Потом вдруг закрыла лицо руками и затихла. Илье показалось — плачет.

— Что с тобой? Что ты? — участливо спросил он. Первый раз видел он ее в таком подавленном состоянии.

— Илюша,— тихо сказала Оля.— Смешной ты... Ты так ни о чем и не догадываешься? — И с каким-то отчаянием, дерзко добавила: — Почему бы тебе не взять меня в жены?

Илья растерянно погладил ее мягкие волосы, стал успокаивать.

— Тебе тоскливо, домой хочется. Такое бывает. В голову лезет разное...

— Ну почему ты такой? — с горечью спросила Оля.

— Какой? — не понял Илья.

Оля заглянула ему в глаза и сказала совсем не то, что думала:

— Хороший и смешной. Никто тебя так не любит, как я. Неужели не видишь? Пусть они там... лучше, может. Но никто тебя так любить не будет. Никогда. — И опять повторила: — Неужели не видишь?

«В самом деле, неужели не видел?» — подумал Илья. Представил первую встречу на шоссе около стройки. Оля тогда привлекла его какой-то отчаянностью, знакомой ему по себе, и он сделал попытку помочь ей: «Сиди. Куда пойдешь, ночь уже». Она запомнилась ему и в клубе — гневная, хлещущая по щекам Гогу Соловьева: «Спасибо тебе, Оля!» Потом он видел ее на работе с молоточком в руках: «А слушаются тебя». «Видел ли

я?» — снова задал он себе вопрос и признался, что видел, и она каждый раз чем-то волновала, радовала его. Да и сегодня, не ради ли нее он пошел к старикам? «Я тебя, наверно, полюблю, может, не сейчас, но полюблю, — мысленно произнес он. — Крепко, и так, что сам мучаться буду от любви своей, от счастья...»

— О Гальке все думаешь! — вспыхнула Оля, глаза ее сверкнули ненавистью. — Смешной дуралей. Не любит она тебя. Всем ясно, тебе одному не ясно. Не для тебя она вовсе, и не та, которую тебе надо. И почему в жизни так случается? — с отчаянием проговорила девушка. — Твоей Гальке наверняка жениха с положением надо. Ты для нее обычный, на кой ты сдался ей! Может, вспомнит после: вот парень был, любил как — баранки из себя гнуть позволял бы. Локти кусать будет. Я же знаю, как ты бродишь перед ее домом, вижу, как меняешься, когда встречаешь ее. А она не любит. Всем ясно, тебе только не ясно. Не такая тебе нужна. Она сейчас с этими идиотами связалась и довольна...

— Что ты мелешь? С какими идиотами?

— Прости меня, — тихо сказала Оля. — Нехорошо, знаю, так говорить о других, а не могу. Вот здесь сидит она у меня... Дай я тебя разок, всего разок поцелую и не буду больше тревожить, никогда не буду. Я уеду, совсем уеду, может, и забудусь.

— Вот глупости какие. Незачем уезжать. Пройдет немного, и успокоишься. Да тебя каждый будет рад полюбить.

— Но ты-то не любишь, — горько усмехнулась Оля. Нежно обняла его и крепко поцеловала. Илья тихо отстранился и быстро пошел прочь. Оля села на скамеечку перед домом и беззвучно заплакала. От слез ей несколько не становилось легче.

Глава шестнадцатая

Мать Гоги Соловьева, преподаватель русского языка, была в командировке за границей. В квартире Гога остался за хозяина. Вечерами к нему собирались молодые люди, живущие под лозунгом: «Предки прокормят!»

Удобнее места для сборищ, чем квартира Соловьевых, и желать было не надо: двухкомнатная, изолирован-

ная, с ванной и кухней. Первая комната служила столовой и танцевальной залой, вторая — спальней и местом для интимных разговоров. А интимных разговоров у Гоги и его приятелей — хоть отбавляй.

Когда вдруг хотелось развлечься, приходил к «свободным людям» — так называли себя Гогоны приятели — и Виталий Кобяков. Его встречали с неизменным радушием. Это был «свой», из числа избранных.

Раз к Гого забегали два «свободных человека» — Жорж и Чафыга, в просторечии Костя и Саша — и предложили прегениальнейшую мысль: выпускать газету, в которой бы на манер профсоюзных стенных газет рассказывалось о деяниях «свободных людей». Виталий, сидевший в это время у Гоги, с одобрением отозвался об умных головах Жоржа и Чафыги, решил сам принять участие в выпуске газеты.

Что это была за газета! Блеск! Во всю полосу протянулась надпись: «Без булды», а чуть пониже и помельче стояло: «Орган Своблюд». Потом, в виде киноленты, шли карандашные рисунки, повествующие о досуге «свободных» бездельников, и карикатуры на людей, с которыми приходилось сталкиваться на работе и дома. Газета в избранном обществе имела шумный успех, и от номера к номеру все изощреннее появлялись рисунки и подписи к ним.

Как-то к Гале зашел Виталий. Она сидела побледневшая и грустная. Чтобы развеселить ее, Виталий предложил пойти в клуб.

— Не хочешь в клуб, поведу в один дом. Весело будет, ручаюсь.

Галю заинтересовало, что это за дом.

— Нет, нет, — таинственно сказал Виталий. — Придешь, тогда увидишь.

Галя приделась, и они пошли. Моросил мелкий надоедливый дождь. Сгорбившись, подняв воротники пальто, торопливо спешили по своим делам прохожие. Витрины магазинов и окна выглядели заплаканными.

У большого дома остановились. Виталий провел ее в подъезд, отряхнул мокрую кепку и нажал черную кнопку звонка. Открыл Гога, появившись перед ними в кремовой рубашке с галстуком, зашпиленным громадной медной булавкой.

Раздеваясь, Галя с любопытством осматривалась.

К ней подскочили Жорж и Чафыга, галантно расклялись, и это ее очень рассмешило. Кроме них в комнате стояло и сидело с десятков девиц и тощих парней.

Девицы, как одна, были подкрашены. Они вертелись, постоянно гримасничали. Гале они были не в диковинку: еще на школьных вечерах она встречала таких и привыкла. Гога подошел к столу, налил в рюмку вина себе и Виталию, важно предложил:

— Пьем за красоту, — и подмигнул Гале.

Еще не освоившись со столь блестящим обществом, она подошла к книжному шкафу и начала рассматривать книги. Здесь были собраны дорогие и хорошие книги: собрания сочинений классиков и отдельные богато иллюстрированные однотомники.

Все эти книги толкали людей на добрые дела, остерегали, особенно современные, от неправильных поступков.

Внимание ее привлекла газета, висевшая на стене. «Без булды, № 5», — прочитала она, с трудом разбирая заковыристые буквы. Во весь огромный лист протянулась рисованная киноплёнка, выведенная очень тщательно. В десятках кадров были изображены подвыпившие юнцы, танцующие на бутылках, грациозные девушки — голова каждой была вырезана с фотографии, тело подрисовано. На одном рисунке Гога восседал на коне и кнутом погонял сбившуюся кучку людей, в которых Галя признала прежде всего Першину, схваченную метко, и Илью, возвышавшегося над всеми. Следом, в ковше экскаватора, сидел Перевезенцев, вытягивая руками неестественно длинные ослиные уши. Ну как было не признать Олю Петренко: одной рукой она била Гогу по физиономии, другой придерживала подол платья. Под этим рисунком стояла подпись: «Защита целомудрия!»

Хотя Галю неприятно поразила грязь и пошлость, сквозившие в каждом рисунке, она все же продолжала рассматривать дальше. Она не ошиблась: в газете речь шла о Виталии. Сначала он в институте отмечает Новый год, поднимая бокал, затем — на зачетной сессии — лежит, задрав ноги на спинку кровати, под кроватью все те же бутылки и гора окурков. Следующий рисунок — на защите диплома: с идиотским выражением Виталий стоит перед кафедрой. Затем опять бутылки — «смачивание» диплома и, наконец, поезд с надписью на вагонах: «Путь следования — столица медвежьего края». И еще ее вни-

мание остановили два рисунка: на первом — полный, цветущий юноша, сидящий, видимо, в аудитории института, на втором — он же, но исхудалый, в чем душа держится, на фоне недостроенного здания.

Было в этих двух рисунках что-то смешное, но Галя не поняла смысла. Кобяков, стоявший позади нее, охотно объяснил:

— Все просто. Пока студент на папином довольствии — ни в чем нужды не знает, а когда начал работать — стыдно папочке слать переводы бедняге инженеру.

Галя пожала плечами, но подробнее расспрашивать не стала.

Гога уже включил радиолу, и в уши ударило нечто дикое: какой-то вой и мяуканье сквозь оглушительный треск барабанов.

— Прощу! — пропел Гога, вихляя перед крашеной худосочной девицей.

Она состроила гримасу, остолбенело раскрыла глаза и шагнула ему навстречу. Гога обхватил ее и затоптался на месте.

То, что Галя увидела потом, никак не поддавалось воображению. Девицы с распущенными волосами, с ужимками обезьянок крутились в танце, если только это можно было назвать танцем. Они сходились лицом к лицу со своими партнерами и затем как ужаленные отскакивали назад.

Музыка все убыстрялась, и все быстрее носились пары.

Виталий тоже подтопывал в такт этому вою. Вдруг танцующие прямо на ходу начали стаскивать с себя одежду, оставаясь полуголыми. Галя смотрела на них во все глаза, не понимая, что происходит. Что-то удерживало Виталия присоединиться к ним, но Галя видела — не сейчас, так минутой позже он это сделает. И, боясь этой минуты, она сказала:

— Зачем ты привел меня? Это же мерзко, пошло!

— Что? — не сразу понял он. — Что ты, милая! Это жизнь. Так веселится настоящая молодежь.

«Милая. Как гадко он сказал», — поразилась Галя.

Виталий снова забыл о ней, продолжал притопывать, жадным взглядом пожирая танцующих.

Галя вскочила и бросилась к двери, надеясь, что он

пойдет за ней. Надевая пальто, она еще раз посмотрела на беснующихся, почти ненормальных парней и девиц. В их ужимках было что-то омерзительное.

В подъезде Галя столкнулась с женщиной, прислушивавшейся к какофонии звуков, которые неслись из квартиры Соловьевых. Женщина видела, что Галя вышла оттуда, и когда девушка, закрыв лицо и шатаясь, прошла мимо, она сказала без укора, просто и холодно:

— Такая молодая, и вот ведь...

Галя поняла, что ее приняли за пьяную. Не отрывая рук от лица, она бежала и бежала под дождем, пока не очутилась перед своим домом.

Дома она сразу прошла в ванну и с остервенением стала натирать мочалкой тело. У Гали было такое ощущение, что вся грязь сегодняшнего вечера прилипла к ней.

* * *

Илью ждал Андрейка. Мальчик сидел уже около часа, обо всем переговорил с Екатериной Дмитриевной.

— Учусь в пятом классе, — сказал потом он и повторил чьи-то слова: — Страшно трудно учиться в пятом. Вы не учились?

— Я когда-то училась, — вздохнула Екатерина Дмитриевна.

Андрейка сказал, что он тоже, как и Илья, будет кончать десятилетку, а после поступит работать. Ему бы, правда, хотелось стать летчиком. Но это он сделает когда-нибудь после.

За разговором и застал их Илья, когда вернулся из больницы.

— Я к тебе по делу, — сказал Андрейка и покосился на Екатерину Дмитриевну.

— У вас мужской секрет, — понимающе сказала она, пряча улыбку, и ушла на кухню.

— Я к тебе вот зачем, — тихо сказал Андрейка. — Галька весь день валяется на кровати и ревет. Мама с ног сбилась, даже врача вызывать хотела. Галька и того типа выгнала. Он пришел утром, топчется у порога, а она выгнала, говорит маме: «Глаза бы на него не глядели». И опять ревет.

— Ну и что? — спросил Илья.

— Ничего, — сказал Андрейка. — Просто она просила, чтобы ты заглянул к нам.

Илья, не отвечая, прошел мимо мальчика в коридор, стал раздеваться. Мать стояла в дверях кухни — все слышала.

— Ты все же сходи, — мягко посоветовала она. — Верно, что-то случилось. По пустякам не плачут.

Вспомнились слова Оли: «Смешной дуралей! Не любит она тебя. Всем ясно, тебе одному не ясно... Ох, как я тебя любить буду!»

— Не совсем хочется идти к ней, — раздраженно сказал Илья.

Он вернулся в комнату. Андрейка чинно сидел на стуле, живые, любопытствующие глазенки впились тревожно: пойдем!

— Ладно, — сказал Илья, — схожу ненадолго.

Мальчик обрадованно вскочил.

— Змея сегодня запустим, ага? Все сделано, вот молчалы не хватило на хвост, кувыркается...

Все та же липа у дома, но уже оголившаяся. Дупла, заколоченные поржавевшим листовым железом. И только с одной стороны свежая заплатка. «Заделали мою прореху! — удивился Илья, посмотрел на тяжелый огрубевший кулак, усмехнулся. — Кто-то позаботился».

— Ты иди к ней, — сказал Андрейка. — Я пока хвост приделаю. Выше дома полетит.

Галя сидела у окна. Увидев Илью, быстро поправила волосы, шагнула навстречу. Может, оттого, что глаза были наплаканы, она подурнела, лицо без румянца, прямой нос несколько заострился.

— Пожалуйста, не гордись, что понадобился, — почти враждебно заговорила она. — И не выдумывай ничего. Мне просто захотелось немного поговорить с тобой.

Илья неторопливо сел на стул, спокойно глянул в серые глаза, криво усмехнулся:

— Мы же с тобой друзья. Что нам... выдумывать.

— Если хочешь язвить — лучше уходи. Не нуждаюсь! Уходи!

Илья пожал плечами, поднялся и пошел к двери.

— До свидания! Привет мамочке!

Уже взялся за дверную скобку — Галя сказала:

— Илья! Погоди!..

— Изумительно мы беседуем... «Приходи! Уходи! Погоди!...» Что дальше скажешь?

— Илья! Ты послушай. У каждой девушки бывает время, когда она живет как в сказке, мечтает о своем принце, самом лучшем, самом красивом. Чтобы и жил он красиво, и говорил красиво, и любил ее не как все. Кто не любит красивое! А вот ты не такой... Много хорошего, ласковый ты, а не такой — не лучше всех, и сам стараешься не выделяться, все у тебя по-простому, обыденному, чувства собственного достоинства в тебе мало.

— Спасибо, — обиделся Илья. — Особенно за последнее — спасибо. Как знать? «Чувство собственного достоинства». Встать на улице и кричать: «Я лучше всех!» — едва ли кто поверит, что именно ты лучше. Разве только принцесса... Это у тебя от старых романов. Там девицы только и мечтали о каком-нибудь шалопае-бездельнике, который мучил ее воображение тем, что умел красиво говорить.

— Не кажется тебе — сейчас даже говорить вежливо разучились?

— Это думают те, у кого глаз не так устроен. Повторяешься, душечка.

— Илья, почему ты так гадко со мной разговариваешь?

— Прости, не сдерживаюсь. — И другим тоном спросил: — Что произошло? Обидел кто?

— Кто меня обидит? Не то, Илья... И не удивляйся, что я тебе... я в самом деле тебя считаю хорошим другом... Поверь, он очень чудесный. И даже по-своему несчастен. Лет-то не так уж мало, хочет быть уважаемым людьми, а характер скверный. И эта компания... Какая грязь, какая мерзость! И он среди них. Что делать, подскажи, как быть, как вырвать?..

И она со всеми подробностями представила, рассказала о вечеринке у Гоги Соловьева. Галя пыталась объяснить, что Виталий — совершенно случайный человек в этой компании, и опять повторяла, что он хороший, что ему надо помочь.

— Но вот как? Подскажи!

— А знаешь, мне давно хотелось дать бой, — мрачно сказал Илья. — И этот бой будет. А что подсказать тебе, я не знаю...

— И ты думаешь, они нас пустят? — с сомнением спросил Илья, когда вошли в подъезд большого дома. — Да они и двери не откроют. Не в общежитие пришли.

Иван усмехнулся, поправил галстук и нажал черную кнопку звонка. После стоял с равнодушным видом, засунув руки в карманы плаща. В его жестких волосах сверкали капельки воды — на улице, не переставая, моросил мелкий дождь.

Дверь открылась. Гога смотрел на посетителей, ничем не выдав своего удивления.

— Привет, Соловьев! В гости к тебе. Принимай.

— Прошу. — В раздумьи Гога отступил от двери, пропустил их вперед; пытался понять: зачем пришли? «Может, Виталий пригласил? — но тут же отогнал от себя эту мысль. — Виталий спросил бы разрешения... Илья — ладно, но почему с ним секретарь комитета комсомола Иван Чайка?» Гога почувствовал беспокойство и пожалел, что Виталий, как на грех, еще не появился. Он-то бы подсказал, как вести себя с ними.

— Раздевайтесь.

— Да мы ненадолго, — отказался Иван, с любопытством оглядываясь.

Дом был старой постройки, прихожая свободная, вешалку заменяли огромные лосевые рога. Из комнаты приглушенно доносилась музыка: мужской голос пел что-то на незнакомом языке. Иван заглянул в дверь, и у него зарябило в глазах: на стульях, на диване сидели парни и девицы, выжидательно смотрели на него.

— Привет, — растерянно буркнул Иван и опять поправил галстук.

Один из Гогиных приятелей сменил пластинку и пустил радиолу на полную мощность.

Грохот барабанов, вой саксофонов и какой-то всхлип слились в одном звуке и оглушили Ивана, тупо уставившегося на радиоприемник. С минуту он слушал, а потом медленно, словно крадучись, подошел к радиоле и выключил ее. Снял пластинку, посмотрел и бросил под ноги. Пластинка с легким хрустом разлетелась на куски. Так же сосредоточенно взял следующие две и, едва взглянув на надпись, швырнул на пол.

Опомнившись, Гога подскочил к нему, попытался оттолкнуть от стола.

— Ты у себя дома, да? — пронзительно крикнул он. — Что распоряжаешься? Видали мы!.. Являются... — Гога чуть не плакал. — Они денег стоят! Забыл?..

Иван будто только сейчас догадался, что пластинки денег стоят и что вел он себя нелепо, не нужно было так. Он сокрушенно посмотрел на грудку осколков, перевел взгляд на Гогу и сказал:

— Извини! Случается... Потом сосчитаешь, я заплачу... По магазинной цене...

— Достанешь их в магазине, да! — плачущим голосом проговорил Гога.

Иван тем временем махнул Илье, чтобы он снял со стены газету «свободных людей» — «Без булды», припиленную канцелярскими кнопками. Илья стал снимать. Никто даже не пытался ему мешать: Гога был так расстроен утерей драгоценных пластинок, что ему было ни до чего, а его приятели словно оцепенели — слишком уж уверенно вели себя вошедшие.

— Готово, — сказал Илья, свертывая газету трубочкой. — Пошли. — Он старался не смотреть на Ивана, который слишком переборщил, можно было ограничиться только газетой.

Иван оглядел еще раз всю компанию и, полусогнувшись, приложил огромную лапищу к груди.

— Прощу извинить, — серьезно и без улыбки сказал он.

Были уже у двери, когда слышали грохот разлетевшихся осколков. Это Гога, осмелев, швырнул им вслед битые пластинки.

Глава семнадцатая

Комсомольцы собирались в столовой. Притащили длинные крашенные скамейки и садились так плотно, что доски прогибались и жалобно поскрипывали. Большинство было в заскорузлых спецовках и фуфайках, пропитанных пятнами машинного масла. Почти у каждого лежали на коленях брезентовые голицы.

Генка оживленно метался по столовой. Он радовался, что присутствует на собрании как полноправный комсо-

молец, — только на днях его приняли на комитете. Он проскользнул к председательскому столу и поднял руку.

В столовой на мгновение затихло.

— Товарищи! — выкрикнул Генка. — Итак, товарищи, все мы товарищи!..

— Долой! — загудели обманутые слушатели, а Генка, донельзя довольный, ухмыльнулся. Он покосился в сторону окна, где во втором ряду сидела Оля: ведь это он для нее старается.

Рядом с Олей сидел Илья и, у самого окна, неразговорчивая, безучастная ко всему Галя.

В заднем ряду, забившись в угол потемнее, сидели Кобяков и Гога, тихо разговаривали.

На первое комсомольское собрание пришло много коммунистов и среди них Колосницын и Першина. Сидел круглоголовый, стриженный под машинку секретарь парткома Захаров.

Появился Иван Чайка, несколько непривычный в новом светлом костюме. Он сразу прошел к столу, окидывая на ходу гудящую массу комсомольцев. У него рябило в глазах, и он с трудом узнавал знакомые лица. Иван еще не привык вести собрания и сейчас едва справился с собой.

— Товарищи! Открытое собрание комсомольцев третьего участка разрешите начать... Прошу назвать товарищей в президиум.

И сразу же кто-то громко крикнул:

— Перевезенцева!

— Очень хорошо, — сказал Иван и записал на листочке.

Теперь уже со всех сторон выкрикивали:

— Плотника Симакина! Захарова! Васильева — бетонщика пятой бригады!

И вдруг из угла:

— Кобякова!

Илья резко обернулся на голос: кричал Гога Соловьев. Генка тоже беспокойно поежился и, привстав, гаркнул:

— Коровина!

Иван Чайка метнул на Генку взгляд, сразу же записал фамилию Ильи, словно только того и дожидался. Потом он попросил названных товарищей сесть к столу.

Илье пришлось сесть бок о бок с Кобяковым. Они

встретились взглядом: Кобяков смотрел нагло, Илья — с едва сдерживаемой яростью.

Иван рассказал, что третий участок до сих пор не имел своей организации, так как до последнего времени не было постоянного состава рабочих. Сейчас участок стал одним из решающих на строительстве. У комсомольцев, да и приглашенных на собрание товарищей, очевидно, много наболевших вопросов, и пусть сегодня каждый говорит о том, что считает важным, пусть сегодняшней разговор будет первой ласточкой — активным, деловым собранием.

Долго упрашивать не пришлось. Сидевший в президиуме рядом с Ильей плотник Симакин поднялся и негромко попросил разрешения сказать несколько слов.

На участке, говорил он, часто срываются работы из-за нехватки сборных железобетонных конструкций. Есть возможность делать кое-какие детали прямо на местах, но нужны доски и арматура. Получить их никак не удастся, поэтому план срывается, рабочие простаивают.

Слушали его внимательно, так как все знали, что такое для рабочего простой. Срочно подыскивалась какая-нибудь незначительная работа, и на нее тратился весь день. Ни удовлетворения, ни заработка!

Захаров прислушивался к говорившему и время от времени делал пометки в блокноте. Комсомольцы видели, что он записывает, и это вселяло уверенность: значит, разговор пойдет не впустую.

Потом из-за стола поднялся бетонщик пятой бригады Васильев и тоже по-деловому рассказал, что часто подводит их бетонный завод. И никому не было удивительно, что и второй оратор поднялся из-за стола, а не с места: в президиум были выбраны самые авторитетные люди.

Иван радовался, видя, что комсомольцев трогают за сердца выступления товарищей.

Насмешил всех каменщик Пятов, плечистый, здоровый парень, который, шагая через скамейки, несмело выбрался к столу и долго молчал, видимо, забыв то, что хотел сказать. Потом он рассеянно нахлобучил кепку на глаза и проговорил с угрозой:

— Раствор привезут, считают три куба, а глядишь — два. Дело это, да?

И под одобрительный гогот пошел на место. Смеялись необходимо: все поняли, что он хотел сказать.

Второй час шло собрание, а чувствовалось, что осталось много невысказанного, волнующего рабочих. Все устали, в задних рядах стал появляться шумок.

Поднялся Илья и, чувствуя дрожь в коленках, смущенно откашлялся:

— Наверно, я не так скажу... потому что о другом. Только промолчать не могу...

— Говори, говори, — поддержал его Иван, зная, о чем пойдет речь.

Илья взглянул на второй ряд, где, опустив голову, сидела Галя, и спросил уже более решительным голосом:

— Вам не приходилось видеть газету «Без булды», орган «свободных людей»?

— Чего ты в историю полез? — нетерпеливо выкрикнули из зала. — Давай по существу.

— Я и то по существу, — ответил Илья. — Мы взяли эту газету дома у кладовщика Соловьева. Только газета — не история, там рассказывается о нашей стройке.

— Ври! — раздался недоверчивый возглас.

— Вот тебе и ври, — съязвил Илья. — Они уже пять номеров выпустили.

— Не тяни, выкладывай, о чем там, — опять крикнули из плотных рядов комсомольцев.

— Пусть не обижаются на меня товарищи, если я буду рассказывать, как они выглядят в этой газете.

С задних рядов поднялся побелевший Гога.

— Товарищи!

— Сядь, — спокойно оборвал его Иван. — Садись, после скажешь.

— Скажу! Я скажу! — заторопился Гога. — Как хулиганили у меня дома, скажу. Все пластинки перебили! — Он сел и спрятался за спины комсомольцев.

Из зала спросили:

— Какие еще там пластинки? Кто хулиганил?

— Это в горячке. Домой мы к Соловьеву пришли, а он давай оглушивать нас музыкой... Вот, не стерпел, снял пластинку — да об пол. Ну, и еще некоторые... Так, шоферски... В общем, винюсь за это перед ним, убытки уплачу...

Выждав, когда Иван сел и когда в зале затихли, Илья продолжал:

— Григорий Перевезенцев здорово работает. Это мы все знаем. И они знают. Нарисовали его в ковше экскаватора с длинными ушами.

— Здорово! — восхитился кто-то.

— Может, и здорово. Только подоплека какая! Перевезенцев не умеет бездельничать, и с точки зрения «свободных людей», — так они себя называют — он дурак, недотепа, а попросту осел. Не обижайся, Григорий, — взглянув на экскаваторщика, сказал Илья.

— Давай, чего там миндальничать, — мрачно проговорил Перевезенцев.

Плотные ряды ребят настороженно притихли. Кобяков убрал со стола задрожавшие руки. Сидел он бледный, опустив глаза.

— Этот Гога нарисовал себя на лошади, — четко продолжал Илья. — В руках кнут. Им он стегает толпу людей, то есть нас, грешных, всю бригаду Евгении Першиной. Смысл рисунка не совсем понятен. Видно только, как Гога Соловьев думает о нас.

— Вот заноза! — вырвался у Генки Забелина чисто-сердечный возглас.

— Я бы еще сказал, кого они изобразили, но это так безобразно, что не хочется упоминать. Они мнят о себе куда как высоко, а на деле — простейшие пошляки. Если ты от души сделаешь что-нибудь хорошее, они обязательно скажут, что с низкой целью. Им наплевать, что мы строим завод, который нужен. Им-то он не нужен. Они только посмеиваются... Я все упоминаю Соловьева. Не один он все это делает. Гога — пешка. Рядом за столом сидит всем известный Виталий Кобяков, Гога его в президиум выкрикнул. Не знаю точно, но не ошибусь, если скажу, что он-то и есть у них главный верховод. Он их снисходительно поощряет, а они из кожи лезут, чтобы заслужить одобрение. Тем более, что и в газете, о которой я говорил, ему посвящена серия рисунков, не карикатур — рисунков. Себя они не пачкают. В этих рисунках рассказывается, как он окончил институт и приехал к нам на стройку, в столицу медвежьего края...

— Товарищи! — сдерживая волнение, обратился Кобяков к комсомольцам. — Разрешите пояснить. Постараюсь сказать накоротке.

— Я кончил, — сказал Илья. — Можешь пояснять.

Более двухсот пар настороженных глаз уставилось те-

перь на Кобякова. И он, не чувствуя поддержки присутствующих, несколько растерялся.

— Я не буду повторяться, я быстро, — вначале скороговоркой сказал он. — Конечно, некрасиво все то, о чем мы сейчас слушали. Мне только показалось, переборщил выступавший здесь товарищ. Ну нельзя же, в самом деле, баловство с газетой выдавать за что-то серьезное...

— Хорошо баловство! — выкрикнули с места.

Он попробовал отыскать взглядом выкрикнувшего и нашел: на него смотрели насмешливые, злые глаза парня в замазанной спецовке.

— Может быть, — попытался Кобяков подстроиться под настроение комсомольцев. — Может быть, и надо за такие шуточки взгреть строго. Видимо, надо, — поправился он. — Рисовать в таком виде уважаемых строителей — безобразие, прав Коровин. Разобраться и взгреть, чтобы поняли. О себе как-то неудобно говорить, но раз мое имя впутали в эту историю, придется сказать. Коровин напраслину возвел на меня. Не отрицаю, иногда заходил к Соловьеву, и каюсь. Но это не значит, что я вместе с Соловьевым. У него свой ум, у меня — свой. Пригласили — пришел, ничего плохого нет, все в гости ходят. А Коровин сделал поспешный вывод: заодно, да еще и «верховод». Хоть неудобно, но раз речь зашла, придется говорить. Коровин сердится на меня за то, что я... словом, я отбил у него девушку.

— Хватит, — резко оборвал его Иван. — Не туда клонишь!

— Если мне не дают говорить, я сяду. — Кобяков пожал плечами, надеясь вызвать сочувствие комсомольцев. На него смотрели холодно, и он, понутив голову, пробрался на свой стул.

Иван шепнул что-то круглоголовому Захарову, тот кивнул утвердительно. Тогда Иван тяжело поднялся и сказал:

— Я думаю, на сегодня достаточно и того, что выслушали. Комитет во всем разберется и доложит вам. Важно, чтобы вы поняли: такие людишки путаются в наших ногах, мешают жить и работать. Что ты ни сделай, они говорят тебе: дурак, идиот, зачем тебе это нужно? Послушаешь раз, два, да и сомнение возьмет, об этом сомнении — другому. Так и ползет нечисть, разрастается. Ни во что верить не хочется. Важно, чтобы вы поняли, — повторил

он, — и не давали им житья, обрывали всегда на полуслове... А сейчас перейдем к основному вопросу нашего собрания — выбору комсомольского бюро третьего участка. Товарищи не комсомольцы могут быть свободны.

— Погоди, — досадливо сказал Колосницын. — Речь завели, взбудоражили, а теперь комкаете... Видит человек — лежит мяч. Пнул, а не заметил, что мяч к резинке привязан. Довольный, хотел идти прочь, а мяч ему по мягкому месту. В расчете, будто и не пинал. Вот и мы в своей работе: ударим по хозяйству, а получаем в ответ за упущения в воспитании людей... Так что ты погоди. Я хочу сказать.

— Пожалуйста! — несколько удивленно проговорил Иван, знавший, что прораб мало когда выступает на собраниях.

— Человек не орех: сразу не раскусишь, — словно оправдываясь, сказал Колосницын. — Вдруг осенило дурня. Кладовщик, о котором речь шла, подал докладную: просит списать бракованный цемент—тридцать две тонны. Крыша у склада худая, а дожди были, вот и схватился цемент, в брак пошел. Проверил я — оказалось, крыша в самом деле худая, есть и негодный цемент... Но не тридцать две тонны, а около пяти. Остальных совсем нет на складе, исчезли. Я сначала подумал: неопытный еще кладовщик, недодали ему, а он не заметил или, может, сам передал. Хватился он и решил списать, докладную подал. Неприятное дело, а все же я сначала хотел замять, кладовщику же пригрозить, чтобы в следующий раз в таких делах честнее был. Не хватает — лучше приди и скажи. Словом, замять решил. А сегодня послушал, меня и осенило. На какие шиши в квартире у него ежедневные сборища? Ведь не просто собираются... Никаких денег не напасешься. Налево спускает цемент, не иначе... — Он отыскал взглядом Гогу и спросил: — Так ли это? Скажи при всех, не прячься!

Гога встал. Выглядел он затравленным зверьком, испуганным и злым.

— Тоже еще! — неожиданно плаксивым голосом выкрикнул он. — Все на меня. Один я виноват, да? Тоже еще, навалились...

Двести пар глаз смотрели на Гогу со злым любопытством.

— Встречай, Анюта, гостей. Это Гена, ты его знаешь, слышала много раз. А это Илья. Он пришел к нам на стройку совсем другим, а сейчас настоящий строитель и секретарь комсомольского бюро нашего участка. На днях выбрали. Еще Оля, ты ее не очень знаешь. Она совсем недавно у нас, но мы ее любим. А это Григорий Перевезенцев с Варей. Они живут хорошо, не пышно, другой раз у соседей слышно. Встречай, Анюта, дорогих гостей. И больше внимания последнему — Ивану Григорьевичу Чайке. Начальство надо уважать. Оно любит. Ему мы обязаны, пока здесь жить будем.

Эта торжественная речь была произнесена Серегой Тепляковым в одно из воскресений на пороге своей замечательной комнаты. Некоторым она, может, покажется не очень замечательной, но Серега делал ее своими руками — ему-то она казалась такой.

Она сверкала белизной и за неимением мебели выглядела просторной. Стояла кровать, покрытая атласным одеялом, на ней чинно восседали два белоголовых мальчугана. С другой стороны прижалась к стене маленькая кроватка — девочка лет трех, такая же белоголовая, причмокивала во сне припухшими губами. И еще был стол, великолепный стол, сколоченный на скорую руку, а на нем — батарея бутылок, разделанная селедка с аппетитными кружочками лука, большое блюдо винегрета, тоненькие ломтики сыра и колбасы.

— Очень рады, — говорила жена Теплякова, невысокая женщина с ласковым взглядом. — Мой-то все уши прожужжал — ждал этого дня. Вы на него не обращайтесь: он уже приложился, не стерпел.

— Мои отпрыски! — выслушав жену, возвестил Серега, показывая на мальчиков рукой. — Старший — Костя, учится во втором классе, младший — Миша, арифметик большой, до тысячи считает, ходит в первый класс. А это Верочка, она спит. Но вы орите сколько захочется, она не проснется.

Перевезенцев незаметно прошел в коридор и принес оттуда сверкающую пластмассой люстру. Аня, сияя радостью, с поклоном приняла подарок. Иван Чайка вытащил из кармана игрушечный легковой автомобиль, управляемый металлическим шнуром, — нажмешь рычаг — и

поедет, — отдал белоголовым Серегиным сыновьям. Тогда и ребята принесли из коридора четыре новеньких стула, которые были оставлены там до подходящего момента.

— Извините, — сказал Илья. — Но такой подарок, наверно, пригодится вам больше, чем какая-нибудь барышня из гипса.

— Мы думали, думали и решили — стулья, — поддержал его Генка.

Стулья сразу пошли в ход. На двух усадили белоголовых мальчиков, два другие были предоставлены Оле и Варе. Остальные прекрасно чувствовали себя на табуретках.

Скоро стало весело и шумно. С удовольствием уплетали сочные блины в сметане, ели винегрет, селедку и пили душистый чай. Аня успевала видеть каждого и не оставляла без внимания. Иван Чайка краснел и бесконечно благодарил: ему и в самом деле оказывали больше уважения, чем другим. Но внимание это было искреннее, и он не сердился.

— Нашел «черненького Валерия»? — улучив момент, спросил его Илья.

— Какое! — горестно махнул тот рукой. — Семерых опросил, и все отказываются. Вот уж выйдет из родилки, вместе искать будем. Чертова кукла...

— В первую голову куплю радиоприемник, — между тем говорил Серега. — Телевизор не надо, дорого стоит, а ломается. Афера одна. Приемник — другое дело. Поймаю музыку, окна настежь — танцуй, пожалуйста, за вход не плати.

Аня слушала его и по-доброму усмехалась.

— Выдумщик, — ласково сказала она. — Вскоре после войны, в голодный год, продал последнюю шинелишку и купил мешок картошки. Будем, говорит, садить по-новому, как в Прибалтике, — больше вырастет. Вырыл три ямы, высыпал в них картошку и привалил землей. Как ростки появятся — еще, мол, будем подсыпать, пока ямы не заровняются. Я, говорит, покажу, как надо хозяйствовать. Все лето возился. Придет с работы — и к ямам. Осенью все начали картошку копать, и он тоже. Разрыл свою яму — хоть бы картошина была, одни белые стебли.

Серегины сыновья переглянулись и хихикнули.

И Оля залилась колокольчиком. Она сидела между

Ильей и Генкой, в простеньком платье с короткими воздушными рукавами, и вся светилась радостью. Генка украдкой поглядывал на нее, с трудом подавляя вздохи. Повернись к нему Оля, посмотри с улыбкой в глаза — и он был бы бесконечно счастлив. Но она не знала, о чем он думает (чего сердце не заметит, того глаз не увидит), и чаще, чем Генке хотелось бы, награждала милой улыбкой Илью. А Илья принимал это как должное, немножко горделиво.

Ох, как нескладно устроены людские сердца! Любящие, добрые, злые, холодные, а в сути своей нескладные.

Спели песню. Серега попробовал сыграть на губах барыню, топал одновременно, не слезая с табуретки. Потом пристал к Илье:

— Давай пляши. Я видел, как ты перед девчонкой выкомаривал. Здорово получалось.

Оля спросила тихо:

— Перед Галькой?

— Да, — ответил Илья. — Перед ней. Было такое дело.

— Спляши, посмотрю хоть, на что способен, — попросил Иван. Серега выслушал его и поддакнул:

— Не капризничай, Илюша, раз начальство просит. Ивана Григорьевича уважать надо. Он человек стоящий.

— Сергей Матвеевич, это уже явный подхалимаж, — заявил Илья.

Серега не смутился, прикрыл глаза, чтобы не каждый увидел, что думает, проговорил:

— Видишь, Илюша, благодарность и подхалимаж разделяются самой тоненькой ниточкой. Не всегда и заметишь, как переступишь ее. А к Ивану Григорьевичу у меня особое расположение. Жилье он мне выхлопотал. Мне его даже расцеловать не зазорно.

— Повело, — усмехнулась Аня. — Уже уподобился, Сергей Матвеевич, в кровать просишься.

— Никогда! — возразил Серега. — В обществе я всегда трезвый. Я сейчас в коридор охладиться выйду.

Илья тоже вылез из-за стола и пошел за ним.

— На этой земле, старик, у меня остался памятник, — сказал Серега в коридоре, усаживаясь на корточки. — Иду по стройке, сюда посмотрю — есть моя работа, туда гляну — вот она, матушка! И дома у себя памятник. Видел моего арифметика? Женись, Илюха. Только



на чернобровой, на Ольге женись. Расцветет она от твоей любви, большой души человеком станет...

Вышел из комнаты Генка и тоже пристроился на корточках рядом с Тепляковым. Посмотрел пристально на Илью, сказал:

— Ты поосторожнее на поворотах. Я ведь не ты, просто так Олю не уступлю.

— Генок, — сдержанно сказал Илья. — У тебя начинается портиться характер.

— Старею, — сказал Генка и ткнул пальцем в верхнюю губу, где у него начал пробиваться едва заметный пушок.

Сергея обнял его и ласково сказал:

— Ты, Гена, еще котенок. Что увидишь, тем и играешь. Потому-то я тебя и люблю. А ты похитрее будь. Ходи по лесу — не хрястай, люби девушку — не хвастай.

Когда они вернулись в комнату, Перевезенцевы уже собирались уходить. Иван Чайка показывал белоголовым мальчуганам, как управлять игрушечным автомобилем. Оля стояла у кровати и смотрела на девочку, которая не проснулась, несмотря на шум.

Григорий Перевезенцев говорил Ане:

— Теперь вы все вместе, и с вами всегда будет счастье.

— Нам надо почаще встречаться, — сказал Тепляков. — Мы уважаем друг друга, а живем не всегда дружно. Я очень горд, ребята, что вы пришли ко мне. Мы — строители, и, может, нам в первую голову надо строить хороший мир.

Глава девятнадцатая

В больнице им дали застиранные халаты и посоветовали долго не задерживаться — больному нужен покой, да и за халатами стояла очередь.

Василий лежал на втором этаже, в светлой палате, куда днем ненадолго заглядывало солнышко. Солнце было осеннее, уже холодное, но больные ему радовались, как посланцу добрых вестей. Больные подходили к окну и время от времени рассказывали, что делается на улице. Василий не вставал совсем.

Лицо его обтянулось, потемнело, глаза, казалось, стали больше и печальнее. Илья не сразу узнал в этом слабом человеке прежнего Василия.

— Вот так, ребята, — сказал он глухо. — Мне уже отсюда не выбраться.

— Что ты, Вася! К чему так думать, — сказал Илья, чувствуя в своем голосе неуверенность.

Генка был притихший, молчаливый. Он вынимал из сумки стаканчики с вареньем, яблоки, печенье и все это убирал в тумбочку.

— Женя позднее придет, — сказал он Василию. — Велела утром отнести. Некогда сейчас ей.

На лице Василия мелькнуло подобие улыбки.

— Представить себе не можете, — сказал он. — Сын у меня будет. Сын!.. Я еще на фронте был, мечтал: приеду, женюсь, и будет у меня сын. На рыбалку пойдем... Трудно вам понять, — с грустью закончил он.

— Вася, ты расписаться с ней должен. Неудобно как-то, — хмурясь, сказал Генка.

Василий долго молчал, прикрыв глаза ресницами. Большие исхудалые руки лежали поверх одеяла, большая рубашка с завязками у ворота открывала тонкую шею и выпиравшие ключицы. Он был очень бледен, дышал прерывисто.

— Правильно, Генок, — после некоторого молчания сказал он слабым голосом. — Вот только как я... не согласится она сейчас.

— Ничего, ты еще поправишься, — опять сказал Илья. — Мы с Геной на свадьбе погуляем.

— Чертова каталажка! — ругнулся Василий. — Все тело словно свинцом налито. Есть желание вскочить, удрать отсюда — сил нет.

Побледневший, он откинулся на подушку, тяжело дышал, сжав в ярости зубы.

— Мы еще поскрипим, Генок. Выше голову, — почти бодро проговорил он. — Другим трудней приходилось. Помню, на фронте... Ну, что скисли? Расскажите, как у вас на стройке? Работает та девушка, что в клубе отшлепала вашего кладовщика?

— Как же, работает, — улыбнулся Генка и покраснел. — Контрольным мастером будет.

— Серега Тепляков новоселье справлял, — добавил Илья. — Жена с ребятишками приехала,

— Меня в комсомол приняли. Секретарь вызвал, говорит: «Давай, давно пора». Илья рекомендацию написал.

— Молодец, — одобрил Василий. — Надо, Гена, тебе ведь одному придется бедовать.

— Да брось ты, — рассердился Генка. — Заладил... Выздоровеешь, как миленький. Что ты, первый раз, что ли?

— Не буду, — покорно согласился Василий. — Значит, приняли. Это хорошо.

— Теперь ни одна сволочь не упрекнет, что я был в колонии, — с мальчишеским торжеством проговорил Генка. — Косятя, а сами будто лучше. Григорий сказал, что через неделю меня поставят работать самостоятельно. Сменщиком. Тогда заживем, — весело подмигнул он Василию. — Никаких ковров брать не будешь. Рисуй, что хочешь. Картины твои я обернул газетами и завязал. Так что не беспокойся, в полной сохранности будут.

— Я не беспокоюсь, — сказал Василий и спросил Илью: — Женя тебя не обижает?

— Ну что ты! Как она меня может обидеть! Рыжий у нас один есть. Из колхоза, а руки — как у новорожденного, непослушные. Она пришла как-то утром, злющая, учила, учила его опалубку ставить, а он не понимает. Першина тогда ему: «Иди к прорабу и скажи, что ты способен на большее. Он тебе хорошую работу подыщет». Рыжий, не будь дурак, бегом к Колосницину. Минут через пять выскакивает из будки, словно ошпаренный. «Что?» — спрашивает его Першина. «Да ничего, — говорит. — Лучше я еще раз повозжаюсь с этой проклятой опалубкой». — «Ну повозжайся. Может, к концу строительства освоишь». — «Я буду стараться».

Василий улыбнулся, поправил костлявыми длинными пальцами волосы и гордо сказал:

— Женька пошутить умеет. С ней ухо держи востро. Зашла медсестра и дала знать, что пора уходить.

— Выздоровлявай, Василий, — прощаясь, сказал Илья. — Как-то веселее с тобой.

Василий проводил их тоскливым взглядом.

* * *

— Зачем так, Гена, теперь уже ничего не поправишь.

— Я знаю. А вот как согласиться с тем: был человек,

недавно только смеялся, говорил с ним и — нет... Жутко. Ох, как жутко!

Они шли по улице удрученные. Кругом была жизнь, прекрасная, веселая. Город был расцвечен флагами и транспарантами — готовился к Октябрьским праздникам. На площади перед театром на стальных фермах подняли огромный глобус, вокруг него с писком кружился спутник, вспыхивали лампочки.

Зрелище получилось довольно впечатляющее — толпа народу не убывала.

Хорошо, что горести скрываются в отдельных сердцах, о них не подозревают остальные. Может быть, хорошо. Иначе трудно было бы жить.

Шел гражданин навеселе, покачивался на нетвердых ногах и пел себе: «А ночка темная-а была-а!» Встретил его милиционер, спросил: «Что, дядя, успел набраться? Не дождался до праздника?» — «Я с горя, понял? — сказал дядя и уставился удивленно в безусое лицо милиционера. — Жена забеременела, понял?» — «Чудак, какое же это горе? Лучше радуйся». — «Так ви-ить седьмым! Что делать буду? Понял?» — «Иди домой, скажи ей, что она мать-героиня». «И-и пойду, — заторопился гражданин. — Я скажу-у!»

Всякое бывает горе.

Около винного подвальчика Генка невольно замедлил шаг. Илья взглянул на него и толкнул дверь.

Внутри магазин было не узнать. За прилавком стоял все тот же черноволосый Дода Иванович, на полках разместились коробки конфет, мармелада, бутылки с красным вином. И все же магазин было не узнать.

— Прошу, молодые люди, — без желания сказал Дода Иванович. — Что вам, бутылку вина на вынос? Коробку конфет для девушки?

— Сколько Василий должен?

— Теперь мне уже никто не должен, — сказал Дода Иванович. — Новый порядок, в розлив не продаем.

Он порывлся в ящике и бережно вытащил картонку с фамилиями должников. Фамилия Василия была обведена траурной чертой.

— Сколько он должен? — опять спросил Генка.

— Зачем так говорить? — вспыхнул Дода Иванович. — Никто мне не должен! Кто не приходит вовремя, уже не должен.

— Помер Василий...

Продавец взглянул на ребят странными налившимися болью шоколадными глазами.

Потом вздохнул и пошел запирать дверь. Из-под прилавка достал стаканы, налил вина.

— Ты остался один?

— Да, — сказал Генка и еще повторил: — Да. Когда-то у меня отец искал счастья с двугривенным в кармане.

— Не нашел?

— Не нашел...

— Что счастье? — впад в меланхолическое настроение, сказал Дода Иванович. — И я был счастлив. Заходили молодые люди выпить стаканчик. Чудесные люди, как дети. Чем обидел, не знаю. Новый порядок. В розлив не продаем.

Он грустно покачал головой, сполоснул стаканы и убрал вместе с бутылкой под прилавок. Снова открыл дверь.

— Хочу уехать... Куда уехать?.. Тоска грызет. Чем обидел, не знаю...

* * *

Дома у Генки — Женя Першина. Глаза припухшие, заплаканные. Приставлены к стене картины. На одной в окопе убитый солдат, вьется дымок папиросы. Веет от нее жуткой простотой: жизнь — щелчок по комару. В стороне рисунок с Перевезенцева. Василий успел сделать его только вчера. И в куче цикл набросков — «Завод и люди».

— Григорию надо отдать, — сказала Женя, взяв в руки рисунок. — А солдата дай мне, если можно...

— Все твое... Бери, что нужно. Уйду в общежитие. Я здесь жить не могу. Я дня не могу остаться.

— Как странно, — грустно улыбнулась Женя. — А для меня каждый предмет, запах — родной.

— Жень, может, останешься? Тебе нужна будет комната. Живи, а я уйду.

— Спасибо, — сказала она. — Мне в самом деле понадобится комната. Дадут на стройке.

— Здесь Василий жил, — хмуро сказал Генка.

Першина обняла его, по-матерински тепло поцеловала. Генка зарделся: никто так его не целовал с тех пор, как себя помнит.

— Сколько лет прошло после войны,— горько сказала Першина.— Люди уже забыли, какая она, и в то же время она везде и всюду! В каждом из нас, как гадюка, живет она. У кого семью поразбросало, кого убили. Сколько женщин одиноких, без мужей! С кого спросить им за свою судьбу? Ребята сиротами растут, не зная отцовской ласки. А у таких, как Василий, она сказывается на каждом шагу, каждая боль напоминает о войне...

Она села на край кровати, жалко улыбнулась.

— Он ведь не умер, правда? Он будет жить в моем мальчике, нашем мальчике. Он повторится, мой милый, славный... Война — как гадюка. Она будет помниться и маленькому Василию. Я бы этого не хотела... Ой, как не хотела, малыш мой...

Илья тронул Генку за рукав, они потихоньку вышли. Першина все так же сидела на краю кровати. Наедине с горем.

Всякое бывает горе.

* * *

Что бы там ни было, завод должен работать.

Вышла из строя машина — ее заменяют новой. Ушел человек — на его место встает другой...

Дня через два Илья обедал в столовой и услышал сзади себя взволнованный голос Першиной:

— Простую сетку вяжут, а огрехов уйма,— приглушенно рассказывала она.— Подошла к одному. «Не то делаешь,—говорю,— не умеешь». А он взглянул на меня да этак пропел: «Не умею, не умею-у. Да катись ты к черту! Учить вы все мастера». Вот эту бригаду арматурщиков, товарищ Колосницын, и дай мне. Ребятишки, видно, толковые, да что с них сейчас взять. А мне хочется поработать с ними...

Жутко было слышать ее голос, в котором звучали и боль, и отчаяние. «Это она с тоски, точно»,— подумалось Илье.— Как тогда с ласточкой: «Закрутилась ты, как я, горемычная...»

— Неожиданно это все,— голос прораба прозвучал недовольно.— Твоя бригада — основная. Как все пойдет без тебя? Извини, не могу.

— Я и не ждала, что сразу скажете: «Давай, Першина, действуй». Надо не знать дядю Мишу Колосницына, чтобы думать так. Понятно, чего боитесь. Только, если бригада в мое отсутствие снизит выработку, гоните меня вообще со стройки. Давно как-то я слышала... Одна американская фирма отправила директоров заводов в отпуск, сразу всех. А потом уволила тех, чьи заводы за это время стали работать хуже. Завод — не бригада, но общее есть. Я уже думала о замене. Можно бригадиром Теплякова или Коровина. Оба...

— Ты еще из детского сада поищи замену,— рассердился прораб, не дав ей договорить.— Парень только выключнулся, а она его в бригадиры. И слышать не хочу! Останешься в своей бригаде, и точка...

Колосницын ушел, вслед за ним вышла и Першина. Илья догнал ее у гаража.

— Что ты выдумала?

Она удивленно взглянула на него, потом грустно улыбнулась.

— Как птаха перелетная... Сначала поселок строился... первые дома. Была у меня комплексная бригада — хорошо работали. А как стали создавать третий участок, потянуло сюда: все-таки строительство самого завода. Вот и дали нынешнюю бригаду. Народ разный был: один работает, семеро поглядывают, как получается. Это еще без тебя, Гена, наверное, рассказывал. Сердилась, ругалась и была довольна. А теперь уйдешь на полдня — вы без меня хоть бы хны, знай работаете. Вернешься — никаких происшествий. Значит, уже лишняя, без меня прекрасно обходитесь... Надо идти... Может, кому и понадобится... А как он мне пропел,— вспомнила она:— «Не умею, не умею-у... Да катись ты к черту! Учить вы все мастера». Мне его слова — как в жаркий день свежая вода на голову. А Колосницын согласится. Не может он не согласиться.

— Спорить с тобой бесполезно, это я знаю. А вот что так о своей бригаде говоришь — обидно.

— Обидно! — всколыхнулась Першина. — Какая тут может быть обида? — И добавила еще уверенней: — Никакой обиды не вижу...

Прошло еще немало дней, много разного принесли они. Генка перебрался в общежитие, оставив комнату Жене Першиной, и поступил учиться в вечернюю школу. Перевезенцевы все так же «жили не пышно — другой раз у соседей слышно». И только Сергей Матвеевич Тепляков неузнаваемо переменялся; появилась горделивая осанка, радость не сходила с лица. С полочки притащил он радиолу и торжественно водрузил ее на тумбочку. Говорят, он уже получил замечание от соседей, но это отнюдь не помешало ему все так же любить громкую музыку, «которая с воем и громом».

Как-то Илья проснулся и увидел на крыше соседнего дома густой серебристый иней. Первый морозец приятно обрадовал его.

Было еще рано — около шести. В комнате полумрак. Хлопнула дверь на кухне. Это мать спешила приготовить завтрак.

Екатерина Дмитриевна работала все в той же самой разумной организации — «Горзеленстрое». Но теперь она выращивала цветы не на газонах и клумбах, а в оранжерее — наступали холода.

Илья выскользнул из-под одеяла и ступил на холодный пол. Начал прыгать и размахивать руками — сгонять сон. Из-за полосы туч на горизонте начинало ярко светлеть, всходило солнце.

День начинался обычный и необычный. Он был обычный потому, что сейчас надо идти к автобусу, и необычный по настроению.

— Вчера так поздно пришел, что я думала, не проснешься, — сказала Екатерина Дмитриевна, когда он вышел умываться. — Хорошо погулял?

— Неплохо, — ответил Илья, повернув к ней намыленное лицо. — Разве не спала? Я старался не шуметь. Сразу кувырк в постель — и захрапел.

Позавтракав, Илья натянул поверх ватной фуфайки брезентовую спецовку и вышел.

На автобусную остановку он пришел, когда там почти никого не было. Красный автобус «Центр — Нефтестрой» с застекленным верхом стоял вплотную к тротуару. На чугунной ограде, окружавшей садик с чахлыми деревцами, сидела кондуктор — полная женщина в синем ха-

лате поверх пальто. Она озабоченно пересчитывала в кожаной сумке рулончики билетов.

— Скоро отправимся? — спросил у нее Илья просто так, чувствуя потребность говорить.

— Придет время — отправимся, — недружелюбно ответила женщина, не переставая перебирать билеты.

Илья не обиделся: человек занят делом и сердится, когда его отрывают.

— Я не про то, чтобы быстрее ехать, — миролюбиво сказал он. — Мне еще лучше, если запоздаете.

Женщина подняла голову от сумки. Лицо у нее было заспанное и помятое, во взгляде таилась недоверчивая усмешка: где видано, чтобы пассажир не спешил?

— Мне к восьми на работу, — пояснил Илья. — Жду друга. Без него я никак не поеду. Вместе мы. Так что лучше, если запоздаете. Сколько надо ехать до строительства?

— Не больше двадцати минут.

— Так я и думал, — согласился он. Помолчал, завел снова:

— В старину была такая наука. Наука Гоги и Магоги... Слово демагогия, пожалуй, оттуда... Вот один такой ученый-магик и появился в Петербурге. Всем его поглядеть хочется, испытать, на что способен. А способен он, говорили, на такие штуки, что просто не верилось. Самый богатый вельможа первый перехватил магика: вот, мол, мой дом, вот мои гости — показывай свое искусство. Гости-то у него были знатнее знатного: князья, графы, фрейлины царского двора. Окружили они магика, глаза на него пялят, монокли наставляют, чуть ли не в рот заглядывают. Чем-то и досадили этому ученому. Хозяин дома ходит, руки потирает от удовольствия, ждет удивительных происшествий. И дождался: враз все дамы остались в костюме Евы, а одежда их повисла по стенам залы. Понятно, все растерялись, слова вымолвить не могут. Вельможа, злой, как черт, ищет того магика с намерением за порог выбросить, чтобы не позорил знатных людей, а его и след простыл. Разобиженный вельможа к царю: так и так, государь, вот что случилось. Прикажи сыскать и наказать примерно. Царем в то время был Павел, который любил играть оловянными солдатиками, и живых солдат мечтал сделать оловянными. «Как посмел моих фрейлин

в неприглядном свете выставить! — взревел он. — Привести!» Не шутка, когда царь в ярости. Целый день по всему Петербургу искали магика, а как нашли, поставили перед царем. Не успел Павел глаза округлить, как он делал всегда в большом гневе, магик ему и сообщает, что умрет он в постели, задушат его. «Не верю! — крикнул Павел. — Шутки шутить изволишь?» И, не долго думая, велел заточить магика в крепость. Тот только усмехнулся: ладно, говорит, посижу немного, а как захочу, уйду. Царь велел следить за узником строго, глаз не спускать да еще по всем заставам петербургским приказ отдал: не выпускать, ежели удастся убежать и поедет. Сторожить узника поставил самого свирепого служаку... Так вот тот служака сказывал: едва узник станет царапать или углем на стене писать, выводя круги и какие-то знаки, сразу у него в камере появляются стол, стул, кровать и всевозможные кушанья. Сколько раз у него отбирали, а наутро все появлялось снова. Писал он то круги, то цифры, то знаки, которые даже академики не могли разгадать. Раз перепуганный служака прибежал к царю: так и так, коня на стене рисует, собирается удрать. Как, говорит, дорисую, на нем и уеду. «Не выдумывай, — сказал царь, — как это он на рисованном коне может поехать?» Только не успел он договорить, со всех петербургских застав прискакали офицеры: проехал, мол, не могли задержать. И каждый утверждает, что через его заставу проехал, и каждый показывает один и тот же час. Вот...

— А как же он все-таки на рисованном коне уехал? — с сомнением спросила кондукторша.

— Так ведь он магик, — пытался втолковать ей Илья.

— Что ж, что магик! Конь-то не живой. Плетешь незнамо что.

— Да как вы не понимаете...

Ему хотелось говорить, но женщина отвечала неинтересно, и он отступился. Расхаживая взад и вперед по тротуару, задерживался у угла чугунной решетки, откуда были видны часы на большом здании почтамта.

Было то самое время, когда город начинает шумно просыпаться. Из парка все еще выходили трамваи, полусонно катились по рельсам в разные направления. На улицах, прилегающих к центру, стали появляться автомобили, спешили пешеходы.

Илье нравился утренний город с чистым, морозным

воздухом. Как зачарованный смотрел он на площадь, спускавшуюся к реке мимо древних белых стен монастыря, недавно реставрированного и теперь похожего на игрушечный. На южной башне стены, испещренной бойницами, поворачивался на ветру позолоченный флюгер в виде медведя с секирой. Медведь с секирой — герб города, дарованный его основателем, мудрым киевским князем. Илья знал об этом, но сегодня рассматривал герб будто впервые. Затем взгляд его перекинулся на полукруглые ворота в стене. По обеим сторонам ворот развевались кумачовые флаги. Тут был вход на областную выставку народного хозяйства. Прочитав надпись, Илья улыбнулся, вспомнив, как бывший секретарь комитета комсомола Трофимов вручал Перевезенцеву «персональные» билеты. Теперь Иван Чайка, вполне освоившись с делами, ведает комсомольским хозяйством стройки. С Ильей у него такие же добрые отношения.

— Здравствуй, Илья!

Он резко обернулся, и в тот же миг на лице его появилось легкое разочарование.

— Здравствуй, Андрейка! Доброе утро, Галя. Ты что, тоже на стройку? — спросил он мальчика.

— Не, — ответил Андрейка. — Гальку провожал.

— Провожать вдруг вызвался, — краснея, сказала Галя, усмехнувшись: — Все-таки мужчина.

Она несколько осунулась, побледнела, глаза печальные, с темными полукружьями. Илья вспомнил, что последние дни не видел ее на стройке.

— Ты болела?

— Немножко, — неохотно отозвалась Галя. — Сейчас все в порядке...

— А я разгуливаю, — сказал Илья. — Неожиданно, как Колумб, открываю для себя город, в котором прожил восемнадцать с лишним лет. Поднялся рано, как вышел — поразился: тишина, улицы пустые и очень чистые. Днем таких не увидишь. На каждом шагу что-нибудь новое.

— Говори! — недоверчиво усмехнулся Андрейка. — Откуда новое? Все, как давно.

— Ладно, коли так, — согласился Илья, подумав при этом: «Дойдет и до тебя очередь. Еще почувствуешь себя Колумбом».

Через садик с чахлыми деревьями к автобусу тороп-

ливо шла Оля. Илья радостно шагнул ей навстречу. Наконец-то она появилась. Ведь это ее он ждал все утро, о ней говорил с кондуктором: «Жду друга. Без него я никак не поеду». Оля скользнула встревоженным взглядом по лицу Гали, взяла Илью под руку. Галя грустно усмехнулась: «Бойтся, что заберу ее радость. Будто не видит, что я уже не вольна над ним».

В автобус входили и входили люди. Андрейка отошел к ограде, поглядывая, как они все трое поднялись на подножку и с трудом стали проталкиваться вперед. Потом Андрейка увидел их в окно. Он помахал рукой. Неожиданно ему замахали ото всех окон. Мальчик сначала удивился, а потом решил: пассажиры-то не знают, что он помахал не им.

Оля очень неохотно свернула на площадку, к своему месту работы, все оглядывалась.

А Илья и Галя, как и в первый день, опять шагали по бетонной дороге, серой лентой уходившей вдаль. Впереди виднелось громадное недостроенное здание ТЭЦ.

— Помнишь, вот здесь, над кустами, плакала луговка, — сказал Илья. — Она чуяла, что происходит что-то, а понять не могла. Думала сохранить все, как было. Теперь от кустов не осталось и следа.

...Не знаю, откуда пошло, — продолжал он, — но эту птицу считают вздорной и глупой. Будто бы очень и очень давно выпала земле страшная засуха. Гибли птицы, звери. Когда совсем стало неважно, собралось все живое на совет, и решено было рыть море, прокладывать реки. Все звери, все птицы участвовали в этой работе, одна только луговка отделилась, не хотела быть вместе со всеми. И когда появилась вода, когда все напилось и вздохнули свободно, увидели меж себя луговку. Все возмутились: «Зачем она среди нас? Она не хотела быть вместе!» И прогнали ее, положили для нее запрет на все реки и источники, разрешили только пить тогда, когда идет дождь, да еще болота с ржавой водой дали ей во владение. И с тех пор кружится она над болотами с жалобным криком, то ли кается, то ли жалуется на суровый приговор, но никогда не идет к чистой воде...

— А я подумала о другом, — тихо сказала Галя. — Для одного человека лучше сразу окунуться в жизнь, он перебродит и станет твердым, как камень. Для другого сразу непосильно, может надорваться...

Он дотронулся до ее руки, ласково сказал:

— Забудь об этом. Важно, что мы сейчас знаем что делать и как жить. А Виталий... Сбежал вовремя и скоро появится на другом месте... — Илья не сдержался, договорил зло: — И там станет пачкать людей твой принц...

Она потупилась, закусив губу.

— Ты очень жестокий, Илья.

— Не всегда, — ответил он.

Они постояли недалеко от дороги, на холме. Вся стройка была перед ними. Около котлованов стояли огромные серебристые резервуары под нефть. И все так же безостановочно шли по дорогам самосвалы. Недалеко стоял навес, под которым были видны длинные столы, заваленные железными прутьями. На какой-то миг Илье показалось, что он видит среди арматурщиков Женю Першину.

У прорабской будки, возле кладовой, стояла пожилая женщина в красной косынке — новый кладовщик, назначенный вместо Гоги Соловьева, — тот был под следствием.

— Привет, тетя Паня! — крикнул Илья.

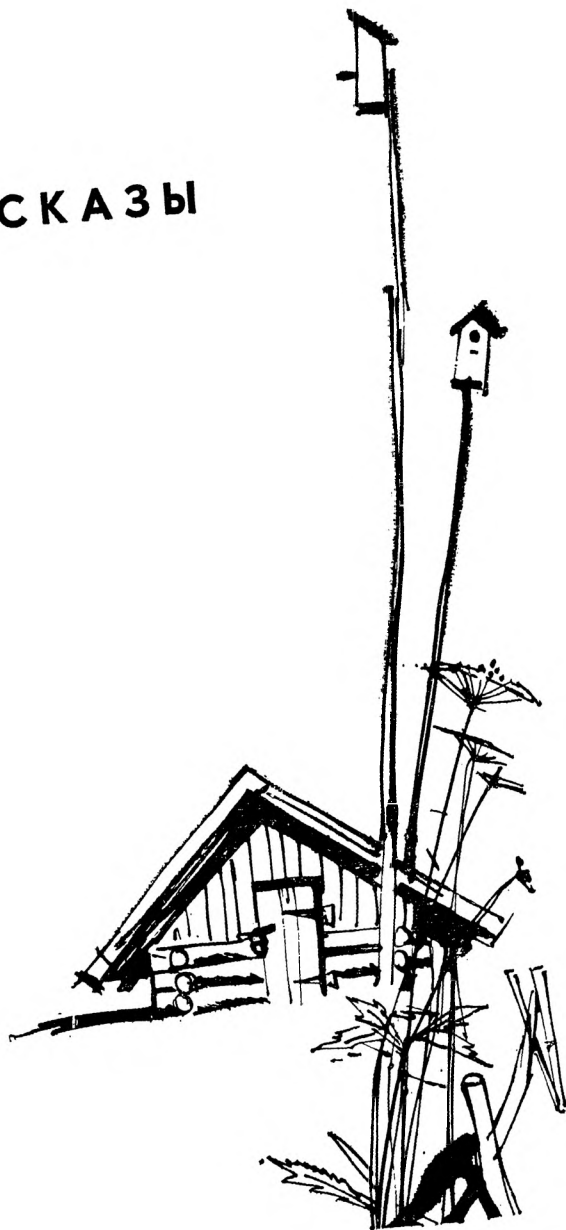
Женщина ответно кивнула.

Далеко в поле серой ниткой уходит бетонная автострада. У самой обочины ее — экскаватор: то опускает, то поднимает ковш, отбрасывая в сторону грунт. Траншея остается за экскаватором. С боку ее разложены в строгом порядке чугунные трубы. Рабочие, обхватив кабелем трубу, направляют ее в стык с другой. Это прокладывается водопровод на ТЭЦ. В засаленной машинным маслом фуфайке со знанием дела орудует в кабине экскаватора Генка Забелин. Может, он заметил Илью и Галя, потому что ковш внезапно остановился, покачался на весу — как знак приветствия.

— Порой мне кажется: завод — это что-то большее, как город, как страна, — сказал Илья. — В уменьшенном виде, конечно. Сколько разных судеб!.. Счастливы тебе, Галя. Побегу. У нас теперь бригадиром Тепляков Сергей Матвеевич. Зверь, хуже Першиной.

Галя внимательно смотрела ему вслед. И опять ей гришло на ум: «Для одного человека лучше сразу окунуться в жизнь, он перебродит и станет твердым, как камень. Для другого — сразу непосильно...»

РАССКАЗЫ





ПОИСКИ НЕИЗВЕСТНОГО

В тот год, когда Саша Ковалев стал работать на заводе, к нему пришла первая любовь. Он теперь часто ходил в клуб, появилось желание хорошо одеваться и нравиться девушкам. У него были друзья. Все они еще только учились танцевать и, как ягнята, держались в стороне от взрослых парней.

Поселковый клуб был большой, с подгнившим деревянным полом, очень холодный и с постоянным запахом тяжелой сырости, — по крайней мере, таким его запомнил Саша в ту зиму.

Однажды он осмелился пригласить девушку: ему показалось, что она украдкой поглядывала на него, и их взгляды встречались. Он тогда еще тянулся вверх, был худ и нескладен, девушка едва доставала ему до плеча. Она была в сером простом платье с узкими рукавами, застегнутыми у кистей рук пуговками, расчесанные густые волосы спадали на плечи. У нее было нежное лицо и большие темные глаза, восторженно удивлявшиеся каждому предмету, каждому звуку. После танца Саша не

отпустил ее, а она не противилась. Он подвел ее к своим друзьям. Юношеская смешная гордость была написана на его лице: вот взял, пригласил, и она с радостью согласилась. «Наташа» — ответила она, когда он спросил, как ее зовут, и одарила его таким чудесным взглядом, что если бы блаженство определялось нарастающим числом, то он был бы не на седьмом, а на сто седьмом небе. Ко всему Наташа просто и естественно приподнялась на цыпочки и поправила воротничок его много раз стиранной рубашки, коснувшись при этом грудью. Саша замер, а стоявший рядом Аркашка Сазонов, такой же худющий, как и он, видя это, позеленел от зависти: у Аркашки еще не было девушки.

До конца вечера он танцевал с Наташей, находясь в том приподнятом настроении, при котором хочется кричать, петь и вообще куролесить. Потом, робея, он попросил разрешения проводить ее. И она разрешила.

На улице было темно и холодно. Резкий ветер со снежной крупкой сек лица, продувал насквозь старенькие пальтишки, но Саша, осторожно поддерживая ее за локоть, отважился похвалить погоду: «Хорошо-то как!» — «Хорошо», — мило ответила ему Наташа.

Они прошли глухим переулком и остановились у большого деревянного дома с раскрытым темным подъездом.

— Ты живешь здесь! — воскликнул Саша.

— Да, — ответила она и с любопытством спросила: — Чего ты так удивился?

Они стояли у дома, который был знаком всему поселку. Его называли поповским. Видно, когда-то здесь жил поп, а может, и все три попа — в поселке одна за другой стояли сразу три церкви. Попов теперь в помине не было, церкви не работали, а название у дома осталось.

Так случилось, что поповский дом собрал очень заметных, по-своему интересных людей, разместившихся в его двух этажах и светелке под крышей.

Прежде всего, тут жил знаменитый силач, кумир поселковой ребятни, Даня-Лестница. Почему Лестница — едва ли кто знал; он не был высоким, наоборот, короткие кривые ноги скрадывали даже средний его рост. Но зато руки — сожмет кулак, и не каждая кепка налезет на него. Он вытягивал в стороны руки, и мальчишки, сколько их было, повисали на них. Начиналось веселое путешествие. Даня шел с вытянутыми руками до тех пор, пока самые

крепкие из ребят не уставали и не обрывались на землю. Но славился Даня-Лестница не кулаками, он никогда не участвовал в драках, наверно, знал, что самый слабый удар его может изувечить человека. Он работал на разгрузке хлопка. Каждый из грузчиков умел принять на спину кипу хлопка весом все восемь пудов, вынести ее с баржи по гнущемуся трапу и сбросить под навес. Даня, когда бывал в приподнятом настроении, просил наваливать ему по две кipy сразу. Поправит на плечах ремни приспособления — седла — и только крикнет, когда навальщики на первую кipy поставят ему другую.

Не менее замечательным человеком в доме считался баянист Володя Горбун. Не была та свадьба настоящей, если на ней не играл этот баянист, потому перед ним заискивали, уговаривали. Держал он себя с достоинством, иногда капризничал, и весь поселок говорил, какие у него веселые, бесшабашные вечеринки проходят в светелке под крышей. К нему приходили красивые женщины, и мужчины удивлялись и завидовали этому. Однажды, когда еще Саша учился, в школе надумали провести вечер с баянистом. Решили заполучить Володю Горбуна. А кому просить? Выбрали двух девочек из старших классов и Сашу, который жил неподалеку от поповского дома. Они поднялись по скрипучей лестнице, постучали. Никто не ответил. Потом оказалось, что дверь не заперта.

На диване, закинув руки за голову, лежала полная молодая женщина. У нее было грустное лицо, крупные продолговатые глаза, прикрытые длинными, очевидно, наклеенными ресницами и коротко остриженные рыжие волосы. Она не удивилась их приходу, равнодушно сказала: «Если вы к Володе, то он спит». Тут только они заметили на кровати под одеялом комок, очертаниями мало похожий на человека.

Что их испугало — неслись они по лестнице, перескакивая ступеньки, а в школе, не сговариваясь, сказали, что играть Володя отказался.

Жила еще здесь тихая, опрятная старушка. Она привлекала внимание тем, что ходила в длинной, до пят, черной юбке, а рукава старинной кофты были вшиты так, что, казалось, на плечах у нее росли маленькие рожки. Говорили, она дочь помещика, их имение с прудом и садом находилось в нескольких верстах от города. Сад вымерз, а дом и проточный пруд сохранились. Когда Са-

ша был там, он все старался представить красивую лодку на зеркальной воде, в лодке с книгой в руке сидит дочь помещика, она в белом платье, с васильками в волосах. Правда, дальше пруда, лодки, белого платья и цветов в волосах дело не шло: помещичья дочь виделась ему все такой же старой.

Кого еще Саша мог бы назвать из поповского дома и кто тоже был известен всему поселку — это учительницу младших классов по прозвищу Курилка. Попавшие в ее класс считали себя мучениками: на уроках она кричала и дралась. Сожмет сухонький кулачок с выдвинутой вперед косточкой среднего пальца и так ловко ткнет по затылку, что долго еще перед глазами пляшут розовые искорки. Курилкой ее звали потому, что, забывшись, она иногда закуривала в классе.

Все это он рассказал Наташе — в каком замечательном доме она живет.

— Вот как, — без волнения сказала Наташа. — Я ничего такого не знала. — Потом она смущенно улыбнулась и сказала еще: — Между прочим, Курилка — моя родная тетка.

Саша смотрел на нее во все глаза, лицо его даже поглупело.

— Курилка — твоя тетка? — спросил он в изумлении.

— А что тут такого? — Наташа засмеялась, увидев его растерянным. — Подожди, — шепнула она и легко побежала в темный подъезд.

По стуку ее каблучков Саша насчитал двадцать две ступеньки — Наташа жила на втором этаже.

Он прыгал возле подъезда, хлопал руками и не столько оттого, чтобы согреться, — все в нем ликовало: он любил хорошую девушку, она его тоже любит. Саша и не думал в чем-то сомневаться. Как сказал поэт:

Мне всегда оставаться любимым,
Даже в избела-белый мороз...

Да, вдруг опомнился он: встречаясь с Наташей, он неизбежно столкнется со злой Курилкой. Такая встреча его не радовала, хватит на его долю и того, что он просидел в ее классе четыре года.

Кто-то спускался по лестнице, мягко шаркая ногами о ступеньки. У страха глаза велики: он мгновенно представил рассерженную Курилку, она задержала Наташу и

идет сама поговорить с непрошеным кавалером. Он уже ощущал удар сухонького кулака, после которого из глаз сыплются искры, и, как в детстве, школьником, невольно втянул голову в плечи... И до чего же Саша обрадовался, когда услышал тихий зовущий Наташин голосок.

— Саша, — позвала она. — Я ведь, правда, не так долго?

Наташа вышла в валенках, в длинном пальто с высоким меховым воротником, который закрывал ей лицо: она собралась стоять долго.

Саша счастливо рассмеялся, затормошил ее, такую маленькую и неуклюжую в этом одеянии. Раскрасневшаяся Наташа поцеловала его...

С Курилкой ему пришлось встретиться через несколько дней. Наташа не пришла в клуб, хотя и обещалась. Саша ждал ее, ходил скучный. Почему-то и пластинки в тот вечер играли грустные: о неразделенной любви, о разлуке — обо всем том, что волнует влюбленного до слез. Ах, как ему было тоскливо!

Зато в тот вечер сиял, как отполированный, Аркашка Сазонов: ему тоже удалось познакомиться с девушкой. Голова у нее была в светлых кудряшках, выделялся круглый выпуклый лоб, но хотелось смотреть на ее пугливый нос, кончик которого был вздернут, в смешливые глаза — сам начинал незаметно улыбаться. Славная, видать, девчушка!

Аркашка торжественно представил:

— Вера! — Потер пальцами прыщеватую щеку, а потом самодовольно и глупо хмыкнул. — Ну вот, теперь у тебя Наташа, а у меня Вера.

Девушка засмеялась на его слова. Аркашка жестом властелина предложил Саше потанцевать с ней. И Саша пошел танцевать, хотя ему вовсе этого не хотелось.

Наташи все не было...

Он решил, что еще не поздно и можно зайти к ней домой. Поколебавшись, так и сделал.

Дверь ему открыла старая седая женщина с резкими морщинами на худощавом, с темной кожей лице. Не будь у нее в руках горящей папиросы, едва ли он признал бы Курилку, так она сильно изменилась.

— Прошу, молодой человек, — сказала она, пристально оглядывая Сашу.

Уже то, что смотрела она не зло, заставило его успокоиться.

— Спасибо, Анна Афанасьевна, — пробормотал он, краснея и чувствуя себя в душе все тем же ушастым учеником, который побаивается провиниться.

Наташа обрадовалась ему. Она приболела, хотя простудиться справедливее было бы Саше: после той первой встречи он пришел домой с окоченевшими ногами, насквозь промерзший. Наташа сидела у стола в углу, закутавшись в теплую шаль. Саша с нежностью смотрел на ее побледневшее лицо с потрескавшимися горячечными губами.

— Ты не обращай внимания, все уже прошло, — ласково сказала Наташа, заметив в его взгляде еще и страдание.

Анна Афанасьевна подала чай, и вот за чаем Саша понял, почему Наташа ничего не знала об обитателях поповского дома: она родилась и жила в Воронеже, мать ее погибла в войну, одинокая Анна Афанасьевна взяла Наташу к себе.

Саша слушал Анну Афанасьевну и все возвращался к школьной поре, когда они считали учительницу злой и несправедливой. Или время меняет души людей, как и внешность? Сидела за столом добрая старушка, рассказывая, украдкой смахивала слезы. Ничего в ней не было от прежней учительницы.

— И досаждали же мы вам в школе, — вырвалось у него.

Анна Афанасьевна скупой улыбнулась и спросила, что ему приходится делать на заводе. А Саша покраснел от неловкости. «Зря напомнил ей о школе: неприятно вспоминать, иначе не перевела бы разговор на другое». Он был из тех чувствительных натур, у которых сразу портится настроение, если они вдруг почувствуют, что сделали или сказали не так. Он невнятно мямлит, что их небольшой участок изготавливает «просечки», начинает объяснять, что это такое, и совсем запутывается. «Видели — у школьного пера ближе к носику есть дырочка, так вот она просекается, ну, в общем, такое приспособление...»

Анна Афанасьевна согласно кивает, хотя для нее так и остается непонятным, как делается эта «дырочка» на школьном пере. А у Наташи искрятся смехом глаза, она с любопытством приглядывается к Саше и наслаждается

его растерянностью — таким он ей нравится еще больше.

— Тебе знакомо слово «стенографистка»? — спросила вдруг Анна Афанасьевна.

Он удивился вопросу, подумав, сказал нерешительно:

— Это когда человек записывает слова придуманными закорючками...

— Пусть закорючками, — усмехнулась старая учительница. — Так вот, я была стенографисткой и всю жизнь мечтала остаться ею...

Бледной голубизны глаза Анны Афанасьевны оживились, помолодели, и четче стали морщины на темном сухом лице. Папиросу в длинных пальцах вытянутой руки она держала как-то небрежно и красиво.

— Пусть будет тебе известно, мальчик, я стенографировала все заседания городской думы, меня приглашали научные общества. Боже, сколько я сделала записей под диктовку! И каких людей!.. А в девятнадцатом году я уже работала в школе.

Папироса хрустнула, когда она придавила ее в пепельнице, сухие, с темной кожей руки дрожали.

— У вас не было работы — вы пошли в школу? — с сочувствием спросил Саша и постарался представить то время, когда еще была городская дума.

— Нет, тут другое. — Она встряхнула седой головой, выражение лица стало злое, и Саша на миг увидел в ней прежнюю учительницу. — Совсем другое. Стенографистка... Мало кто понимал, что это такое. Я говорю прежде о тех, кто тогда, в первые годы, распоряжался властью. Не иначе, буржуйка. И я в глазах их была буржуйкой. Учительница — понятней. И меня направили в школу. Все время я мечтала вернуться, но не могла решиться сразу. А потом было уже поздно. Потом всегда бывает поздно. Запомни это.

До чего же много курила она! Вот уже опять пальцы разминают папиросу. Спичка сломалась, она, словно удивляясь, оглядела ее, потом перевела взгляд на Сашу. Унылая почтительность, с какою он слушал, видимо, позабавила Анну Афанасьевну. Она участливо стала спрашивать, любит ли он читать и что читает. Саша догадывался, что за вопросами о работе, чтении скрывается ее желание понять, кто он такой. «Думает, не во вред ли будет Наташе знакомство со мной». Напрягая память, он назвал несколько книг,

— А что ты читал Толстого? — спросила она.

Он растерянно взглянул на нее: почему спросила о Толстом? Разве что сама прочитала заново какую-нибудь его книгу и спросила под впечатлением ее...

— Да уж больно он много поучает, — небрежно обронил Саша.

Анна Афанасьевна изменилась в лице, взгляд стал строже. Но он уже и без того сообразил, что сказал глупость, какую только может сказать человек, хотя ему еще и нет полных семнадцати лет. В каких тайниках хранились у него вырвавшиеся необдуманные слова? Чужие слова... Видимо, когда-то кем-то оброненная вскользь фраза запомнилась ему, и он ее повторил. Сам от себя ничего подобного он сказать не мог, потому что к тому времени всего-то читал «Хаджи-Мурата» и «Кавказского пленника».

— Похвально, — искоса поглядывая на него, сказала Анна Афанасьевна. — Не любим задумываться, спешим в выводах, спешим в жизни... И ничего не успеваем. Между тем, этот писатель звал познавать себя, — сказала она, строго разглядывая Сашу. — Он считал, что зло таится в нас самих...

— Но чем-то это зло вызывается, — возразил Саша. От чувства своей неловкости он стал дерзок.

— Разумеется, — согласилась с ним Анна Афанасьевна. — Ты говорил: в школе досаждали мне. Все так. Когда-то мне причинили зло, я перенесла его на вас, вы — на меня. Видишь, какой круговорот. Тебе хочется спросить, как же выйти из этого круга? Не знаю. Наверно, надо сразу противиться злу, которое на тебя налагают. А если запоздаешь и зло уже в тебе, лучше уничтожать его, не давать ему накапливаться. Но для этого надо хорошо знать себя и иметь много сил.

Он украдкой взглянул на Наташу, она сидела с опущенными глазами, будто стыдилась тетки.

Саша стал прощаться. Наташа вышла вместе с ним в коридор.

— Забудь, — ласково сказала она и выразительно повертела пальцем у виска. — Сам понимаешь, старая уже... Ты послушал бы, о чем они только говорят, когда к ней собираются такие же старухи. Со скуки помрешь.

— Нет, почему, было очень интересно, — пробормотал Саша.



Теперь он приходил к Наташе почти каждый день. Он работал, и ему было приятно знать, что вечером будет вместе с ней, они будут бродить по улицам поселка среди серых домов, еще с войны окрашенных маскировочной краской. О чем они говорили? Да вроде ни о чем существенном, но очень важном для них. Анна Афанасьевна относилась к Саше доброжелательно, разговоров о своей неудавшейся жизни больше не заводила. Но ее редкие вопросы опять-таки доставляли ему смутное беспокойство.

Саша полюбил в их комнате широкий, мягкий диван. Как приходил, пристраивался в уголке этого дивана и с наслаждением наблюдал за Наташей, которая всегда чем-нибудь занималась; чаще раскладывала на столе выкройки и, выпятив нижнюю губку, стригла ножницами кусочки ткани — она училась на закройщицу. Иногда она взглядывала на него и улыбалась, и тогда ему хотелось ее поцеловать. Тетка сидела у окна, ближе к свету, и читала. Вскинув очки на лоб, она раз спросила:

— Что же ты думаешь делать?

Вопрос застал Сашу врасплох, не сразу догадался, что она допытывается о его жизни.

— Работаю, — смущенно сказал он. — Разве этого мало?

— Нет, конечно, — ответила Анна Афанасьевна и отвернулась, будто была недовольна им. Саша не мог понять, чего она от него хочет.

Все чаще голубело небо, днем на тротуары звонко шлепала капель. И воздух был пропитан запахами весны, особенно вечерами, когда натаившие за день лужицы покрывались ледком.

Когда сошел снег и подсохло, открылся сад с танцевальной площадкой и летним кинотеатром. Стали с Наташей ходить туда. В саду цвели липы, играла музыка и было так хорошо!

Как-то Саша пришел раньше, Наташа сидела на подоконнике; окно было раскрыто, и солнце сушило ее мокрые волосы. Она была в коротком ситцевом халатике, босая, такая милая и домашняя. Он обнял ее, и она прижалась к нему всем мягким податливым телом. Потом они очутились на диване. Саша целовал не отвечающие, одеревеневшие губы, неизъяснимо сладко пахнущие молоком, нежную, перетянутую складками, как у ребенка,

шею. Теряя рассудок, он отстегнул верхнюю пуговку халата, она торопливо помогала ему. Это он потом уже, вспоминая, видел ее твердые маленькие груди с трогательно беспомощными коричневыми сосками, — теперь же в исступлении, не помня себя, уткнулся лицом ей в плечо... И не было человека счастливее его, вообще никогда не бывало больше такой минуты полного счастья.

В коридоре хлопнула дверь и что-то грохнуло. Наташа резко вывернулась, прошептав в торопливом испуге: «Тетка... тетка пришла».

Это пришла соседка по квартире, и, узнав о том, Саша снова попытался обнять Наташу, но она ласково отстранила его:

— Не надо, уходи... Какой ты глупый...

Осенью на заводе собрали отряд для работы в подсобном хозяйстве: рано выпал снег, и остался картофель в полях. Хозяйство было далеко, за Курбой. От этого старинного села надо было еще проехать километров пятнадцать. Кругом был лес, но не тот могучий, с елями, соснами, что всегда радует, — на низинной местности рос осинник, ольха и у ручьев непролазный ивняк. Поля пятнами вкраплялись в эти дикие заросли. Однажды они запоздали, было уже сумеречно, и слышали дикий вой волков. Ребячий визг, плач матерей, жгучий предсмертный крик слышали они в лесу. Перепугались, потому что не сразу поняли, что это воют звери. Запряженные в подводы лошади шарахались, тревожно ржали. Саша в каком-то сумасшедшем восторге, в котором находился все последнее время, побежал к лесу, — ему захотелось увидеть этих зверей, которые умеют подражать людям, пугать их. Но, подбежав к кустам, увидев черноту леса, оробел и остановился.

Он так и не увидел волков, возвратился подавленный, равнодушно выдержал насмешливые взгляды товарищей. Впервые он взглянул на себя со стороны и с невеселой улыбкой вспомнил слова Анны Афанасьевны: «Спешим и ничего не успеваем». Станные слова... Никуда он не спешит, все у него есть, всем доволен. Он работает, и никто еще не сказал, что плохо работает, у него есть замечательная девушка. Если ему что и мешает — это излишняя застенчивость, робость перед другими людьми, как будто

все они лучше его, и он сознает это. Но все-таки, почему так тревожно колотится временами сердце?

Когда возвращались из деревни, остановились на отдых в Курбе. По радио передавали «Аскольдову могилу» Верстовского. «Вот как жили при Аскольде наши деды и отцы». В деревне они забыли о радио, а здесь, слушая, чувствуя неясную грусть и не понимая, что с ним происходит, Саша не мог сдержать слез. Сидел, уткнув лицо в колени, и сладко плакал.

Саша пошел в поповский дом. Вернее, не пошел — полетел, как на крыльях. У него не было для Наташи подарка, он нес себя, свою любовь. Представлял, как она вскрикнет: «Ой, Сашка! Вернулся! Сашка, милый, как я скучала!» — «Я тоже, — ответит он, — я все время думал о тебе».

У дома он столкнулся с похоронной процессией. Хоронили Володю Горбуна, о котором говорили, что он и не болел, пришел с работы, прилег и не встал. Народу за гробом шло немного, и все больше женщины. Что-то уж сильно убивалась одна из них, в темном платке, скрывавшем лицо. «Что воет-то, — злобно бормотала шагавшая следом старуха. — Смотреть не на что...» Ей что-то сказали, унимая, и она хоть унялась, но сказала с непонятным довольством: «Все там будем».

«Вот и нет Володи, не будет больше на свадьбах его веселой гармошки», — невесело думал Саша. Но, наверно, еще долго в поселке, слушая игру других баянистов, будут говорить: «Это что, вот Володя Горбун, бывало, играл — меха горели».

Сашино радостное настроение убавилось еще и потому, что на его звонок никто не ответил. Хотел оставить записку, но не нашел у себя ни карандаша, ни бумаги.

Он пошел в клуб и первым увидел Аркашку Сазонова — тот был в новом коверкотовом костюме, желтых ботинках и вообще весь сиял праздничностью. Светловолосая Вера с вздернутым пуговичным носиком держалась за его локоть. Аркашка округлил глаза, помахал рукой: «Сто лет! Когда вернулся?» Его хорошенькая Вера строила глазки. «Сашенька, в тебе есть что-то новое. Ты как с картинки».

Саша спросил, не встречалась ли им Наташа. Аркашка вспыхнул, потер прыщеватую щеку ладонью.

— Знаешь, — объявил он, — когда ты уехал, она так скучала — ужас смотреть было... А тут курсант оказался, вообще-то он мой дальний родственник, я их познакомил. У Георгия скоро выпуск, едет куда-то. Спешит... Не знаю, как тебе покажется, но вроде дело у них пошло на лад. Дня не пропускают... Сам увидишь.

Саша был ошеломлен, старался поймать Аркашкин егозливый взгляд. Может, неумело шутит? Но он знал, что шуток за Аркашкой не водится, не способен. Он мгновенно представил Наташу, ее милое лицо — нет, быть того не может, что он услышал, какая-то дикая нелепица.

— Ты вообще-то не очень расстраивайся, — оправдывался Аркашка. — Я и сам не думал. А у них, видишь, как получилось...

Он увидел их у входа в зал. Наташа, привстав на цыпочки, поправляла воротник военной гимнастерки, как когда-то поправляла ворот его застиранной рубашки. Парень был высокий, ладный, с серьезным сухощавым лицом, острым, выдвинутым вперед подбородком. Он бережно вел Наташу, что-то говорил ей. И тут она заметила Сашу. Румянец выступил на ее лице. Но она быстро совлала с собой, скользнула еще раз взглядом и поспешно увлекла парня в сторону.

Саша ушел из клуба.

На следующий день он все-таки решил сходить к Наташе. Рассудок говорил, что идет он напрасно, — вчерашняя встреча показала это. И все же шел. «Мне надо выяснить для себя, почему все так произошло», — твердил он себе.

Г комнате было, как прежде: мебель, занавески на окнах, такой же приветливой была Анна Афанасьевна, и все-таки все было не так. Наташа сидела на диване в углу и что-то шила. Саша часто видел ее сидящей так, но не видел еще такого растерянного и неприветливого лица. Она все взглядывала на стену, где тикали ходики, — видно, ждала курсанта и беспокоилась, что он может столкнуться с Сашей.

А Саша, презирая себя, мялся, краснел и не мог уйти. Говорить же в присутствии тетки было невозможно.

— Мне надо что-то сказать тебе, — натужно выдавил он, хотя понимал, что, как только увидел ее, не говорить, быть вместе с нею — вот что ему надо было. — В кино-театре идет новый фильм. Пожалуй, сбегает, а?

Он хотел увести ее до прихода курсанта, тот бросится искать, конечно, побежит в клуб, а они в это время будут сидеть в темном зале, — тогда-то все объяснится, и он сумеет вернуть ее любовь.

— Понимаешь, мне совсем некогда, — не поднимая глаз, сказала Наташа.

Он ревниво смотрел на нее; как собственность, принадлежащую ему, видел обозначившиеся на мягкой ткани халата маленькие груди, тонкую талию, бедра, ее округлое нежное лицо и злился до темноты в глазах, злился на свою беспомощность, на то, что он не умеет доказать, как она нужна ему, как важно им быть вместе. Она нервно шила, взмахивая иглой, и ему казалось, что каждый раз иголка вонзается в его тело. Чувствуя, что вот-вот сделает какую-нибудь непростительную глупость, Саша выбежал из комнаты, резко толкнул ногой дверь из коридора на лестницу. Она с сухим треском ударилась в стену.

О чем прежде думает обманутый влюбленный? Конечно, о мести. Но Саша и в мыслях не допускал мстить Наташе, которую несмотря ни на что продолжал боготворить. Разум подсказывал, что ни в чем не был виноват и курсант Георгий. Вся месть сосредоточилась на Аркашке Сазонове. Это он, сводник, толкнул Наташу в объятия другого парня. Пусть не с умыслом, пусть, но он во всем виноват.

В клубе, который казался на этот раз мерзким, насквозь пропахшим табаком и уборной, Саша попробовал быть веселым. К удивлению заметил, что выглядеть таким, хотя бы внешне, ему удастся, на самом деле ощущение было такое, будто все внутренности рвутся на части. Он шутил и при каждом подходящем случае приглашал танцевать Аркашкину девушку; содрогаясь от того, что делает, шептал ей ласковые слова. И удивился, как легко он добился того, чего желал.

— Сашенька, ты превзошел себя, я тебя таким не знала, — сказала ему светловолосая Вера. — Хотя, — лукаво улыбнулась она, — вчера я сразу подметила: что-то с тобой случилось.

Может, ей стал надоедать Аркашка, может, Сашины уверения, что она ему нравится, подействовали на нее, но она была теперь возле Саши, к Аркашке и не подходила. Надутое прыщеватое Аркашкино лицо смешило их обо-

их. «Давай сбежим», — предложил ей Саша. Вера лукаво мигнула.

Ее номерок от пальто оказался у Аркашки. Саша сказал, что готов пожертвовать для нее своим пальто, больше того, готов отдать ей весь мир.

— Мир не надо, это так много. Что я с ним буду делать? — деловито ответила Вера и пошла брать у Аркашки номерок.

Как и надо было ожидать, Аркашка припелся за ней, был мрачнее мрачного. Он получил ее и свое пальто, так как номерок у них был общий. Он вроде бы хотел не отставать от них.

Саша выхватил пальто из его рук, помог Вере одеться и небрежно сказал:

— Будь здоров, родной, до завтра!

Аркашка растерянно хлопал глазами, все еще не верил тому, что произошло. Вера насмешливо поглядывала на него.

— До завтра, родной! — повторила она таким ехидным голоском, что было понятно: никакого для него «завтра» не будет. Даже Сашу смутила ее безжалостность, и, признаться, в эту минуту его доверие к прекрасной половине человеческого рода сильно пошатнулось. «Вот так и с Наташей, — уныло подумал он. «Познакомься, это Георгий», — сказали ей, и она так же легко, как Вера, потянулась к другому».

Он провожал Веру, но ему уже было скучно, начинала мучить совесть: он не сдержался, сделал зло Аркашке, что, допустим, так и надо, но чем виновата эта девушка, оказавшаяся невольным участником игры? Никакого чувства, никакого зла Саша к ней не имел. «Вот и получается круговорот, о котором говорила Анна Афанасьевна, — пришло ему на ум. — Аркашка сделал мне зло, теперь это зло вернулось к нему, а потом оно придет к Вере, когда узнает, как я на самом деле отношусь к ней. Я не пытался сдерживать себя, да и едва бы сумел... Анна Афанасьевна говорила, что для этого надо хорошо знать себя и иметь много сил. А что я знаю о себе? Ровно ничего. А сил, твердости? Прекрасный был случай убедиться в своих силах, когда пытался посмотреть волков».

Шагая рядом с Верой и раздумывая так, Саша еще не понимал, что пробует разобраться, пытается подойти к тому, что называется познанием себя. Позднее он научит-

ся рассматривать каждый прожитый день и безжалостно осуждать даже малейшие свои ошибки.

С Верой он продолжал встречаться, хотя и не так часто. Она действительно оказалась славной, веселой девушкой. Но он не умел перебороть себя: если что-то рассказывал, то видел Наташу и рассказывал для нее, если говорила Вера, то опять он слышал Наташу. Наверно, так и продолжались бы эти встречи, со временем он, может быть, женился бы на Вере, но вот его отправили в долгую командировку, на новый, однотипный, завод. Там, не имея еще знакомых, чувствуя постоянную душевную пустоту и отчаянно скучая, он как-то равнодушно даже поступил в вечернюю школу, окончил ее, а потом уже втянулся в учебу, подал документы в институт. Когда он уезжал, Вера была печальна, просила писать, хотя он знал, что писать не надо, и для нее и для него так будет лучше. И Саша не писал ей.

Вернулся он в город через несколько лет, уже работал инженером. Во многом был умудрен, многое, что было в юности, перегорело, стало казаться смешным. Вид родного поселка, куда он попал в первый же день приезда, растревожил в нем воспоминания, горечь невозвратного и прекрасного не покидала его. Кое-чего он не узнавал: появились новые дома, да и те, что стояли давно, дразнили веселыми красками. Поповский дом сохранился, только осел еще больше, сгорбился и не казался таким большим. Возле него на лавочке сидел старик, опирался обеими руками на суковатую палку. Тусклыми слезящимися глазами он разглядывал остановившегося перед ним человека. А тот не отрывал взгляда от огромных бурых рук старика. «Неужели это и есть знаменитый силач Даня-Лестница?» — с горечью подумал Саша.

— Здравствуйте, Данила Григорьевич! — обрадованно поздоровался он.

— Чей будешь-то? — спросил старик, продолжая вглядываться. — Не припомню тебя.

— Посмотрел на ваши руки и представил, как вы катили нас.

— А! — отозвался на это Даня-Лестница. — Было... всего было...

Саша спросил, кто из старых жильцов остался в доме, жива ли Анна Афанасьевна. Старик безнадежно махнул рукой,

— Все померли... Всех подобрало... Племянница той Курилки живет.

— Как вы сказали? — с волнением переспросил Саша.

— Живет, говорю, племянница ее.

Перескакивая ступеньки, Саша взбежал на второй этаж и только наверху опомнился. «Зачем? Что это даст?» — уговаривал он себя, а рука тянулась к звонку.

Наташа, чуть пополневшая, но все такая же складная, в вязаной кофте и серой короткой юбке, испуганно смотрела на него, персиковые, еще нежные щеки покрывались румянцем.

— Сашка, родной, откуда? — еще не вполне веря, что это он, спрашивала Наташа.

— Хотел проводить Анну Афанасьевну, да вот... — растерянно проговорил он и поправился запоздало: — Тебя тоже...

— И меня тоже, — как эхо, откликнулась Наташа, отворачиваясь, чтобы он не заметил внезапно появившихся слез.

— Может, я пойду, — сказал он, помолчав.

— Тебе так надо?

— Да нет, показалось, что в тягость...

— Не говори глупостей.

— Тогда здравствуй!

Все в комнате было знакомо: стол, широкий диван, ее кровать с торшером у изголовья. Присутствия мужчины в этом жилье не чувствовалось.

— Ты живешь одна? — спросил он, стараясь быть безразличным.

Наташа живо взглянула на него, не ответила. Пошла на кухню с чайником, оставив за собой открытую дверь.

— Анна Афанасьевна ждала от тебя письма, — сказала она оттуда. — Когда ей стало плохо, я наводила о тебе справки. Так она просила.

— Я виноват перед ней, но... сама знаешь... Где твой Георгий?

Она вернулась, расставляла чашки, поставила сухарицу, масло.

— Сашка, не представляешь, как я тебе рада, — сказала она и, видимо, боясь, что он не поверит, с мольбой смотрела на него. Он заметил мелкие морщинки у глаз, жалостливо кривившийся рот и едва сдерживался — хотелось обнять ее, стиснуть до боли, слышать запах волос.

— Ты мне так и не ответила, — требовательно напомнил он.

Наташа сорвалась с места, подошла к буфету и стала перебирать в нем что-то. Он ждал.

— Это было какое-то сумасшествие, — дрогнувшим голосом стала рассказывать она. — Ты можешь не верить, но это так. Как затмение... Не было у нас жизни, не сложилась и не могла сложиться. Я знала это уже вскоре. И как хочешь, понимай: я все время любила тебя, всегда тебя. Вот так, милый Сашка.

Он холодно пожал плечами.

— Нет ничего удивительного в том, когда любят тебя, а замуж выходят за другого.

— Ты стал жесток. И эти новые нотки...

Он подождал, не объяснит ли она, какие нашла в нем новые нотки.

— У тебя есть семья? — спросила она.

— Да.

— С женой живете дружно?

— Как кошка с собакой.

Наташа растерянно смотрела на него: он возмужал, даже казался чуть тяжелым, юношеская округлость лица исчезла, но это было его лицо, его темные глаза, в которых она видела раньше восторг и обожание. Сейчас взгляд был усталым.

— Ты так и не сядешь?

Он послушно сел на краешек дивана.

Наташа сделала попытку продолжать объяснение.

— Видишь, Саша, — задумчиво проговорила она, — когда знакома с человеком, очень быстро привыкаешь к нему, уже не видишь, что он изменяется, становится новым и все более интересным, тебе кажется, будто он всегда один и тот же. Невольно ищешь чего-то неизвестного в других. Такое ведь в каждом из нас. Или я неправду говорю?

— Не знаю, не задумывался... вернее, в этом смысле, к счастью или несчастью, я не искал.

— Какой странный у нас разговор! — удивилась Наташа.

— Да, очень. Ты прости меня, я тороплюсь. Прости, что зашел так, не спросясь.

— О чем ты? — с болью выкрикнула Наташа.

Он вышел из подъезда. «Зачем? Зачем приходил? Что

хотел? Вернуть все, как было? Да нет, если бы вернуть, едва ли пошел: знал, не могло быть того, что было. Хотел вновь прикоснуться к юности, к беспечному и счастливому времени, хотел потешить себя... Смешно и нелепо! Сохранилась в душе любовь, ну и оберегай ее, это счастье—иметь такую любовь. А останься он у Наташи подольше, что было бы с его оберегаемым от всех чувством? «Потом будет поздно. Потом всегда бывает поздно». Это Курилкины слова. Чем-то всегда ее слова тревожили...

Старик на лавке повернул к нему голову.

— Что, не оказалось племянницы? Ушла куда?

— Не достучался, дедушка, — сказал Саша.

— Ну, еще зайдешь, достучишься, — успокоил Данила Григорьевич.

ДОРОГА В ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

— Так ты не хочешь позвонить жене? — спросил Шаров.

— Зачем?

— Но она должна знать, где ты!

— Узнает. — Дерябин зло сверкнул глазами. — Она все знает.

— Дело твое...

Шаров положил рюкзак у ног Дерябина и отправился в телефонную будку. Зачем только он поверил Татьяне? Ничуть Дерябин не расстроен, легко обошелся бы без него. Она позвонила домой, и он удивился. «Сашенька, как я рада тебя слышать. Это Татьяна Дерябина. Помнишь?» — «Татьяна Николаевна! Вот никогда не подумал бы». — «Да, — вздохнула она, — мы как-то потеряли друг друга из виду. Родители наши жили дружнее». — «Это, наверно, потому, что в деревне их дома стояли рядом». — «Возможно», — согласилась она. «И еще наши родители были добрее к людям». — «Ты хочешь меня обидеть?» — «Да нет, могу ли я... Просто сказал не думавши». — «Извини, не поняла. Как и раньше, бывало, не понимала: всерьез ты или шутишь». — «Я человек серьезный», — поспешил заверить ее Шаров. «Сашенька, вчера ко мне пришел Аркадий. Ему очень плохо». — «Заболел?» — «Не беда, если бы так. Что-то у него произошло на работе». —

«Печально. Впрочем, у многих что-то происходит на работе. Вы и позвонили, чтобы сообщить мне об этом?» — «Я хотела попросить тебя, чтобы ты повидался с ним. Он у меня. Никогда бы не решилась, но ему очень плохо, поверь, я-то уж его знаю».

И вот поверил, бросил свои дела и примчался. Теперь, как собачонка, потянулся за ним в деревню. Может, профессиональное любопытство погнало, а? Сашенька?

Шаров высыпал медяшки на полочку перед аппаратом. На стене карандашом было написано: «Васенька, я тебя люблю и мне страшно».

Он поцокал языком и сочувственно вздохнул: «Вот она, современная любовь. Бедная, как же ты влюбилась в человека, которого боишься? Или женат твой Васенька? Не повезло, девочка».

Потом прочитал еще раз и подбодрил:

— Крепись, такая любовь дается не каждому.

Он отпустил монетку и набрал номер. Рычажок тотчас же щелкнул.

— Это ты, маленькая женщина?

— Конечно! Я тебя слушаю, Сашенька.

— Клава, прости, что не приехал. Давай перенесем мое появление на завтра. Я с этим письмом живо разделаюсь. Так и можешь сказать редактору.

— Саша, ты знаешь, я всегда рада тебя видеть. Но редактор уже считает, что хода письму давать не следует. В институте все утряслось и так...

— Ты ему не говорила, что у него семь пятниц на неделе?

— Я оставила такую возможность тебе. Мне не хочется вылетать с работы.

— Да, конечно. Тогда передай ему мою глубочайшую признательность.

— Это можно.

— Клава, знаешь, что мне теперь часто приходит в голову?

— Скажи.

— Тогда на реке, в тот солнечный чудный день, я был наивен и глуп.

— Что с тобой тогда было?

— Видишь ли, выражение «носить жену на руках» тогда я еще воспринимал буквально. Ты мне показалась тяжелой ношей. Я спасовал.

— Спасибо, дорогой. Ты в самом деле отличался наивностью. Но это было так давно, и потому я не сержусь.

Шаров опустил еще монету. Долгие протяжные гудки были ему ответом. Но он отличался терпеливостью, а терпеливость вознаграждается.

— Добрый день, Ирина Георгиевна. Шаров вас беспокоит.

— Какой Шаров?—не очень приветливо спросили его.

— Александром Васильевичем, помнится, величали.

— Ах, это вы...

— Я хотел сказать, что с Аркадием Николаевичем ничего не случилось.

— По-вашему, ничего не случилось? Спасибо!

— Я не об этом... — Он усмехнулся, вспомнив, что и прежде, когда приходилось разговаривать, они с трудом понимали друг друга. — Ирина Георгиевна, я хотел сказать, что он жив-здоров. С ним ничего не случилось, в физическом смысле, что ли... Ясно я выражаюсь?

— Мне все ясно. Он всегда думал только о себе. И поделом ему, он своего достукался. Я даже рада, что его сняли...

— Ирина Георгиевна, — вмешался Шаров, — таких людей, как Аркадий Николаевич, переводят на другую работу, а не снимают. Вы давно могли это уяснить...

— Он даже не поинтересовался, как я тут... Он никогда ни о чем не заботился!..

«Понимаю Дерябина, отчего он не пошел домой, — подумал Шаров, отстраняя от уха звенящую трубку и осторожно укладывая ее на аппарат. — Она устроила бы ему сущий ад». И рассерженно проворчал, обращаясь к той, что оставила надпись: «Васенька, я тебя люблю...»

— Ты думала, любовь — цветочки, семейная жизнь — рай? Как бы не так.

Он взял еще монетку, полюбовался на нее, но набрать домашний телефон медлил...

Знаю сам я пороки свои. — Что мне делать?
Я в греховном погряз бытии. — Что мне делать?
Пусть я буду прощен, но куда же я скроюсь
От стыда за поступки мои. — Что мне делать?

— Это квартира Шаровых? — как можно ласковее спросил он.

— Вы не ошиблись, — прозвенел тоненький голосок. — Между прочим, впервые за утро. До этого все ошибались.

— Наташка, — мягко укорил Шаров. — Какое же утро?

— Это ты, папа?

— Эге. Кто же еще!

— Тогда: жил-был король!.. — крикнула Наташка.

— И жила-была королева, — продолжил Шаров. — Король всегда ходил на работу, а королева — на базар за картошкой.

— Не так! — запротестовала девочка.

— Почему, Наташенька? Бывают и отклонения... Эгей, куда ты пропала?

— Это ты?

Вопрос был поставлен ребром, не будешь отпираться.

— Я, мамочка, — виновато отозвался Шаров.

— Как же так получается. Ребенок целый день один, голодный, а ты гуляешь?

— Я, мамочка, не то что гуляю, я в некотором смысле на работе...

— Замолчи! С тех пор, как ты ушел из газеты, ты только бездельничаешь.

— А кто же за меня пишет книги? Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Почему Наташку не накормил? Совсем голодная...

— И опять зря говоришь, будто Наташка голодная. Я ей оставил сыр. Покупал сто граммов превосходного сыру. Вполне питательно...

— Беспечный дикарь! Возвращайся немедленно домой.

— Не могу, — заупрямился Шаров.

— Это еще почему?

— Я тебе после объясню. Ты не беспокойся...

— Скажите на милость! Он целыми днями не бывает дома и говорит: «Не беспокойся». Тиран!.. Слышишь, сейчас же заявляйся! Бросай бродяжничать, тебе уже сорок.

— Мамочка, я не могу, — тоскливо сказал Шаров, — хотя мне и сорок.

— О, господи!.. И почему я вышла за тебя замуж?

— Вот этого я не знаю.

— Зато я знаю. Я тебя представляла нормальным человеком.

Для нее все его друзья-литераторы и он сам — ненормальные. А он когда-то считал писателей полубогами.

Вот что значит трезво смотреть на жизнь.

Трубка стала издавать короткие гудки. Он положил ее и опять взглянул на надпись: «Васенька, я тебя люблю и мне страшно».

— Ничего, — успокоил Шаров. — Не страшись. Ты еще свое возьмешь. Не было бы страшно Васеньке.

Дерябин сидел на чугунной решетке, которая ограждала сквер с чахлыми деревьями. Перед ним стояла цыганка с ребенком на руках.

— Скажу твое имя...

— И я скажу, — бодро подключился Шаров, подходя к ним.

Цыганка мельком оглядела его, не нашла ничего интересного и опять подступилась к Дерябину.

— Есть злодейка, которая сделает тебя несчастным на двенадцать лет, — таинственно и уверенно сообщила она.

— Ты собиралась сказать имя, — напомнил ей Дерябин.

— Скажу... Возьми пять копеек и заверни в бумажный рубль, лучше в трешку — темнее цветом. Убери в карман и не смотри два дня. И ты увидишь — пятачок покраснеет, увидишь, что я не вру.

— Дай рубль, — попросил Дерябин у Шарова.

— Нашел простака, — отвечивал Шаров. — У тебя есть, ты и дай.

— Какой красивый и жадный, — упрекнула цыганка. — Женщины любить не будут.

— Уже не любят.

— Все-таки достал рубль, устыдился. Дерябин стал заворачивать в него пятачок. Цыганка с интересом следила за его руками.

— Не так, — нетерпеливо сказала она. Отобрала рубль и ловко, одной рукой завернула монету. Дерябин потянулся было за рублем, но она отстранилась.

— Не спеши. Отнесешь на кладбище, положишь под камень и увидишь, что будет.

Дерябину не интересовало, что будет на кладбище, его интересовал рубль.

— У тебя будет пятеро детей.

— Этого еще не хватало, — буркнул Дерябин и опять потянулся за деньгами. А цыганка подула на кулак и разжала его. На ладошке ничего не было.

Исчезновение денег обескуражило Дерябина. Он все время настороженно следил за ее рукой и готов был поклясться, что рубль не переключивался ни в другую руку, ни в широкий рукав немыслимого одеяния цыганки.

— Имя-то скажи, — попросил он, тепля в душе надежду хоть на какую-то справедливость.

— Возьми пяточок, заверни в трешку — темнее цветом...

— Что ты скажешь! — восхитился Дерябин, которому ничего не оставалось, как показать, что он не удручен обманом. У цыганки сразу спало напряжение, она широко улыбнулась и даже показалась красивой.

Они садились в автобус, когда опять услышали:

— Через два дня покраснеет...

К их удивлению, это была другая цыганка. Видимо, все они работали по одной схеме.

В автобус столько набилось народу, что ни передние, ни задние двери уже не закрывались. Дерябин и Шаров оказались в самой середке, сжатые со всех сторон. И все-таки они были довольны: в тесноте, да скоро поедут, не как другие, что заглядывают с улицы в окна.

Из кабины шофера раздалось:

— У кого билеты на восемь часов, просим выйти.

— Почему? — раздалось со всех сторон.

— Наш автобус идет рейсом семь тридцать.

— Эва! Хватился! Времени уже девятый!

— Я вас предупредил.

— Оплошавшие — десятка полтора — чертыхаясь, стали пробираться к выходу. Шаров вопросительно посмотрел на Дерябина: у них были билеты на восемь часов. Тот показал на часы. Было четверть девятого.

— Почему мы должны выходить? — сказал Дерябин, и в глазах его появился стальной блеск, так хорошо знакомый Шарову. — Мы и так опоздали на пятнадцать минут. Когда-то придет тот автобус.

Шаров согласился: они купили билеты на восемь часов и их обязаны отправить в это время. А на каком автобусе — безразлично, все они из одного парка.

В общем, когда автобус вывернул со стоянки на широкую асфальтовую дорогу и пошел, набирая скорость, угрызения совести они не испытывали.

Проехали мост через Волгу, дорога пошла вдоль левого берега, мимо деревянных домишек. Пригород.

В автобусе все разобрались по своим местам, стало спокойно и тихо. Дерябин развернул газету, которую купил на стоянке, уткнулся в нее. Шаров рассеянно приглядывался к пассажирам, слушал, что говорят.

На заднем широком сиденье пожилой железнодорожник с рыхлым лицом говорил скрипуче:

— Женщины всегда чего-то хотят. Требуют и требуют, пока не доведут до петли.

Сидел он плотно, удобно, в светлых, еще зорких глазах было самодовольство. Не очень верилось, что с него можно что-то требовать.

— Есть такие павы, — поддержала его соседка в коричневом плаще-болонье. Набитую доверху кошелку она бережно держала на коленях. — Им на все наплевать, лишь бы свое удовольствие справить. Двадцать лет мы с мужем живем, ничего от меня плохого не видел.

Она победно огляделась. Встретившись с ней взглядом, Шаров почему-то почувствовал себя виноватым.

— Много от того зависит, какой попадется муж.

Это сказала усталая женщина в белом платке, завязанном у подбородка. На нее сочувственно стали оглядываться.

— Да уж я на своего не жалуюсь, — объявила женщина с кошелкой.

Глухи были к общему разговору двое парней — один в берете и рабочей спецовке, другой, ростом повыше, в клетчатой рубаше и парусиновых брюках, на ногах сандалии из ремней и подошв. Оба цепко держались за поручни, но это не мешало им пошатываться и толкать Дерябина, близко стоявшего к ним. При каждом толчке Дерябин поднимал взгляд от газеты, неодобрительно поглядывал на парней, но пока молчал.

Тем временем по проходу от передней площадки продвигалась, проверяя билеты, кондукторша, миловидная крепышка, румяная, с серьгами в ушах. Взглянув на билеты, которые ей подал Шаров, она вдруг застыла от неожиданности, милая улыбка моментально слетела с ее лица. Дотянувшись до черной кнопки над окном, она деловито нажала на нее. Автобус остановился, задняя дверка с треском распахнулась.

Пригород уже кончился, с обеих сторон дороги тянулись борозды картофельного поля.

— Выходите!

Еще не веря в серьезность ее намерений, Шаров улыбнулся и, как беспонятливому ребенку, ласково сказал:

— Куда же мы пойдем? Поле... И у нас билеты...

— Выходите! — с угрозой повторила кондукторша. Трудно было поверить, что в таком безобидном с виду существе хранится столько ярости.

— Послушайте, — терпеливо обратился к ней Дерябин. — На наших билетах отправление в восемь. Мы выехали позднее восьми. Так в чем дело? Мы не обязаны опаздывать из-за неразберихи в вашем хозяйстве. Закрывайте дверь и поехали. А в том, что произошло, почему мы опоздали, будем разбираться позднее.

Говорил он спокойно, но чувствовалось — весь кипел. Его слова произвели впечатление на пассажиров.

— Пусть едут, — раздались голоса. — Билеты на той же автостанции куплены.

— Не нарочно они. Ошиблись...

— Значит, вы заступаетесь? — почти радостно спросила миловидная кондукторша. — Прекрасно! Будем ждать. — И она села на свое место.

Теперь в игру были втянуты все пассажиры: или быть добренькими и стоять посреди дороги, или...

Первыми не выдержали парни, что возле Дерябина цепко держались за поручни и пошатывались.

— Вылезайте, раз не те билеты. Киснуть из-за вас? — сказал тот, что был в клетчатой рубаше.

— Не понимает, — осклабился другой, в спецовке, кивнув на Дерябина. — А еще в шляпе.

— Нынче народ нахрапистый: все толчком, все тычком, — поддержал железнодорожник с рыхлым лицом и зоркими глазами.

— И не говорите, — поддакнула женщина с кошелкой.

— Вы бы подумали, куда мы пойдем, — обратился к ним Шаров. — Никакой автобус не возьмет нас на дороге.

— А вы бы думали, когда садились.

Дерябин слушал, слушал да и плюхнулся на сиденье между железнодорожником и женщиной в плаще, вынудив их подвинуться. Всем своим видом он говорил, что никакие силы не выдворят его отсюда.

— На первой же остановке мы переседем в свой автобус, — сказал Шаров непреклонной кондукторше. Он все еще искал примирения.

— Никуда отсюда не пойдем, — отрезал Дерябин.

Парень в берете и рабочей спецовке радостно хмыкнул:

— Во. дает! Ну, шляпа... — Повел осоловелым взглядом по лицам пассажиров и вдруг неожиданно обозлился: — Видали, не подступись к нему... В шляпе... Мне конституцией труд записан, а он в шляпе... Наполеон тоже был в шляпе, а чего добился?

Уважая его внезапно нахлынувшую пьяную злость, все молчаливо согласились: плохо кончил Наполеон, хотя и был в шляпе.

Стоянка затягивалась. Пассажиры вопрошающе смотрели на кондукторшу, нервничали. Она, чтобы избежать их укоряющих взглядов, смотрела в окно.

— Вон идет ваш автобус, — вдруг сказала она.

Все оживились, прильнули к окнам. На полной скорости, сверкая свежей краской, словно умытый, приближался автобус. Когда он стал делать обгон и кабины сровнялись, шофера о чем-то переговорили друг с другом. Новенький автобус встал впереди и открыл двери.

— Переходите, — миролюбиво сказала кондукторша и кивнула, звякнув серьгами, на обогнавший автобус.

Путешественники, сохраняя достоинство, вышли. Но едва они ступили на землю, двери у обоих автобусов захлопнулись, обе машины помчались по дороге.

Они огляделись. Поле с той и другой стороны замыкалось невысоким кустарником. До города было километров восемь — возвращаться бессмысленно. Впереди, примерно на таком же расстоянии находилось большое старинное село с чайной. Когда обалдение прошло и появилась способность к рассуждению, решили идти вперед: может, удастся сесть на попутную машину, а если нет, то наверняка они сделают это у чайной. Там всегда стоит много машин.

Хотя и было тепло, даже парно после утреннего дождя, Дерябин поднял воротник плаща и шел нахохлившись. Шаров пытался дать оценку происшедшему случаю.

— Разбойники, — ворчал он, впрочем беззлобно: вся эта история его позабавила. — Настоящие разбойники на дорогах. Мы считаем бюрократами тех, кто сидит за столом, в канцелярии, а они вот где... на дорогах. Каждая мелкая сошка пытается проявлять свою власть: хочу —

казню, хочу — милую. Здесь, на своем месте, я властелин... Впрочем, твоя житейская неподготовленность подвела нас, — заключил он, обращаясь к Дерябину.

— Что это такое — житейская неподготовленность? — заинтересовался тот.

— А как же! Ты уже отвык от того, как живут простые смертные, и на каждом шагу попадаешь впросак. Ловкость, с какою провела тебя цыганка, достойна подражания. И здесь. После объявления все смертные вышли, потому что знали, чем это для них может кончиться. А ты допустить не мог, не предполагал даже, что и с тобой решатся поступить скверно. В автобусе ты был простым пассажиром, а не Дерябиным, но тебе это и в голову не пришло. И вел ты себя, как Дерябин. Вот тебя и выгнали. Это и есть житейская неподготовленность.

— Понимаю тебя, куда твои стрелы направлены. Что ж, я человек действия. Потерпел поражение? Мое не уйдет, снова возьму. А ты предлагаешь быть круглым, как мячик. Ты ведь мудрая осторожность, и еще гордишься этим. И в этом случае: решили ехать — значит, надо ехать. И не ты, так бы и ехали. Когда-то я думал, что из тебя выйдет что-нибудь путное. А ты так себе, Александр Васильевич. Не знаю, почему твои книжки читают и почему они нравятся.

— Вот как! — удивился Шаров. — Все перевернул с ног на голову... А что касается книжек, их читают потому, что я стараюсь показывать, где зло, а где добро. Людям это очень нужно знать.

— Очень им это нужно знать, — сказал Дерябин. — «Двадцать лет со своим мужем живу, ничего плохого от меня не видел», — передразнил он. — Многие ли дальше собственного носа смотрят! Уж это я могу тебе сказать на опыте своей работы.

— Собственный нос и опыт... застарелый, недужный, — насмеялся Шаров, отступая к обочине. По дороге проносились машины, но никто из шоферов не думал остановиться. День все не разгуливался, земля была мокрая от обильного утреннего дождя. Поле уже кончилось, по обеим сторонам шел кустарник, который так и тянулся до самого села.

Дерябин сердито сопел, вышагивая впереди. А Шаров продолжал:

— Помнишь, на совещании ты ругал газетчиков, у

которых будто бы нет общего взгляда на вещи, одни частности. И ты показал на стену, там было пятно. Я-то хорошо помню... Ты показал на пятно. Вот, мол, вблизи каким большим оно кажется, а отойдешь подальше — картина меняется. И тогда Клава Гурылева крикнула тебе: «Товарищ Дерябин, ты отойди еще дальше, совсем ничего не увидишь!»

— Гурылева называла меня на «вы».

— Это неважно. Важно, что ты отходил, не замечал, как меняется жизнь, не поспевал за нею, пожалуй, и не хотел поспевать.

— Все? — зло спросил Дерябин.

— Нет еще, — безмятежно сказал Шаров. — Ты должен был изучать настроение людей и делать выводы. А что делал ты? Ты продолжал навязывать им свое драгоценное понимание, свое настроение, свои желания, не спрашивая, как к этому они относятся. Уж если мы начали совершать дорогу в длинный день, а воспоминания всегда кажутся одним длинным днем, то припомни-ка, как ты организовал почин девушек. Ты не посчитался тогда и с моим именем.

— Это тебе так казалось.

— Конечно, казалось. До сих пор кажется...

Шаров тогда еще работал на заводе, только начинал писать в газету. Раз его позвали в конторку начальника цеха к телефону. Звонил из горкома комсомола Дерябин.

— Мы тут затеваем грандиозное дело, и я решил, что ты можешь нам помочь. Давай по старой дружбе, а? Приезжай после смены ко мне. Тебе будет интересно.

После работы Шаров пошел в горком комсомола. Дерябина он нашел в зале заседаний.

Во всю длину помещения были сдвинуты столы, и на них — печенье в вазах, конфеты, фруктовая вода. За столами с обеих сторон сидели девушки, все в одинаковых темно-синих халатах с кружевной оторочкой. Видимо, попали они в непривычную для себя обстановку, шептались, посмеивались — изо всех сил старались казаться скованными.

Это была комсомольско-молодежная смена со швейной фабрики. Случилось так, что в их смене надолго заболел мастер. Девушки по очереди стали исполнять его обязанности, причем это не помешало их основной работе. Им предлагали нового мастера, но они уважали сво-

его, знали, что ему будет неприятно, если его место, хотя бы на время, займет другой, и отказались.

Вкусно уплетая конфеты и печенье, они весело, с шутками отвечали на вопросы, которыми их засыпали комсомольские работники, сидевшие в голове стола. Сами девушки никакого значения своему поступку не придавали. Но к ним проявили интерес, и это им нравилось.

— Сможешь ли о них написать? Но так, чтобы было хорошо, по-человечески? — спросил Дерябин.

— Попробую. — Шарову было лестно, что к нему обратились, и в то же время он не был уверен, получится ли что-нибудь толковое.

Он написал о девушках. Показал Дерябину.

— Это то, что нужно, — одобрил тот. — Оставь. Я сам передам в газету.

Спустя несколько дней, когда Шаров работал в утреннюю смену, его вызвал начальник цеха. В конторке былолюдно: собрались мастера и бригадиры, работники технического отдела. Все они рассматривали Шарова с веселым любопытством. Сухощавый, с бескровным лицом, начальник цеха Варганов приподнял газету, лежавшую перед ним на столе, и спросил:

— Откуда у тебя, Шаров, такая свирепость? За что ты их под корень? Мы, дурни, бьемся, как бы поднять роль мастера на производстве, а ты их без ножа...

Шаров взял у него газету, и строчки запрыгали перед глазами. Крупными буквами сообщалось о новом начинании на швейной фабрике, где стали обходиться без мастеров. Очерк служил иллюстрацией того, как комсомольско-молодежная смена управляется без мастера.

— Что ж, — продолжал между тем начальник цеха, — решили мы: завтра примешь смену, а потом передашь... кому бы там... — он оглядел собравшихся, словно спрашивая их совета. — Да вот хоть Петьке Коробову.

Все засмеялись: Петька Коробов считался в цехе ничемным работником.

С пылающим лицом выскочил Шаров из конторки. С Дерябиным у них состоялся такой разговор:

— Твое начинание — наперекор всему! — кричал взбешенный Шаров.

— Именно наперекор, — с удовлетворением, что его понимают, отвечал Дерябин. — Наперекор устаревшему понятию о рабочем человеке. Нынешний рабочий настоль-

ко грамотен, что в любом случае может подменить мастера. Как солдат на фронте: когда требовалось, он заменял командира.

— Так это, когда требовалось. А тут-то зачем? И почему ты обманул меня? Мне и в голову не приходило, что присутствую при зарождении нового почина.

— Зря не приходило. Для чего мы и девчат собирали. Так что какой обман?

— По твоей милости я завтра принимаю смену, а потом передаю ее Петьке Коробову.

— Почему именно Петьке? — удивился Дерябин, знавший этого парня еще по прежней работе на заводе.

— Да потому, что он настолько грамотен, что в любом случае может подменить мастера.

Дерябин как-то по-петушиному склонил голову набок и задумался. Упоминание о Коробове дало толчок иной мысли, более трезвой. Но все же он сказал:

— Любое ценное начинание можно высмеять. Было бы желание.

Они шли больше часу. Все тот же кустарник по краям, все та же чавкающая грязь под ногами.

— Чертова дорога, когда она кончится, — сказал Шаров, перекидывая рюкзак с плеча на плечо.

Дерябин ничего не ответил, все так же грузно шагал впереди, смотрел под ноги.

— С тех пор я стал подальше держаться от тебя, — продолжал Шаров. — И сейчас меня не интересует, на чем ты споткнулся. Я предполагал, что ты когда-то споткнешься. Не думай только, будто говорю все это, воспользовавшись твоей бедой. Просто раньше невозможно было тебе ничего сказать — не слушал.

— О какой беде ты говоришь? — Дерябин повернулся к нему, потное лицо было возбуждено. — Вины своей я не чувствую. И беды не чувствую.

Шаров с сомнением посмотрел на него.

Потом до самого села не проронили ни слова.

Возле чайной, новенького каменного здания с большими, без переплетов окнами, стояли два самосвала, груженные щебенкой. Направлялись они в сторону города. Сзади них приютился на обочине разбитый, забрызганный грязью газик с выгоревшим брезентовым верхом.

Шофера в машине не было. Подумав, что он, должно быть, обедает, вошли в чайную.

За одним из столиков, у окна, сидели трое — плотный мужчина с коротко стриженными волосами, в белом халате и двое в засаленных куртках, в кирзовых сапогах. В другом углу обедал парень лет двадцати, с тонким нервным лицом. Дерябин подсел к нему, решив, что это шофер гаизика, Шаров пошел к буфетной стойке.

Те трое негромко переругивались. Дерябину трудно было понять суть спора, но он слышал, о чем они говорят.

— Разница в том и есть, — разъяснял человеку в белом халате один из них. — Если я по пути захвачу пассажира, то возьму с него меньше, чем в автобусе. А тебе дадут двадцать килограммов мяса на сто порций, ты пять украдешь, а оставшиеся разделишь опять же на сто порций и цену возьмешь полную...

— Сильно кроет, — одобрительно заметил парень, подмигивая Дерябину. — Шоферская бражка, палец в рот не клади.

— Ты куда направляешься? — спросил Дерябин.

Парень оценивающе оглядел его и сообщил:

— Никуда. Обедать приехал.

— Может, подбросишь нас?

— Что ж не подбросить, — легко согласился парень. — Были бы тити-мити.

— Деньги, что ли?

— Можно и деньги, можно и тити-мити. Не все одно?

— Я ведь не сказал, — спохватился Дерябин. — Далеко ехать. Пожалуй, с ночлегом.

— Какая разница. Были бы тити-мити.

Дерябин подозрительно оглядел его: не дурачок ли какой. Но лицо у парня было куда умное, глаза с хитрецой.

— Просит тити-мити, — сказал он подошедшему с подносом Шарову.

— Сколько? — деловито осведомился тот.

Дерябин невесело усмехнулся: может, и в самом деле он страдает житейской неподготовленностью. Шаров-то с первого слова понял, чего добивается шофер, а он выспрашивал, соображал и все равно не был уверен, что тити-мити — те же деньги.

— Дороже, чем на такси, не возьму, — сказал шофер.

Шаров даже поперхнулся.

— Да ты не парень, а золото, — похвалил он. — Звать-то тебя как?

— Я это не люблю: смешочки и разное там... — предупредил парень. — Не хотите ехать — не надо, другие найдутся.

— Хорошо, хорошо, — остановил его Дерябин. — Хотим ехать... Спросили имя, а ты вскинулся.

— Зовусь я Васей, — смягченно сообщил шофер.

Как подошли к машине, Дерябин привычно распахнул переднюю дверцу, грузно взобрался на сиденье, которое крикнуло под ним. Шаров с рюкзаком устроился сзади.

— Трогай, Вася, — ласково сказал Шаров. — Нам еще ехать и ехать.

Вася тронул. Газик сорвался с места и задрезжал, запрыгал пол под ногами. Стрелка спидометра полезла к восьмидесяти.

— Кому принадлежит этот прекрасный автомобиль? — добродушно спросил Шаров.

— Председателю, — коротко ответил Вася.

Шаров все приглядывался к нему, потом спросил:

— Ты, Вася, случаем, не городской? Манеры у тебя какие-то... вроде как изысканные...

— В точку! — возвестил Вася. — Все бегут из деревни, а я вот сюда. И неплохо устроился. А то на стройке... — Он безнадежно махнул рукой. — Тут и почет, и свобода. Жить можно...

— Устроился, значит?

— А что? Для того и на свет появляемся. Все устраиваются...

Мелькали придорожные столбы. Стеной стоял по бокам могучий, напоенный влагой лес. Изредка попадались мостики через ручьи, вспухшие от прошедших дождей.

— Анекдотик бы, а? — просительно сказал Вася. — Люблю, когда в дороге анекдоты.

Вел он машину с небрежным изяществом, которое проявляется у шоферов, когда они уже не новички, но и еще не мастера своего дела. А тут еще чих разобрал его. Вася закрывал лицо руками, оставляя руль.

— Чего расчихался? — подозрительно спросил Дерябин, прижимаясь к дверке, чтобы как можно дальше быть от шофера.

— От здоровья, — ответил Вася.

— Какое уж тут здоровье! Дать таблетку?

— Зачем? Чих всегда от здоровья. Бабушка у меня была, каждый день чихала. Потом перестала чихать и умерла.

При следующем чихе Дерябин опасно покосился на него: на крутом повороте Вася не сбавил скорости, тупорылый газик натужно заскрипел, норовя завалиться набок.

— Двое купили автомобиль, — начал рассказывать Вася. — Поехали и радуются. Не заметили, как темно стало. Начали их встречные машины слепить фарами, слепят, просто спасу нет, хоть останавливайся. Наша бражка такая: робеет встречный, так я его еще больше прижму. Остановились они и думают, что делать. Один и сообразил. «Давай, — говорит, — левую фару вынем, привяжу я ее на палку и выставлю из окна. Во какие у нас будут габариты!» Так и сделали. Едут. Им навстречу и вывернул самосвал. Там тоже двое: шофер и сменщик. Осатанели они сначала, никак не поймут, что за машина идет на них. Тормозят и присматриваются. Потом сменщик и говорит: «Да дуй посередине, это два велосипедиста...» Смешно?

— Смешно, — машинально ответил Дерябин. Он пытался распутать цепочку событий последних дней. Припомнил, что неприятности для него начались с того злополучного звонка. Дерябин даже переспросил — настолько неожиданно прозвучала фамилия. До его сознания не сразу дошло, что Викентий Вацлавович Поплавский является секретарем партийной организации института и звонит по необходимости...

Днем на лекциях Беляков почувствовал себя плохо. От скорой помощи отказался, попросил проводить домой и в подъезде, поднимаясь по лестнице, упал. Врачи к нему не успели.

Хоронили Белякова скромно, на кладбище не все и ездили. Старые уходят, молодые занимают их место. Об этом и говорили на другой день в институте. Выбор пал на Михаила Борисовича Соломина, который года два назад защитил кандидатскую.

Викентий Вацлавович и просил разрешения зайти, представить Дерябину будущего декана.

От его взгляда не ускользнуло, как, здороваясь с Соломиным, Дерябин отвернулся к окну, словно увидел там

нечто более интересное. Не ускользнуло и то, что на протяжении всего разговора Дерябин сидел к ним вполоборота, с затаенной усмешкой на лице. Застенчивый до крайности, Викентий Вацлавович принял всю неприязнь на себя, ерзал на жестком диване, моргал. Когда он представил будущего декана, то почувствовал себя совсем разбитым.

А Дерябин рассеянно катает карандаш по зеркальной поверхности стола. Искоса он взглядывает на молчаливого, преисполненного важности Михаила Борисовича Соломина. Он пополнел, этот Мишка Соломин, под глазами уже начали обрисовываться мешки, говорящие, что сему мужу не чужды бывают и земные радости. Дерябин наливается гневом. Вскочить бы сейчас, закричать в бешенстве и вытолкать за дверь новоявленного кандидата в деканы, как когда-то на заводе он был вышвырнут из цеха... Да, это было в начале сорок четвертого года, война перемещалась на запад, и на заводе стали задерживать тех, кому предстояло идти в армию. Дерябин был старше Шарова, ему полагалось призываться весной, а он продолжал работать. В это время и появился в цехе крупный чернявый парень — Мишка Соломин. Он как-то быстро перезнакомился со всеми и разоткровенничался: «Пока война, пересажу здесь... У меня крепкая броня. А там — учиться». Было неприятно смотреть в его нахальное лицо. Бросались в глаза смачные толстые губы, которые он часто облизывал, рыхлый подбородок с ямкой посередине. Гнетущее молчание, которое наступило после его слов, не обескуражило Мишку. «Вы чего это?» — спросил он. «Вот что, — сказал ему Дерябин, — сгинь, или мы тебя вынесем отсюда». Но Соломин не сгинул, и непохоже было, что испугался. «Будто сам не потому здесь, — осклабясь, сказал он Дерябину. — Твой-то год уже на фронте». И то, что Мишка сравнил его с собой, усмотрел в нем какую-то нечестность, сразило Дерябина. Он беспомощно оглянулся на товарищей. Внутренне он протестовал, ведь начал работать с четырнадцати лет, выполнял в ремесленном училище военные заказы, потом на заводе — без выходных, по двенадцать часов в смену, никогда не помышлял ни о чем ином, лишь бы делать все с полной отдачей сил, и раз ему дали отсрочку, значит, так нужно, сейчас он здесь нужней. Но в то же время выходило, что Мишка прав: он был в более выгодных условиях, чем его сверст-

ники, попавшие в пекло войны. Чернявого Мишку Соломина изгнали, а через неделю и Дерябин прощался с заводом — уходил на фронт.

«Пока война, пересижу здесь...» — назойливо стучат в ушах слова прежнего Мишки. Дерябин почти не понимает, что говорит ему Поплавский, он занят одной мыслью: «Человек с такой закваской не может измениться к лучшему. Не быть тебе деканом. Только через мой труп».

Но как объяснить Поплавскому: времени-то сколько прошло! Окажешься смешным и только.

— Что я могу сказать, — сухо произнес он, когда Поплавский закончил. — Вам виднее.

С тем и разошлись. Викентию Вацлавовичу и в голову не приходило, что причина отчужденности, с какою принимал их Дерябин, кроется вовсе не в нем, а в человеке, которого он привел предлагать на должность. Знай он истинную подоплеку, может, все и пошло бы по-другому, тем более, что и у него не было особых симпатий к Соломину, он даже сейчас и не припомнил бы, кто первый назвал эту кандидатуру. Но раз назвали, а возражений не было, Викентий Вацлавович должен был отстаивать мнение коллектива.

Худо ли, хорошо ли, но он посчитал, что с Соломиным — дело решенное. Однако, возвратившись в институт, он узнал от проректора, что на место декана, по всей вероятности, будет рекомендован другой человек.

Викентий Вацлавович изумился:

— Пожалуйста, объясните, что все это значит?

Проректор отводил глаза, что-то недоговаривал. Это был старый, умудренный жизнью человек. Когда-то он бросался в драку с поднятым забралом, но те времена безвозвратно прошли, сейчас ему больше всего хотелось, чтобы все вопросы решались тихим, мирным путем. Но, если они так не решались, он считал нужным, опять-таки тихо и мирно, отступить.

— Я требую собрать ученый совет. Немедленно! — выкрикнул Поплавский сорвавшимся на визг голосом. — А вы, Борис Викторович, если вы честный человек, вы доложите все, что произошло.

Проректор впервые видел добрейшего Викентия Вацлавовича в таком возбужденном состоянии. Боясь за него, стал уговаривать не горячиться, что в конце концов все обойдется, все станет на свое место.

— Нет и нет, — стоял тот на своем. — Я требую собрания.

На собрании проректор заявил, что руководители института посоветовались и решили в интересах дела предложить на освободившееся место более подходящую кандидатуру, согласованную, кстати, с соответствующей организацией.

Поплавский тут же спросил:

— Борис Викторович, с кем вы советовались? Члены партийного бюро удивлены вашими словами.

Оправдываясь, проректор сбился, никак не мог подобрать убедительных слов. А его продолжали допрашивать:

— Видимо, соответствующая организация против кандидатуры Соломина. Объясните, какие на то причины?

У проректора была привычка смотреть на несогласного долгим, укоряющим взором. Что он сделал и на этот раз. Но спрашивающий выдержал пытку, не мигнул даже. Был это никто иной, как сам кандидат, Михаил Борисович Соломин. Честнейшие, с печалью глаза его повергли в смятение проректора.

— Никаких особых причин нет, — проямлил он.

— Выходит, кандидатура Соломина не снята? Есть два кандидата? — спрашивали из зала.

— Борис Викторович, вы упоминаете соответствующую организацию. Где же решение?

— Решения нет, нам советуют, — произнес вконец растерявшийся проректор.

— Кто советует?

— Я разговаривал с товарищем Дерябиным.

— Товарищ Дерябин еще не организация, — резонно заметили ему. — Будет правильно, если мы сейчас проведем голосование.

В общей запальчивости так и сделали, проголосовали за Соломина. Что было удивительно в этой процедуре — личность кандидата как-то отошла на второй план, защищали не его, а право на свое независимое суждение. Теперь отступать было некуда, ждали, как будут развиваться события. На следующий день преподавателей стали приглашать по одному к проректору. Борис Викторович не был изобретательным, каждому говорил одно и то же:

— Дело, голубчик, страдает от всей этой смуты. Нам ли заниматься подобными дразгами? Бог с ним, с Соло-

миним, найдется и ему что-нибудь. Отступить надо.

В ответ преподаватели написали письма в разные инстанции, в которых, между прочим, осуждалось непринципиальное поведение проректора.

— А еще вот такая история...

Вася не сбавлял скорости и не закрывал рта. Он не заботился, слушают ли его.

— После трудов праведных надо ведь по капельке... Припасем, что надо, и — прямо в гараже. Дверь не всегда закрыта. Зачем? И залетел к нам соседский, Марьи Копиной, петух. Ко-ко-ко... Дескать, меня примите. А нам что, не жалко. Хлеба накрошили, облили водкой и цыпцып... Все склевал. Наутро, смотрим, пришел похмеляться. Ах ты, думаем, такой-сякой. Ладно. Еще ему... Так и повадился каждый день. И думаешь что, наклюется, а потом идет кур гонять. Только перья по копилинскому двору летят. На все сто был петух, до животиков хохотали... А хозяйка не поняла. Зарубила петуха...

...Иван Трофимович выложил перед Дерябиным преподавательские письма. «Порядка там нет, в институте», — вырвалось у Дерябина. Иван Трофимович внимательно глянул на него. «Надо навести порядок. И лучше, если наведете сами». Сказано было таким тоном, что у Дерябина будто все оборвалось внутри. «Не понимаю», — проговорил он. «А вы подумайте». Теперь-то он подумал...

— Значит, зарубили петуха? — сонно переспросил Шаров, приглядываясь, где едут. Вася выруливал на главную улицу районного центра.

— Зарубили. — Вася тряхнул густой шевелюрой и бодро добавил: — Ничего, на наш век петухов хватит. Нового готовим.

Возле белокаменных торговых рядов на стоянке прикнулось несколько машин и автобус. Вася притормозил.

— До чего кстати, — удивился Шаров, разглядывая автобус. — А ведь это тот самый, из которого нас выгнали.

Оба торопливо вышли из машины, надеясь как-то заявить о своих правах, но еще не зная, как заявлять. Правда, им и шагу не пришлось сделать: шофер автобуса вдруг открыл дверцу, спрыгнул с подножки и поспешил навстречу. Было ему под сорок, пряди слипшихся темных

волос спадали на морщинистый лоб, серые глаза воспалены.

— Товарищ Дерябин, вы меня уж простите, — виновато заговорил он. — Ну, не видел! Маруська спорит, подумал, обычные безбилетники... После только сказали, что были вы...

Дерябин стоял с каменным лицом, и его неприступность еще более пугала шофера.

— Черт знает, как произошло. Поверьте, такое у меня впервые. И все эта кондукторша, Маруська... Нелюбят ее у нас. — Шофер повернулся в сторону автобуса, где была та самая злосчастная Маруська, желваки ходили на его скулах. Должно, будет Маруське на орехи.

— Ерунда какая-то, — брезгливо проговорил Дерябин, открыл дверцу и сел в машину. — Трогай, Вася, — сказал он словами Шарова.

Тот пожал плечами, явно не одобряя строгость своего пассажира. Из обрывочного разговора он начинал понимать, что Дерябин — какой-то начальник и шофер автобуса провинился перед ним.

Газик медленно стал выворачивать на дорогу. И когда проехали последние дома, Вася спросил Дерябина:

— Зачем вы с ним так? — в нем говорила шоферская солидарность.

— Нашкодил, так умей хоть держаться. Унижаться-то чего?

— Чего? — переспросил Вася, удивляясь непонятливости пассажира. — Да знаете, о чем он сейчас думает? Вот нажалуетесь вы управляющему, и выкинут его вон. А у него хорошая работа, семья, детки... Придраться всегда найдется к чему. По нужде лебезил, вот чего...

— Первое умное слово от тебя услышал, Вася! — торжественно сказал Шаров. Давай дальше, нам еще ехать и ехать.

— Мне что, — отозвался Вася. — Были бы тити-мити...

* * *

— Это квартира Шаровых?

— Вы не ошиблись. Между прочим, впервые за утро...

— Приветствую тебя, Сашенька. Клавя Гурылева.

— Здравствуй, маленькая женщина. Почему-то я ожидал, что ты мне позвонишь. Опять что-нибудь в инсти-

туте, и редактор просит, чтобы я посмотрел и сказал, могу ли по письму сделать статью.

— И да, и нет. Статья уже написана и завтра идет в номер. Она об институте...

— Кто же тот несчастный, что отбивает хлеб у бедного литератора? Я вызову его на дуэль и убью.

— Статья называется «За связь науки с практикой», подписана проректором Дерябиным. Это что-нибудь тебе говорит?

— Ой, Клава! Ну, знаешь, я был наивен и глуп, когда...

— Сашенька, я тебе уже говорила, что это было давно, и я не сержусь.

— Ах да, ты об этом... Спасибо, что позвонила. Я обязательно прочту статью «За связь науки с практикой». Он сам принес ее или прислал по почте?

— Ее принес курьер, и редактор распорядился сразу же дать в номер.

— Он всегда отличался оперативностью. И в этом его сильная сторона.

— Кому больше знать, мне или тебе, какая у него оперативность. Слава богу, скоро десять лет, как я под его началом.

— Это ты о редакторе?

— О ком же еще! Не такой-то он решительный, как ты думаешь.

— Клава, мы сегодня что-то плохо понимаем друг друга. Не перенести ли нам разговор на завтра, когда я прочту статью?

— В чем же дело, ты знаешь, Сашенька, что твоя воля надо мной неограниченна. Давай перенесем разговор на завтра.

— До свидания, маленькая женщина!

— Будь здоров, Сашенька!

ТАЙКА

Тайка сунула босые ноги в старенькие туфли, пригладила волосы рукой и, оставив Егорку забавляться с куклой, вышла на крылечко.

Мимо дома шла дорога — от леса к селу Ивановскому



и дальше в город. Пока на ней — ни души. Но Тайка знала: сейчас покажется Роман. Выйдет из леса и свернет у риг, срежет прямиком по стерне, чтобы не встречаться с нею. Роман ходит тут с самой весны, с тех пор, как устроился в городе, на крахмало-паточном заводе. На выходной вечером идет с работы, в понедельник утром — обратно. Два раза в неделю. И два раза в неделю Тайка караулит его. Презирает себя и бегаёт, боясь прозевать.

Солнце еще только поднимается, сушит потемневшие за ночь крыши домов — их в деревне всего десяток: шесть по одному порядку, четыре по другому. Когда-то порядки были длиннее, об этом напоминают замусоренные щебнем и заросшие репейником ямы — многие перебрались в Ивановское, где контора колхоза. Когда-то здесь также был клуб, и Роман приходил сюда, и Тайка танцевала с ним...

В росной траве туфли сразу намокли, зашлепали. Шлеп-шлеп — до самой риги, полуразвалившейся, с несколькими жердинами вместо крыши.

Тайка не обманулась: едва перевела дух, из леса показался Роман. В руке сумка, скатанная валиком. По субботам он носит в ней хлеб. А сейчас сумка пустая.

— Стоишь? — не глядя и привычно спрашивает Роман.

Тайка смотрит на него спокойно и внимательно.

— Может, зайдешь, Ромаша? — несмело просит она.

— Еще не хватало, — угрюмо отвечает Роман. Нарвал пучок травы и стал обтирать заляпанные грязью голенища кирзовых сапог — лесная дорога не просыхала и в жару. — Вообще, сказал, не встревай. Я вольная птаха. Поняла? Скоро совсем в город перееду.

На лице у Тайки испуг, руку она прижала к горлу, словно ей трудно дышать.

— Как же так! И не покажешься?

— Может, в праздники...

Из Тайкиной груди вырывается вздох облегчения.

— Ромаша, — опять просит она. — Петушка-то на палочке обещал Егорке.

— Некогда с тобой, — будто не слыша, отвечает Роман. — Еще на работу опоздаю. — И торопливо обходит ее, отворачивает лицо.

— Хоть бы раз взглянул на свое дитя, черт квелый! — уже ругается Тайка. — Ведь клялся же!

— Ну знаешь, все бывает под пьяную лавочку. Полюбились, побаловались. И никаких прав ты на меня не имеешь: мы не расписаны.

— Разве в этом дело, — тихо говорит Тайка.

— Не обязан! — злится Роман, чувствуя свою неправоту. — Вольная птаха! Хочу женюсь, хочу нет, хочу на тебе, хочу на другой. Нынче заведено — два раза жениться, — с усмешкой заканчивает он.

В глазах у Тайки слезы. Она покорно плетется домой, вспомнив, что надо кормить Егорку.

— Вот и видели мы папку, — воркует она над люлькой. — В субботу он пойдет из города и гостинец занесет. Петуха на палочке...

Егорка мало смыслит, что говорит мать. Он тянется пухлыми ручонками к ее покрасневшему носу и смеется.

А Тайка продолжает рассказывать:

— Папка в город переедет и нас возьмет. Будем жить в каменном доме. Я тебя на каруселях покатаю.

Егорке удалось схватить ее за нос, теперь уже смеется и Тайка. Слезинка скатывается с ее щеки и падает мальчику на руку.

В избу, не постучав, вошел бригадир Федор Куликов с полным картузом грибов. Картуз у него с синим околышем, весь выгоревший, привез еще с границы, где Федор служил. Он сел на лавку и стал отбирать в решето упругие коровки, скользкие маслята — какие получше.

— Выброшу! — зло сказала Тайка.

— Выбрасывай! — согласился Федор, — завтра наберу еще.

Федору за тридцать, он в полной мужской силе, мускулистый, с широкой грудью и бронзовым от ветра и солнца скуластым лицом. Выделялись на этом лице голубые, добрые и не то стеснительные, не то печальные глаза. Но Тайка знала, что эти глаза могут загораться и злым, страшным огнем.

Из люльки тарасил глазенки Егорка, смеялся Федору, потом вдруг с превеликим трудом сказал:

— Дя-дя...

— Что? — улыбнулся Федор. — Пошли завтра за грибами?

— Не заходи больше, — сказала Тайка. — Того гляди, пересуды пойдут. Дойдет до Романа — тебе и мне голову свернет.

— То-то будет потеха, — невесело ухмыльнулся Федор. Тяжело повернулся и пошел, бросив от двери: — Картошку копать нынче. Под Ивановское.

Тайка кивнула. Накормила и одела Егорку, понесла соседке — бабушке Кате. На улице Федор бил в рельс, мерно и ожесточенно.

Тайка выбрала бороздки рядом с Лидией Вологдиной. Проворными руками ворошила мягкую землю, картошины глухо стукались о стенки корзины.

— Опять встречала? — спросила Лидия.

Тайка кивнула.

— Обещал в субботу зайти. Жди, говорит...

— Врешь, поди, — не поверила Лидия. — Все выдумываешь.

Тайка швырнула картошку в корзину, зябко поежилась.

— Выдумываю, тетя Лида. Хочется, чтобы так было, вот и выдумываю. Все бы для него сделала, если бы пришел.

— Потому и не приходит, коли знает: все сделаешь. Ты покажи ему, что плюешь на него, — прибежит.

— Не могу я так...

— Значит, дура. Я бы проучила. На твоём месте за Федора вышла бы. Это ли не мужик! Пусть хоть и вдовый.

— Без любви-то?

— Двадцать лет со своим живу, а была ли любовь — не знаю. Трепетала, конечно, в первые разы, как обнимет, голову теряла... Так девчонка же была, ждала чего-то, о чем говорили другие. Любопытно. Обними в те поры не Иван, а кто-то, то же, наверно, было бы. И у тебя так с твоим Романом. Все: любовь, любовь, а спроси — никто толком не знает, что это такое.

— Не могу я так, — снова сказала Тайка.

Перед обедом Федор привел на поле молоденьких городских девчат.

— Подмога, бабоньки! — весело сообщил он. — Шефы, да еще на собственной машине. На неделю в полное распоряжение.

Он в самом деле был рад шефам, и не столько девчатам, которые обязательно станут копать картошку в перчатках, будут бояться запачкаться и без умолку говорить о чем-то своем, только им интересном, — рад он был гру-

зовой машине: можно всю неделю возить картофель в город. Возбужденный Федор смотрел, как Тайка, наклонившись, взвалила полный мешок на худенькую спину и, покачиваясь от тяжести, потащила к машине. Он перехватил ее на пути, взял мешок и легко забросил себе на плечо. Шагал прямо, будто нес вату.

— Вот чертяка, — улыбнулась Тайка, горделиво взглянув на городских девчат, которые выбрали себе по бороздке и теперь доставали из карманов перчатки.

— Окрутит он тебя, — сказала Лидия повеселевшей Тайке. — Хорошему мужику противиться трудно.

Тайка вспыхнула.

— Как репей виснет, — сказала она, покосившись на Федора.

В следующие дни вместе с Лидией Вологдиной Тайка возила картофель в город. Сдавали прямо в овощной магазин. В предвыходной день выехали что-то поздно, и Тайка все боялась, что не успеет обернуться к приходу Романа. Как и в прошлые разы, к концу недели она начинала верить, что Роман должен зайти взглянуть на Егорку. Словно нарочно, директора в магазине не оказалось, и никто без него не хотел принимать картофель. Договорившись с Лидией, Тайка побежала на завод, надеясь там перехватить Романа и, если надо будет, подбросить его до деревни на колхозной машине.

В проходной сидел старик-сторож.

— Кажется, ушел, — сказал он, когда Тайка спросила о Романе.

— Ты взглянул бы, дедушка, — попросила Тайка.

Старик, кряхтя, запер дверь и пошел. Вернулся минут через пятнадцать, сказал:

— Нету, девка. Как и говорил: ушел.

Тайка словно сгорбилась, когда пошла обратно, и, видя это, старик сочувственно крикнул:

— Может, передать что? А?

Машина возле магазина стояла разгруженной. Пока ехали обратно, Тайка все всматривалась в дорогу, ожидая нагнать Романа. Но, видимо, автобус ушел раньше.

У своего дома она встретила Федора.

— Романа не видел? Не заходил он?

Федор помрачнел. Ему захотелось обругать ее и высказать все, что он думает о ней и ее Романе. Но в глазах

у Тайки была тревога, и вся она напоминала встрепанного воробья. И Федор пожалел ее.

— Заходил, кажется... Не знаю, но вроде заходил...

В первую минуту ей вздумалось зареветь, стоять посреди улицы и реветь. И не столько от горя, что не застала Романа, сколько оттого, что впервые за все время он зашел взглянуть на Егорку и не увидел его. Погляди он разок на сына — и Тайка успокоилась бы, пожалуй, не стала докучать ему, не стала бы выходить к риге, упрашивать и ругаться.

— Грибы я не выбросила, — сказала она, желая порадовать Федора.

Тот смотрел себе под ноги и хмуро о чем-то думал.

В понедельник утром Тайка достала из ящика комода новый платок с цветочками по белому полю, накинула его на плечи и вышла на дорогу. Она была уверена, что Роман сегодня не свернет по стерне, пройдет у ее дома.

Она простояла минут двадцать — его все не было. Потом из леса вынырнул грузовик, быстро стал приближаться, поднимая за собой дорожную пыль. Тайка прижалась к обочине и, когда машина поравнялась, чуть не вскрикнула от неожиданности: в кабине грузовика рядом с шофером сидел Роман. На какое-то мгновение она еще надеялась, что машина остановится. Но за ней продолжала клубиться серая пыль.

Она и тут нашла оправдание Роману: ехал в попутной машине, и ничего удивительного нет, что шофер не захотел остановиться. И все же было тягостно, что все так нескладно получилось.

Весь день настроение у нее было подавленное. И, под стать ее настроению, к вечеру небо нахмурилось, полил тягучий проливной дождь. С небольшими перерывами он лил всю неделю. Вечером перед выходным Тайка даже не вышла встречать Романа: не надеялась, что он пойдет в такую слякоть. В натопленной избе пахло душной сыростью. У Тайки все валилось из рук.

Роман появился сам. Было уже поздно, дождь надоеливо стегал окна. Он стоял у порога, промокший до нитки, в грязных сапогах. Тайка так растерялась, что смотрела не на него, а на лужу, растекавшуюся у его ног.

— Вот зашел, — сказал Роман. Достал из кармана промокший бумажный сверточек и протянул Тайке. — Просила петуха на палочке, принес...

Красный леденцовый петух с подтаявшим гребешком задрожал в Тайкиных руках. Роман чего-то ждал, а она не могла сказать ни слова.

— Пойду, — сказал Роман. — Грязища страшная, не проберешься скоро-то.

И опять Тайка молчала.

— Пойду, — снова сказал Роман и все так же в нерешительности топтался у порога. Лужа у его ног продолжала расти.

Тайка рассеянно положила леденцового петуха на шесток, достала из печки сковородку жареных грибов, а потом вытащила давно припрятанную на случай бутылку водки.

— Вот за это спасибо, — обрадовался Роман. Выпил, закусил и словно посмелел.

— У тебя я не останусь, просить будешь, чтобы жил, — говорил он, — а мне это сейчас никак нельзя. Что было — все...

— Перестань! — закричала Тайка. Закрыла лицо передником и заплакала.

— Что с тобой, ты что? — всполошился Роман, удивленный ее криком. — Ну, не получилось у нас... Разве ты одна такая. — Он попытался обнять ее — Тайка оттолкнула.

— Не хочешь, не надо, — спокойно сказал он, опять садясь к столу. Взял свежий огурец, лежавший на подоконнике, и с хрустом стал есть.

— Хоть грязища, а пойду, — снова заговорил он после молчания. — Может, лошадь достала бы...

Она взглянула на него, не сразу поняла, что он сказал. Потом кивнула.

— Посиди. Я сейчас.

— Что ж, посидеть можно, — снисходительно согласился Роман.

Тайка накинула фуфайку и побежала к бригадиру.

Дом Федора был в другом порядке, в конце. Выделялся он застекленной верандой вместо обычного открытого крыльца с козырьком. Резные наличники на окнах, сама веранда были покрашены голубой краской. Тайка хорошо помнила, когда Федор строился. Он привез тогда жену из Малахова, дальней деревни за рекой. Красавица была жена — высокая, чернобровая, с шелковыми густыми и длинными волосами. Тайка восхищалась ею, а когда слы-

шала деревенские пересуды, думала: «Завидуют. Красоте ее завидуют».

Недолго жили они. Таяла, блекла красота на глазах у всех. Лечил сначала фельдшер из Ивановского Андрей Кузьмич. Потом возил ее Федор в районную больницу, был у знаменитого профессора в области — мало что помогало. Умерла через два месяца после операции.

Жил теперь Федор с матерью и пятилетней дочкой.

Он уже спал, когда постучала Тайка. Пришлось ему подниматься с постели. Вышел всклокоченный, в наброшенном на плечи пиджаке.

— Ладно, запрягу, — сказал он, узнав, в чем дело. Она не заметила недовольства в его голосе и благодарно улыбнулась заблестевшими глазами.

— Спасибо тебе за все.

Когда вернулась домой, Роман сидел за столом и смотрел на спящего Егорку.

— Вылитый отец, — сказала Тайка. — Что нос, что глаза.

Ей было приятно, что он смотрел на сына, о чем-то думал. Показалось, что Роман сейчас опять такой же, как два года назад: сильный, ласковый. Два года, несмотря ни на что, представляла она его таким.

— Их, маленьких, никогда не разберешь, — запоздало ответил Роман. — Сначала вроде и на отца, а потом весь в мать.

— Посмотри получше, — сердито начала она и не договорила. Взгляд ее остановился на шестке. Там от жары медленно оплывал леденцовый петух, так неосторожно оставленный ею. Тайка подошла к печке и незаметно от Романа переложила остаток леденца в блюдце. Но потом и этого показалось мало: поставила блюдце на подоконник, боясь, как бы к утру, когда проснется Егорка, от леденца не осталась одна лучинка и лужица сладкой подкрашенной воды. Растай он — и уже ничто не напомнит о приходе Романа.

— Выбрось, — сказал Роман. — Как-нибудь занесу в другой раз.

Тайка пристально посмотрела ему в глаза: «Эх, Роман, опять ты ничего не понял!»

— В другой раз я тебя не пущу, — глухо сказала она, и опять ей захотелось плакать, не за себя — за сына, к которому Роман остался равнодушен.

— Не поймешь вас, баб. То бегаешь, как собачонка, теперь — не пушу. Да я, может, и сам не приду, мне теперь никак нельзя...

— Женишься, что ли, больно часто повторяешь?

— Это еще не решено... Может, еще и с тобой все налажу, может, еще у нас все по-хорошему получится. Как ты на это?

— Нет, Роман, не получится у нас с тобой, — грустно сказала Тайка.

Она прислушалась. Около дома скрипнула колесами повозка. Распахнулась дверь и ввалился злой Федор, в уже потемневшей от дождя брезентовой куртке, в картузе, с которого стекали ручейки. Он неторопливо отряхнул картуз, потом оглядел обоих, дольше остановился на Романе, на его мокром полупальто, грязных сапогах, и шумно вздохнул:

— Поехали, что ли, — хрипло сказал он.

Роман поднялся. Стала одеваться и Тайка.

— Оставь, — мягко задержал ее Федор. — Я сам...

Он вышел первым, Роман за ним. Тайка прильнула к окну. Она видела, как они уселись и Федор хлестнул лошадь кнутом.

Потом она опустилась на лавку, где только что сидел Роман, склонила голову на скрещенные руки и стала думать о том времени, когда еще жива была мать, когда жилось так хорошо и она много смеялась... Сейчас они, наверно, подъезжают к лесу, дальше пойдет болотина километров на пять, до самой деревни, где живет Роман. Подумать только, в Петровки они бежали туда! И ничего! Да и то сказать, девочками были... Пробрется ли Федор по такой грязи?

Лошадь шла тихо, осторожно ступая в раскисшую грязь. По бокам высились черные ели и плотный кустарник, гибкие ветки которого клонились к дороге. Дождь все сыпал и сыпал. Иногда лошадь задевала за ветки, и тогда их окачивало, как из ушата. Федор ежился и зевал, с Романом он не сказал и слова. А тот, закутавшись с головой своим полупальто, пробовал понять, почему нынче Тайка разговаривала с ним не как обычно и грозилась не пустить в следующий раз. Перемена в ней смутно тревожила его, тревожила тем, что он не мог разобраться, что с нею случилось.

Когда стали выбираться из болотины, Федор остановил лошадь.

— Самую грязь провез. Выходи.

— Что, уж до конца не можешь? — недовольно поморщился Роман. — Осталось ничего.

— Вот «ничего» и пройдешь.

Роман неловко спрыгнул, и сейчас же ноги поехали, он чуть не упал.

— Ну, спасибо и на том, — с обидой сказал он, понимая, что настаивать бесполезно: Федор сильно не в духе.

— Вот еще что, — сказал ему Федор, и в голосе его Роман услышал угрозу. — Не появляйся больше у Тайсии. Нашкодил — пес с тобой, но не дразни.

— А ты что со мной так разговариваешь? — огрызнулся Роман. — Муж ейный?

— Больше, чем муж... Увижу у деревни — вот этими руками задушу.

Роман не столько видел, сколько ощутил тяжесть вытянутых рук.

— Где же мне ходить? — сказал он.

— А где хочешь, — беспечно отозвался Федор. — Если тебе наша местность неизвестна, присоветую: мимо лесного пруда ходи. По тропке оно и суше.

— Эх, присоветовал! — с неловкой усмешкой сказал Роман. — Что это я лишний крюк буду делать?

— Торговаться с тобой не намерен, — объявил Федор, — а что сказал, обдумывай сам...

В деревне не было ни огонька. Поставив лошадь, Федор прошел до Тайкиного дома. В доме было тихо, и только капли, падавшие с крыши, звонко шлепали по большому плоскому камню, лежавшему у завалинки.

Чужой

1

Катер ткнулся в песчаный берег, заскрежетала галька о днище. Матрос, остроносый, рябой, в брезентовой, плохо гнущейся куртке, с веселыми глазами, неловко спрыгнул на землю, закрепил чалку за вывернутый корявый пень, похожий на хищную, поникшую клювом птицу. Ля-

мин в это время выдвинул трап, повернул его ступнями книзу и уткнул нижний конец в жесткий, хрустящий песок. Из рубки вышел механик. Втроем взяли с палубы тяжелые квадратные весы, поставили на трап и, придерживая, стали спускать юзом.

Нинка подтащила поближе рюкзак и корзину с посудой. Огляделась. На берегу было одно-единственное здание — просевший складской сарай с тусклым окошком в сторону моря. Сзади стоял лес, казавшийся непролазным: сначала густой ольховник с прошлогодним перепутанным малинником, потом темные ели. И хотя в дневнике у Нинки (она решила все лето вести подробный дневник) было записано: «На летние каникулы я устроилась приемщицей рыбы на Южный мыс, если бы кто знал, как я рада...» — почему-то радости она сейчас не испытывала. Лес глухо гудел, над ним нависла сизая туча; видимо, грянет проливной дождь.

Весы по гладкой доске соскользнули на землю, зарывшись углом в песок. Мужики подхватили их и, тужась и в то же время поглядывая на тучу, торопливо понесли к сараю, под навес. Потом они с такой же спешкой перетаскивали корзины под рыбу, большие кули с солью. Напоследок Лямин спустился в кубрик и вынес оттуда мешок с продуктами и закопченное эмалированное ведро. Нинку он упорно не хотел замечать.

— Прыгай, Каношина, — сказал механик. — Дальше некуда.

Нинка пошатнулась, когда сходила по трапу, рябой матрос ловко поддержал ее, засмеялся.

— Осторожно, лесная царевна... Тут-то еще можно споткнуться, только нос покарябаешь. Не споткнись, как Томка Зарубина...

Нинка резко вывернулась из его рук, покраснела. Сказала обозленно:

— Вахлак карпатый!

Матрос соорудил смешливую гримасу, взбежал вслед за механиком на катер и потянул за собой трап. Натужно завывала сирена. Матрос что-то кричал. По рябой роже было видно: охальное.

— Значит, Каношина? — Лямин стоял рядом и смотрел на катер, который развернулся и стал удаляться, оставляя за собой белые полосы взбаламученной воды. — Давай устраиваться, Каношина.

Он пошел к сараю, в переднюю его часть, которая была приспособлена под жилье. Здесь у стен были устроены широкие лавки-нары, у окошка стоял грубо сколоченный стол; с потолка из неотесанных горбылин свисала черная паутина. Тяжелая дверь в стене вела в склад, где, присыпанный опилками, лежал лед. Южный мыс служил перевалочным пунктом. Бригады, ловившие поблизости, сдавали рыбу сюда, не тащились каждый раз в поселок. Так было быстрее и удобнее. Отсюда рассортированную рыбу катер увозил на завод. На случай непогоды, других непредвиденных причин был оборудован холодильник.

Нинка не шла, и Лямин выглянул из двери. В стороне от сарая она ставила палатку, торопилась до дождя. Лямин удивленно смотрел на нее.

— Замерзнешь, да и комары съедят, что выдумала? Ляжешь в помещении, ничего с тобой не случится.

— Это для вас палатка, — пояснила Нинка, не переставая натягивать боковины и забивать колышки.

— То есть как? — поразился Лямин.

— Директор так сказал... Да вы не беспокойтесь, — поспешила она добавить, слишком уж растерянным казалось ей крупное лицо Лямина. — Тут спальный мешок есть, не замерзнете.

— Ну, директор! — Лямин тупо посмотрел на удалившийся, но еще видный катер, на едва заметный противоположный берег с темной кромкой леса и почувствовал бешеную злобу. — Ну, директор! — повторил он, от злости не находя других слов.

— Да что вы так испугались? — опять сказала Нинка, сияя улыбкой на узком, с рыжими крапинами лице. — Мы в походах всегда в палатке, и ничего.

— «И ничего», — передразнил Лямин, оглядывая ее худенькую фигурку. — Вот и спи здесь, если «ничего», а я буду в помещении. Корми комаров, да еще волки ночью нагрянут.

— А меня не испугаете, — дерзко ответила она. — Мне еще и лучше... И никаких тут волков нету.

— Давай, давай, — проговорил Лямин. — Действуй!

Он не мог пересилить себя и с раздражением думал о директоре рыбзавода Голикове, который упорно не хочет доверять ему, да еще при случае и издевается. Вот и сюда под видом приемщицы послал эту девчонку — согляда-

тая. Будто Лямин сам не может делать в журнале записи о приеме рыбы, сортировать ее.

— Ну, директор!

2

С директором у него не поладилось почти с первого дня...

С другом Лехой Карабановым Лямин был в строительном поезде, и тот, уволившийся раньше, все звал Лямина к себе, на берег Рыбинского моря, прельщал большими заработками. Лямин решился, поехал.

От Ярославля он несколько часов плыл на «Метеоре», потом в районном центре пересел на рыбзаводской катер, который и доставил его в поселок.

Место ему показалось скучным, заброшенным. Лето было сырое, и поселок с двумя десятками домов утопал в грязи. Море плескалось о глинистый обваливающийся берег и тоже казалось грязным. Но все это было еще ничто по сравнению с той новостью, которую Лямин узнал: дружок его Лешка, оказывается, женился и теперь перебрался куда-то под Рыбинск. А денег уже не было, чтобы двигаться дальше, нужно было устраиваться на работу.

От дощатого, на высоких столбах причала шел узкий рельсовый путь к рыбзаводу — длинному одноэтажному зданию с холодильными установками и коптильнями. Поживаясь от сыпавшейся с обложного неба сырости, Лямин направился туда.

Директор завода Валентин Николаевич Голиков был еще совсем молодым — небольшого росточка, со смуглым лицом и темными глазами, быстрый в движениях.

— Однако ты и поездил, — сказал он с откровенной завистью, разглядывая трудовую книжку.

Лямин не удержался от горделивой улыбки, почему-то сразу почувствовав превосходство над Голиковым.

— Романтика, — хвастливо пояснил он. — Влечение сердца.

Голиков бросил быстрый, пытливый взгляд на него, а потом, еще раз полюбовавшись на штампы и росписи, поднялся из-за стола.

— А я вот и не знаю, что это за штука, — с каким-то затаенным сожалением проговорил он. Скосил глаза на

слезящееся окно. Как раз мимо конторы проходили две женщины, в резиновых сапогах, в телогрейках — тащили пустые корзины, старались ступать осторожно по раскисшей земле. — Нет ее у нас, не видели, — закончил директор.

Лямину показалось, что ему хотят вернуть документы, и он испугался: в карманах не было даже на папиросы.

— Так это везде одинаково, — поспешил он сказать. — Видимость одна.

Голиков снова пытливо взгляделся, желая понять, что за человек стоит перед ним. Лямин был рыхлый телом, вздернутый нос и крупный мягкий подбородок придавали лицу беспечное, ребячливое выражение.

— Неужели нигде нету, только видимость? — повеселев взглядом, спросил Голиков. Он так и не составил определенного мнения о посетителе.

— Везде одинаково, — не сморгнув, подтвердил Лямин.

Через полчаса он шел по поселку на указанную квартиру. «А все-таки здесь встречают ничего, жить можно», — удовлетворенно думал он. Голиков распорядился выдать аванс в счет будущих заработков и спецовку. Особенно радовали Лямина болотные резиновые сапоги с раструбами, таких он еще не носил.

На радостях он даже постарался забыть обидную встречу возле склада с каким-то странным человеком. Рослый, крепконогий, без пиджака и с расстегнутым воротом серой рубахи, тот шел навстречу, размахивал руками и говорил сам с собой. Возле Лямина он приостановился, окинул тусклым взглядом всю его фигуру с сапогами и брезентовой робой под мышкой и вдруг отчетливо сказал:

— Прохвост!

Или спутал с кем, или вовсе сказанное не относилось к нему, но Лямин счел нужным ответить:

— Ты что, дядя, завеселел до невозможного?

— Поговори у меня, — не оборачиваясь, пригрозил тот. — Только поговори! — и широкие плечи у него дернулись.

Лямин сробел: все-таки был новичком и лезть сразу на скандал было опасно. «После узнаю, кто такой».

Поселили его у стариков Горбунцовых, которые жили в доме, принадлежащем заводу. Домик был чистый, с па-

лисадником под окнами. В палисаднике росли мальвы; вымытые дождем цветы лепились к стеблю со всех сторон и напоминали громкоговорители, которыми увешивают столбы на райцентровских площадях.

Хозяева жили одиноко и хорошо встретили Лямина.

— И ладно, родимый, нам повадней, — выслушав объяснение, приветливо сказала хозяйка, Лидия Егоровна. — Дедушка-то мой совсем одичал, — продолжала она. — Какая я ему собеседница!

Лямин оглядел сухонького старичка в расстегнутой ватной телогрейке и в валенках с галошами. Тот тоже ласково присматривался слезящимися глазами.

— Давай, дед, знакомиться, — весело сказал ему Лямин, крепко сжимая холодные негнущиеся пальцы старика. — Поговорить у нас будет о чем...

— Василием Никитичем его зовут, — сообщила хозяйка.

Василий Никитич вдруг торопливо начал застегивать пуговицы на телогрейке. Сморщенное, заросшее серой щетиной лицо стало озабоченным.

— Пошел я, Лидея, — бодро сообщил он.

— Поди, родимый, поди. Проветрися, — заботливо откликнулась Лидия Егоровна.

Поднимаясь вслед за ней по ступенькам крыльца, Лямин спросил:

— Куда это он направился?

Хозяйка махнула рукой.

— А и сказать нехорошо: никуда. Покрутится возле дома и вернется. Все делает вид, что занят, кому-то нужен. А уж кому нужен, в восемьдесят-то лет. Сторожем был при заводе, теперь устает, все больше лежит.

Из просторной, светлой комнаты с цветами на подоконниках она провела Лямина в уютную боковушку с одним окошком на улицу. Стояла старинная, с никелированными шишками кровать, крошечный стол, шкаф для белья. Лидия Егоровна принесла из своей комнаты еще и стул. Лямин устраивался, а она стояла у перегородки, жалостливо наблюдая за ним. Она жалела его, как жалела всех, не имеющих постоянного пристанища.

— Квартира мне вполне подходит, — сказал Лямин. — Еще, мамаша, узнать бы, где у вас магазин, и тогда все в ажуре.

Когда он вернулся, на столе стоял самовар, хозяева

ждали его. Лямин выставил большую бутылку красного вина.

— Зовется колдуньей, — подмигнул он Василию Никитичу. — Хряпнем со знакомством.

— Не пьет он у меня, — вмешалась Лидия Егоровна. — И молодым не пил... Мы раньше-то в колхозе под Вельегонском жили. Затопило море нашу деревню, сюда вот перебрались. Из карелов мы. Вся наша деревня карельская была...

— Ну, а мы русские, нам отцами завещано пить, — не поняв ее, сказал Лямин.

— Преснечиков попробуй, — предложила Лидия Егоровна, подвигая к нему противень с ватрушкой, густо намазанной перетопленной сметаной. — Все хочешь спросить: родители твои где?

— Родителей у меня нет, — опорожнив стакан, ответил Лямин. — Отца не помню, был ли... Мать умерла. Тихая у меня была матушка, всего боялась... Теперь один, как в поле воин.

— Как же, родимый, — посочувствовала старушка, — плохо одному.

Большая бутылка вина и закуска, поставленная хозяйкой, действовали на Лямина умиротворяюще.

— Ничего, — благодушно отозвался он. — Огляжусь да и найду жену. Есть тут подходящие?

— Как не быть!

Лидия Егоровна приняла его слова всерьез, достала откуда-то с полки альбом с фотографиями.

— Имя-то вертится, — говорила она, перелистывая альбом, — а назвать не могу. На модные имена память у меня слабая. А хорошая девушка. Взгляни-ка.

Смешливая, полнощекая девушка смотрела с фотокарточки. Лямин удовлетворенно хмыкнул:

— Подходит. Тоже, что ли, из карелов?

— Томка-то?.. Смотри-ка, и вспомнила. Томкой ее зовут... Нет, отец и мать у нее карелы, а она русская. Родственницей еще доводится нам. Зарубина ее фамилия. Томка Зарубина.

Лямин не понял.

— Приемная дочка, видно?

— Почему приемная? — простовато удивилась Лидия Егоровна. — Своя. Десятилетку окончила. Наша-то, старая учительница, как научит читать и писать, говорит ре-

бятam: «Вот теперь вы русские...» Так и привыкли. А Томка десятилетку закончила и в райцентре работает.

Услышав о работе, Василий Никитич забеспокоился, стал выбираться из-за стола.

— Пошел я, Лидея, — торопливо сказал он.

— Поди, поди, родимый, — ласково напутствовала его Лидия Егоровна. — Проветрися,

Лямин засмеялся.

3

Записали Лямина в рыболовецкую бригаду. Спозаранку уходили в море, где стояли сети. Ловили неподалеку от заболоченных, поросших тальником и осокой островов. Если случались безветренные дни, над водой стлался туман, все дышало покоем, и только крики чаек, кружившихся поблизости, вспугивали тишину. Но чаще стояла волна, и тогда море было неуютным, серым. Оно даже шумело, как настоящее. А уж мотало — всю душу перевертывало. В такие дни лодки сбивались в караван и шли вместе с большой предосторожностью. На Лямина наваливалась тоска, и он с нетерпением ждал, когда лодки причалят к берегу, когда можно будет улечься на кровать и бездумно смотреть в потолок, прислушиваясь к шепоту хозяев. Они старались не тревожить его покой.

Иногда он думал: чего ему не хватало в прежней жизни, что гнало с места на место?

К поселку и рыбакам он привыкал трудно. В поселке было попросту скучно, а рыбаки не спешили открывать душу, как будто даже сторонились его.

Бригадиром был Михаил Семенович Кибиков, мужчина лет под пятьдесят, с кустистыми лешачьими бровями неимоверной длины. Был он угрюм с виду, говорил мало и только по делу. На Лямина он не обращал внимания, считая, очевидно, что с новичка и спрос невелик, что делает, то и ладно. А того обижало, и все казалось: бригадир недоволен им и только не знает, как изгнать из бригады.

Раз они были вдвоем в лодке, выбирали сеть. Попала крупная щука. Лямину надо было бы перекинуть сеть в лодку, а он стал выпутывать рыбину прямо за бортом. Щука вильнула хвостом и ушла. Лямин насторожился,

ожидая от бригадира каких-то слов. Но тот промолчал, и это было еще хуже.

Удручало еще и то: сетей ставили много, и Лямину порой казалось, что ими опутано все море, но рыбы привозили мало. Рыбаки беспечно успокаивали себя:

— Раз на раз не приходится, потом возьмем.

«Вы свое возьмете, у вас у каждого свое хозяйство, а мне заработок нужен», — думал Лямин.

Жили рыбаки своей, улаженной жизнью, мало отличавшейся от деревенской. В каждом доме держали коров, мелкий скот, а это накладывало дополнительные заботы — надо было заниматься огородом, заготавливать сено. И разговоры были о том же, совсем неинтересные Лямину. Даже со сверстником своим, Николаем Егоровым, хорошо знавшим Лешку Карабанова и дружившим с ним, он не мог сойтись. Однажды всей бригадой решили устроить складчину. Взяли бредень, провели по отмели раза два, а потом закладывали в котел еще трепещущихся лещей, судаков, налима для сладости. Пока варилась уха, Лямин лежал на траве, курил. Был выходной день, и по поселку ходили принаряженные женщины. Он смотрел на них с берега, где мужики расположились с костром, и вдруг подумал о Томке Зарубиной, которую видел на фотокарточке. А почему бы ему и не жениться? Хватит, побродил по белу свету, пора и осесть. Что к нему здесь неприветливы? Какая беда! Он же ни разу не слышал ни одного худого слова.

И так эта мысль ему пришла по душе, что он развешился. К тому же яркое солнышко, уха — все располагало к приятному разговору. И он разговорился — о себе рассказывал: где побывал, что видел. Но на самом интересном месте, и не кто иной, как Николай Егоров, озабоченно посмотрел на часы и сказал:

— Ох ты, время идет! Естественно, надо бежать.

Как-то вкусно произнес он это «естественно», чем еще больше обидел Лямина.

У Николая, как и у других, тоже была семья, свои заботы. Какое ему дело до рассказов Лямина.

По субботам команда рыбзаводского катера мыла палубу, надраивала металлические поручни. Старенький ка-

тер начинал блеснуть. В этот день рыбаки с семьями отправлялись в районный Дом культуры. Когда объявлялся интересный фильм или концерт заезжих артистов, катер делал и два, и три рейса.

Под руку с разнаряженными женами поднимались рыбаки на борт. В такую минуту и подступиться к ним было как-то неприлично — нарушишь всю торжественность случая. И Лямин сторонился их.

В одну из поездок он увидел девушку в коричневом плаще, которая стояла на корме и была так же одинока. Что-то было знакомое в тугих щеках, в выражении зеленых глаз, в линии упругого подбородка. Он вспомнил фотокарточку у Лидии Егоровны. Да, это была Томка Зарубина. Лямин подошел.

— Здорово, суженая!

Девушка с любопытством пригляделась. Она была не такой уж юной, какой казалась на фотокарточке, — было ей лет двадцать пять. И еще заметил тоску в глазах.

— Вы ко всем так подходите? — с легкой усмешкой спросила она.

— Никогда! Только по выбору. — Лямин красовался. На нем был вполне приличный костюм, отглаженный заботливой хозяйкой, белая рубашка с галстуком, в кармане имелись деньги. Чувствовал он себя уверенно.

— Значит, выбор пал на меня? Почему? — Глаза ее так и оставались печальными, и спрашивала она без видимого интереса.

— Решил: одна, как в поле воин. Такой же и я... — бодро сказал Лямин. — А на фотокарточке вы, Томочка, веселее. Когда показали, понял: как раз по мне. Суженая! Все в ажуре.

— Тетя Лида старалась, — догадливо заключила Тамара. — Так это вы и есть ее постоялец?

— Полный порядок, Томочка. Он самый... В кино сидим вместе.

— В одном зале, — подтвердила она.

Но он все-таки ухитрился сесть рядом и даже танцевал с нею.

Когда катер высадил пассажиров и все пошли к Дому культуры, здание которого виднелось в глубине парка, Лямин быстрым шагом направился по центральной улице к магазину. Там он взял две бутылки вермута. Одну тут же в парке, за деревом, опорожнил, вторую убрал в

карман. В зал он вошел перед самым началом сеанса и тотчас увидел Тамару. Она кого-то беспокойно выглядывала. У Лямина хватило ума догадаться, что ищет она не его. Но как только погас свет, он поспешил к ней и сел на свободное место. Признав его, Тамара отчужденно отодвинулась.

Показывали довоенный фильм «Близнецы», где две хорошенькие девушки, сестры, приютили потерявшихся близнецов. Кроме них в фильме были два моряка, два чудака — отец и сын, и еще забавный Еропкин, профессия которого, как он сам говорил, руководитель. Лямин смеялся от души, повторяя иногда: «Ну, умора!» Даже грустная Тамара под конец развеселилась и вздохнула с облегчением, когда между девушками, моряками и чудаками все благополучно разъяснилось.

После фильма в фойе начались танцы под радиолу. Тамара все так же выглядывала кого-то, была озабочена. Лямин пригласил ее на вальс, и она не отказалась. Но во время танца вдруг торопливо сказала: «Извините!» — и решительно высвободилась из его рук.

Тамара шла навстречу парню, который только что вошел с улицы. Парень был хорошо сложен, нейлоновая легкая курточка и брюки-клеш ладно сидели на нем. Худощавое, с капризным выражением лицо тоже было красивое. Видимо, Тамара хотела танцевать, но парень мотнул головой, и тогда они отошли в сторону.

Лямин так и остался посреди зала, тупо смотрел на парня и раздумывал, не подойти ли и не стукнуть ли по красивой физиономии. Но для этого нужно, чтобы хмель как следует затуманил голову, и поэтому он решил выпить вторую бутылку. Он вышел из Дома культуры, прошел в парк и там, среди деревьев, сел на лавочку. Трава уже стала сыреть от росы, воздух был чистый, влажный. Лямин слушал доносившуюся музыку и отпивал из горлышка. Он уже свыкся с тем, что будет любить Тамару, потом женится на ней. Появление парня его особенно не беспокоило. Вот сейчас он вернется, нахлещет ему, и она сразу поймет, с кем ей надо быть. Пустую бутылку он сунул в карман, на всякий случай.

В фойе танцевали. Но сколько ни смотрел Лямин, ни парня, ни Тамары не было. Тогда он снова вышел на улицу и помчался по аллее. Он пробежал весь парк, центральную улицу — Тамары нигде не было. Подумав, что

она, может быть, на пристани, пошел туда. Рыбзаводской катер увез первых пассажиров в поселок и еще не вернулся. Лямин бродил по берегу, бесцеремонно и зло подходил к парочкам, которые прятались от людского глаза, — Тамара как сквозь землю провалилась. В Доме культуры стали гаснуть огни.

Подчалил катер. Расталкивая пассажиров, Лямин пробрался на корму и там сел на скамейку, почувствовав, что устал. Он задремал. А когда очнулся от холодного ветра, катер уже подходил к поселку, тускло светившемуся огнями. Он поднялся, поживаясь, и вдруг недалеко от себя увидел Тамару. Она невесело улыбнулась ему.

— Разреши проводить тебя, невидимка, — попросил он.

Тамара пожала плечами.

Жила она в двухэтажном, тоже принадлежавшем заводу доме. Несмотря на поздний час, возле дома гуляли подростки. Голенастая девчонка с жадным любопытством оглядела Лямина и Тамару, что-то сказала подружке, и обе фыркнули. Не обращая на них внимания, Лямин обнял Тамару, попытался поцеловать. Девушка резко оттолкнула его.

— Ты чего, суженая? — удивленно спросил он.

— Суженая, да не тебе, — сердито ответила Тамара.

— А, понимаю, — ненавистно проговорил Лямин. — Я ему голову оторву. Как увижу, оторву. — Он только сейчас вспомнил о пустой бутылке в кармане. Выхватил ее и со злостью швырнул об угол дома.

— Вояка, — спокойно сказала Тамара. — Иди пропись.

— Васька проспится, пижон никогда, — сказал Лямин и опять потянулся к девушке. — Дай поцелую! Все равно никуда не денешься — судьба. Двое, как в поле воины.

Тамара вбежала на крыльцо, хлопнула за ней дверь. Лямин, сообразив, что упустил девушку, махнул рукой и дурашливо пропел:

Тары-бары, растабары,
Хороши у нас амбары,
Еще лучше риги...
Не хочешь ли фиги!

Подростки, наблюдавшие за ним, прыснули веселым смехом.

— Вот я вас! — пригрозил он.

Те с радостным визгом бросились врассыпную.

5

Начались холода, с дождями, со снежной крупкой. Рыбаки возвращались иззябшие, промокшие до нитки, но довольные — рыба шла.

Еще там, в строительном поезде, Леха Карабанов хвастал, что рыбаки зарабатывают большие деньги. Если бы Лямин представлял тогда, как они достаются, эти большие деньги...

Перед самым ледоставом бригаду увезли на плавбазу — старое судно, что стояло на приколе среди всплывших торфяных островов. На зимовку рыба шла к этим островам, здесь ее добывали из-под льда.

Но пока льда не было. Был ветер, пронизывающий до костей, был холодный, нудный дождь. По-прежнему ставили с лодок сети, окоченевшими руками освобождали рыбу, запутавшуюся в ячеях. Каждый день к рыбакам на плавбазу приходил катер. Потом лед установится — станут прибывать подводки, а когда совсем окрепнет — будет летать самолет.

Приход катера всегда был радостью. Команда рассказывала рыбакам, что делается в поселке, передавала гостинцы из дома. Однажды рябой матрос окликнул Лямина, который всегда в таких случаях старался не показываться.

— Держи! Горячие пироги для тебя.

Пироги были холодные, но все-таки это было домашнее, вкусно приготовленное печево. Прислала Лидия Егорова.

Лямин как-то незаметно для себя приободрился, стал более уверенным. Но и то ненадолго.

Мимо их плавбазы прошел небольшой рыболовный траулер. С борта его что-то кричали. Рыбаки как раз возвращались с лова, еще не вышли из лодок. Все поднялись на борт траулера. Это было научное судно, которое пробовало ловить рыбу электрическим тралом. Пока рыбаки разговаривали с капитаном, Лямин ходил по судну, любопытствовал. На палубе, на ящике, сидел светловолосый парень в фуфайке, зимней шапке и замерял рыбу линейкой. Размеры каждой рыбины он записывал в тет-

радь. Рыбы на судне было много, причем разной. Прямо на палубе небрежно был брошен судак, при виде которого у Лямина округлились глаза. Судак весил не менее десяти килограммов и был похож на заживевшего поросенка. Лямин огляделся и, увидев, что на него не обращают внимания, быстро переправил рыбину в лодку, засунул в носовую часть и прикрыл брезентом. Рыбы на плавбазе хватало, она надоела, сделал он это больше потому, что судак поразил его своей величиной.

Когда отъехали от судна, Лямин выбросил судака под ноги бригадира. Тот поднял тяжелый, лешачий взгляд — в первую минуту не догадался, в чем дело. Но рука уже поворачивала руль.

Шли обратно к траулеру. Лямин был бледнее полотна от испуга и злости, от того, что сейчас может произойти.

Тот же светловолосый парень в зимней шапке принял судака от бригадира. И вроде бы ничего не произошло, никто не проронил ни слова. А Лямину было трудно дышать, смотреть в глаза рыбакам.

Вечером, за ужином, в полутемном кубрике рыбаки говорили о том, что если удастся наладить электролов, при котором рыба меньше тридцати сантиметров не попадает в сеть, то это будет здорово. Ученые еще хотят, чтобы рыба каждый раз шла одной породы: надо тебе леща — настраивай удар тока на него, синца — повернул рычажок, и идет синец.

— А Алексей-то Михайлович опять начудил, — неожиданно сказал Николай Егоров. — Ребята рассказывают, ворвался к Голикову, кричал, что стекла звенели...

— Да ведь и время. Со Дня рыбака о нем не слышали, — спокойно проговорил бригадир.

Лямин понял, что разговор идет о Тарабукине, том самом человеке, с которым он столкнулся в первый день своего приезда у склада и был огорошен ругательствами.

— Этот, ваш ругатель, наверно, надоел всем, — сказал он.

— Может, кому и надоел, — ответил бригадир, стаскивая сапоги и забираясь на матрац, обшитый серой холстиной. — Только не будь теперь его — в поселке скушнее станет. Каждый человек что-то добавляет от себя. Вот хоть и тебя взять...

Лямин посмотрел на него, ожидая, что сейчас начнет главное: ему выскажут все, что думают о нем, — но

бригадир лежал, устало прикрыв глаза, и продолжать разговор не собирался. Николай Егоров листал «Огонек» и дымил сигаретой, другие тоже укладывались. Слышно было, как об обшивку судна хлупает вода, за иллюминаторами была мутная синь.

Но главное все-таки началось, и шло от Николая Егорова. Он выходил перед сном на палубу; вернулся, зябко кутаясь в пиджак.

— Видать, снова ветра ждать, — хмуро сказал он. — Ну и погодка!

И потом, уже раздевшись, забравшись под одеяло, стал вспоминать.

— В такую же вот погоду случай один был... неподалеку от нас, в Еремине. Поселок вроде нашего, только завода нету, ну и глушь, естественно. У нас ведь как — кто долго-то работает... и ни колышка, ничего не видно, а все равно знаешь, где сеть твоя. И если кто трогал ее, тоже узнаешь. Тут, брат, привычка вырабатывается, чутье... Так вот, стали мужики замечать — трогает кто-то их сети! На ячеях еще слизь осталась, а рыбы нету — значит, проверяли недавно. Да...

Он потер заросшее щетиной лицо, красное, нахлестанное ветром.

— Люди, естественно, взбудоражились, — продолжал он, помолчав и не замечая, что Лямин настороженно притих, приглядывается к нему. — Как уж у них было, врать не буду, свидетелем не был, но обнаружили вора. Ведь что делал? Перещупает сети — и в условленное место едет, подальше чтобы от поселка. Там его на лодке дружки ждут, рыбу переваливают к себе в лодку, а он пустой домой возвращается... Да, я тут не сказал, что он был сам рыбак поселковский — у своих, естественно, крал. В поселке-то он, правда, недолго жил, пришлый... Из бакенщиков откуда-то...

— Что же ему было? — раздраженно спросил Лямин.

— А ничего не было...

«Занятные вы, черти, — с тем же раздражением подумал Лямин. — Вот и мне нынче ничего не было... молчали все, а на ночь глядя — сказочку поучительную про какого-то пришлого бакенщика».

— Уж, наверно, пропесочили, как следует?

— Да нет, — потягиваясь и зевая, сказал Николай. — У них все как-то по-иному получилось. Вот в такую же

погодку возвращались караваном, к берегу пристали, глядь, а одного нету... Того самого рыбака, лодка его последней в караване шла.

— Де-ла! — протянул Лямин с растерянной ухмылкой. — Что же его, ветром сдуло?

— Вот и их всех спрашивали: не сдуло ли ветром, не перекувырнулся ли — всякое бывает... — Николай опять зевнул, посмотрел на сигареты, лежавшие возле на столе, — видимо, раздумывал, стоит ли еще закурить на ночь.

Лямин недоверчиво сказал:

— Не могло все этим кончиться. Что его, и не искали?

— Допрашивали, искали, но никто не мог ничего сказать. А найти — где найдешь! Кабы в пруде — можно поискать.

— Веселенькая история: человек пропал и никому ничего.

— Почему никому? Бригадиру было... Как он отвечает за людей, вот его и судили. Пять лет дали...

— Веселенькая история, — опять повторил Лямин.

После мрачного рассказа ему стало не по себе. Вот так же сбросят, и никто следов не найдет — у них круговая порука. Бригадира Кибикова посадят на пять лет, а он будет у рыб. Ночью ему представился судак; большой, как поросенок. Судак плавал возле него и все норовил задеть хвостом по лицу. Потом хвост превратился в страшные щупальца осьминога — таких осьминогов рисовали раньше в детских книжках. Лямин мгновенно облился холодным потом: в темноте он увидел перед собой белую фигуру.

— Кто это? Что? — закричал он, вскакивая.

За бортом слышался грохот бушующих волн, судно покачивало. Белая фигура, оказавшаяся бригадиром Кибиковым, проговорила:

— Спи... спи... нечаянно. Господи, что делается! Перекрутит сети...

Испуг сделал свое дело. Как-то Лямин неловко оскользнулся и упал в ледяную воду. Воспользовавшись этим, он запросился в поселок. Простудился он легко, температуры почти не было — с рыбаками такое случается часто, — но ему не перечили.

Директор Голиков недоверчиво смотрел веселыми цыганскими глазами, когда Лямин, жалуясь на боли в спине, просил подыскать ему другую работу. Он, наверно, и совсем уехал бы из поселка, если бы не наступившая зима. Да и чувствовал, хотя его здесь и не приняли, тягу к этим людям, которые живут своим миром и, видимо, знают что-то такое, чего не знает он.

Голиков поставил его на разные работы: когда требовалось, помогал на складе, большей же частью находился в столярной мастерской — сколачивал ящики. Работа была однообразная, но легкая и неспешная. Правда, и заработок был не как в бригаде.

Голиков несколько раз заходил в мастерскую, будто случайно, по пути, но Лямин подозревал, что тот все приглядывается к нему. А чего приглядываться, когда он весь на виду, хочет жить в свое удовольствие: нравится — работает, надоедает — едет на другое место, семейного хвоста за ним не тянется, сам себе хозяин.

Здесь, в мастерской, произошла у него как-то встреча с Алексеем Михайловичем Тарабукиным, механиком по ремонту судовых моторов и «ругателем». Специалист он был превосходный и за это уважаемый, но иногда на него «накатывало» — так говорили в поселке: становился раздражительным, мог кричать по пустячному поводу, ходил в это время на своих крепких ногах быстрым, упругим шагом, рассуждал сам с собой. В эти дни лучше не попадаться ему на глаза. Для Лямина механик был самым непонятным человеком в поселке, и он его побаивался.

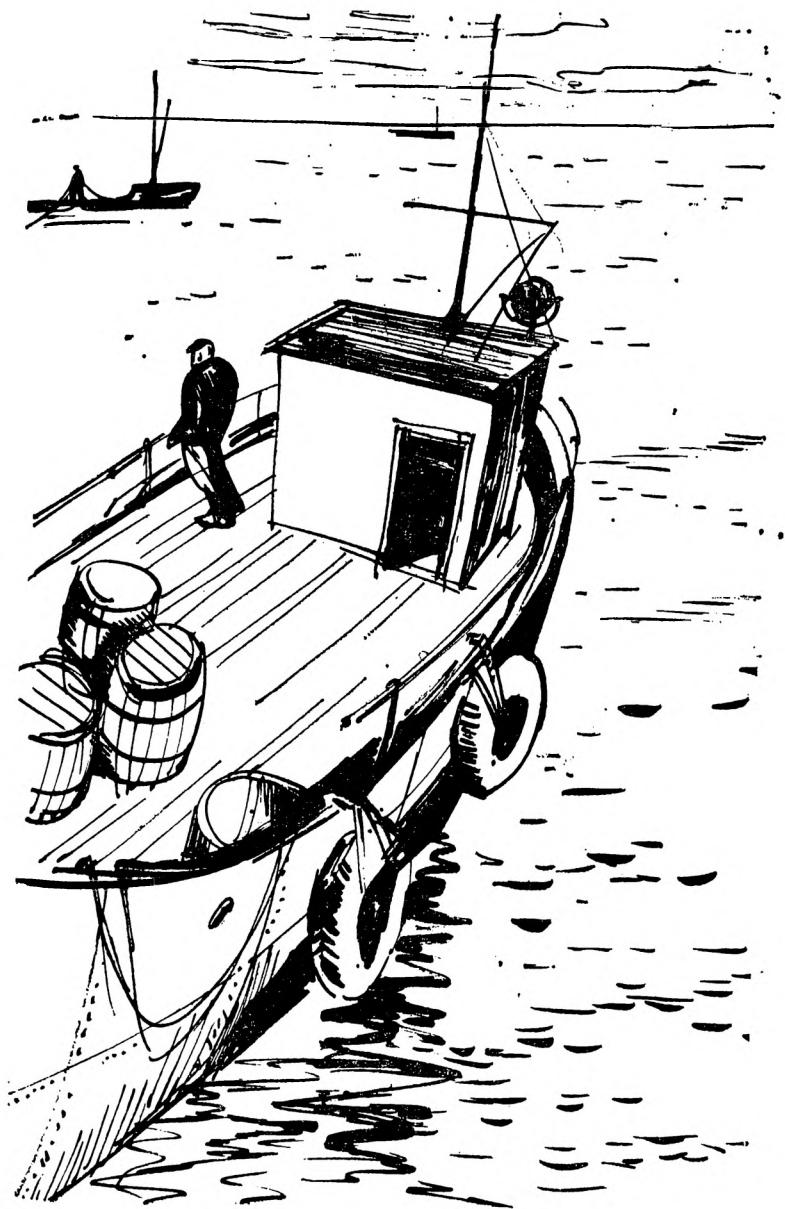
Лямин подгонял очередную планку на ящик, когда увидел Тарабукина. Тот, как вкопанный, остановился, взглянул светлыми, с сумасшедшинкой глазами. Был он в замасленной машинным маслом телогрейке, весь крупный, тяжелый, в тяжелых же сапогах.

— Ты чем занимаешься? — отрывисто и хрипло спросил он.

— Разве не видно? — ответил Лямин, робея всей его крупной фигуры.

— Мне не видно.

«Разуй глаза пошире», — хотел сказать Лямин, но побоялся, покорно пояснил:



— Ящики колочу...

— Зачем?

«О том начальство спроси — зачем?» — снова хотел ответить Лямин и опять побоялся: механику явно хотелось к чему-то прицепиться и начать ссору, может, драку. В руках был молоток, но один вид тяжелых сапог Тарабукина вызывал холодный озноб. Лямин склонился над ящиком.

— Лягушатник! — отрывисто крикнул механик и пошел к выходу.

«Почему лягушатник? — подумал Лямин, оторопело глядя вслед Тарабукину. — Чертовщина какая-то! По поселку свободно разгуливает сумасшедший — и никому ничего. А такой и задушить может, не успеешь пикнуть».

Работа настолько опротивела, что приходилось заставлять себя идти в мастерскую. Зима выматывала своей скукой. У Горбунцовых была та же скука.

Василий Никитич сдал еще больше, хотя и бодрился. Теперь он надевал мохнатую шапку с вытертым верхом, заскорузлый полушубок. Несколько раз на дню говорил:

— Пошел я, Лидея!

— Иди, родимый, иди. Проветрися, — каждый раз провожала его Лидия Егоровна.

Все это Лямина раздражало до бешенства. Однажды он сказал старику:

— Да иди! Что ты все спрашиваешься? Будто кто держит!

Василий Никитич с тех пор стал робеть Лямина. Притихла и Лидия Егоровна, суще относилась к нему, хотя и оставалась такой же заботливой.

С Тамарой Зарубиной встретиться не удавалось. К тому же по поселку поползли слухи, будто она попала в беду, скоро должна родить, а отец никак не сыщется. Лямин вспоминал красивого капризного парня и жалел, что тогда в парке не нашел его и не стукнул бутылкой.

Весной Лямин попросил Голикова перевести его из мастерской. Опять-таки что-то удерживало его в рыбацком поселке, хотя мог уехать. Директор задумался, и его веселые цыганские глаза уже не смеялись.

— И здесь не ко двору? — словно удивляясь, спросил он. — Ну да ладно, найду тебе работу.

Так Василий Лямин вместе с Нинкой Каношиной попал на Южный мыс.

Нинка длинной веткой обмахнула потолок, подмела пол. На окно повесила занавеску. Стало светлей и уютней.

Лямин сидел за столом, резал на газете сыр. Завтра приедут рыбаки, привезут рыбу, можно будет сварить уху, сегодня придется ужинать всухомятку. К сыру он еще открыл банку кабачковой икры.

За окном бушевала гроза. С каждым раскатом грома Нинка замирала. Худое, с рыжими крапинами лицо было бледно, острые плечи подымались.

— Садись, Каношина. Брось хлопотать, — сказал Лямин, испытывая удовольствие оттого, что он старший и может заботиться о ней. — Ну и фамильяре у тебя! Ты в каком классе учишься?

— В восьмой перешла. А что?

— Ничего. Тангенсы-котангенсы изучаешь? Помню, бывало, и я...

Сильный удар грома заставил Нинку пригнуться. В оконное стекло хлестнул плетью сильнейший ливень. Сразу потемнело. Лямин оглядывал Нинку, одетую в потертый лыжный костюм, и усмехался.

— Как же там, в палатке, спать будешь? Со мной сидишь, и то сердце в пятки ушло.

— Вовсе не ушло, — заносчиво сказала Нинка и села к столу. — Как поутихнет, только меня и видели. Ишь, чем испугать хотите!

Нинке давно хотелось что-нибудь написать. В поселке летом было бы веселее, там подруги, но что напишешь в поселке — все известное! А здесь она обязательно напишет. Вот даже от грозы жутко стало. Об этом, как ей жутко, она и напишет...

— Разве это гроза? — снисходительно говорил Лямин, поддевая ложкой кабачковую икру. Вот, помню, на Украине был... как же эта область-то... там сады, хатки... вылетело! Ну, неважно! Судьба, значит, забросила... Футбол идет мировой, наши играют чи с югославами, чи еще с кем... И гроза! Ну, скажу я тебе, грозища была! Земля трескалась. Я приемник включил, а хозяйка: «Цыц, дом подожжешь, молния ударит! Отключай скорей!» Плевал я на нее. Она в крик, а диктор: «Удар! Го-ол!» Вот гроза была...

Нинка зачерпнула кабачковой икры, намазала на хлеб. Ела она стеснительно, прикрывая рукой маленький рот.

— А вы везде бывали, да? — наивно спросила она.

— Я-то? — Лямин коротко, с подозрительностью посмотрел на нее — в желтых расширенных зрачках увидел любопытство, и он приосанился: наконец-то можно излить душу.

— Да уж бывал, — сказал он с бахвальством. — Вот на целину мы целым эшелоном ехали. Начальнички наши, это уж явно, вперед на каждую станцию телеграмму: спиртного не продавать, и баста! И не продавали. А в одном месте — маленький такой городишко — чи не получили, чи крест положили на их писульку... Приезжаем, карабкаемся на гору — вокзал у них на горе — море разлитое! Что ты хошь: и пиво, и всякое другое. Ясно, у стойки местные тёпы жмутся. Мы их за ошорок — откинули, надо думать. Нежимся, кому что... Лафа! Потом, слышим, крик! Это местные тепы с ближних улиц собрали себе подмогу. Ух, и драка, скажу тебе, была! Закачаешься! Один схватил со стены пожарный багор и на нас... Догадался машинист паровоз тронуть. Что делать, повскакали мы в вагоны, орем, и они орут. Жаль, догадался машинист, а то бы дали им.

— А на целине — там интересно было? — спросила Нинка. Рассказ о драке ей не понравился.

— А чего, — сказал Лямин. — Пахали, сеяли.. Может, капельку выпьешь? Все-таки с прибытием.

Нинка замотала головой.

— Вы лучше что-нибудь о целине расскажите.

— А я и говорю: пахали, сеяли. — Он выпил, лениво пожевал сыр. Рассказывать не спешил: вечер долгий, слушатель, как видно, попал добросовестный, не то что Николай Егоров тогда на берегу — Нинке к корове спешить не надо.

— Звезда там утром всходит, — с ленцой в голосе продолжал он. — Венера называется, утренняя звезда. Прямо на глазах снизу вверх поднимается, что тебе ракета пущенная. Только, конечно, медленнее поднимается...

— Ой, как интересно! — радостно воскликнула Нинка, тут же решив, что о звезде обязательно надо записать в дневник. — А еще? — жадно спросила она. — Что-нибудь еще?

— Что еще? Сказал же: пахали, сеяли...

— Расскажите, где вы еще были?

— Ну! — рисуясь, произнес Лямин. — Ты спроси, где я не был... После школы меня матушка на радиозавод устроила. Полмесяца проходит, все зарплату идут получать, а мне не выписали. Матушка спрашивает: «Чего денег не принес?» — «Не выписали». — Ответ точный. Ладно... Еще полмесяца проходит. Опять, отвечаю, не выписали. На третий месяц матушка сама на завод пришла. Не поверила. В отделе кадров ей говорят: «Не может того быть, что-то путаете. Вот он в какой цех направлен». Матушка в цех, к начальнику. А у того тыща народу работает. Все же посмотрел списки. «Нету, — говорит, — такого, ошиблись, гражданочка». Она его за руку — и на конвейер. А я там, как миленький, сижу, шурупчики отверткой завинчиваю. Матушка говорит начальнику: «А это кто?» Меня, ясно дело, на конвейер посадили, а вписать не догадались. Ну, сразу за все время зарплату начислили. Купил я себе костюм, помахал ручкой этому заводу, потому как обижен был — человека потеряли! — и адью: поехал мир смотреть... Вот недавно про новый завод кино смотрел, там — другое дело: рабочий в автомобиль заберется, закручивает свои положенные гайки, а он, этот автомобиль, движется. Операцию свою парень закончит, возвращается на место, у него еще время хватает девчонку, соседку, щипнуть. Тут можно работать...

— А потом? — спросила Нинка, подумав, что и это надо запомнить и записать. Не к чему, конечно, упоминать, как на конвейере успевают щипать девчонок, но все остальное интересно.

— Потом много всего было, — сказал Лямин. Лицо у него покраснелось, глаза стали влажными. — С геологами ходил, в строительном поезде работал.

— С геологами зачем ходили?

— Ходили. Чего-то искали. Я там к крале одной шары подбивал, так, того этого, мало приходилось... С шофером Сашкой мы дружками были. Как закатимся на речку на его газоне — пыль столбом. Лихо водил.

— Чего-то нашли? Говорили, наверно? Геологи ваши? — В голосе Нинки слышалась обида: рассказывает о каком-то Сашке, а о самом главном не может.

— Чего-то нашли. Уволился я... А так нашли. Не зря же топали все лето по лесам да болотам. — Лямин не

увидел перемены в Нинкином настроении и продолжал: — Там раз, когда мы у деревни стояли, охотники приехали медведя стрельнуть. Такой попал щукарь: к мужикам не выходит, а как только баба — и он тут. Одна старушенция ягоды собирала, подняла голову, а он стоит, рожу скалит. Она и корзинку бросила, и заикаться с тех пор стала... Охотники гнезда на деревьях сделали у овсяного поля. Сидят, ждут, когда медведь на овес придет. А мы с красавицей моей на прогулку... Ох, и материли они нас!

— Вы медведя испугали?

— Хорошо бы — испугали. Нас самих чуть за медведей не приняли. Темно уж было.

— Вы переписываетесь с той девушкой? Ждет она вас?

— С Клавкой-то? — удивился Лямин. — Скажешь тоже. Клавкой ее звали. Разошлись, как в море корабли. И не жалко. Много их...

Нинка о чем-то думала, притихла, искоса поглядывала на Лямина. Худенькая рука с длинными пальцами непрестанно теребила ворот кофточки. Вспомнила она тот вечер, когда из райцентра Лямин пришел к дому с Тамарой Зарубиной, все пытался ее целовать. Нинка вместе с подружками веселилась, глядя на них. Сейчас почему-то ей было невесело. Представила она и Клаву, с которой Лямин ходил на овсяное поле, и то, как она плакала, когда расходились с Ляминым, «как в море корабли». Клаву было жалко.

— А в строительном поезде вы что делали? — требовательно спросила Нинка, ее лицо с рыжими крапинами было строго, в глазах осуждение. Легкая полнота Лямина, мягкий раздвоенный подбородок, блестящие бледно-голубые глаза ей сначала нравились, сейчас она видела только его большой яркогубый рот и неровные неприятные зубы.

— В строительном-то? — благодушно отозвался Лямин, он опять не заметил в Нинке никакой перемены. — А что делал? Укладывали шпалы, на них рельсы...

— Но это интересно?

— Какое там интересно! Шпалы да рельсы, шпалы да рельсы...

— И девушки там были? — спрашивала Нинка со злым упрямством.

— Где их нет, — легко откликнулся он. — Вообще-то, этого добра всегда хватает. Раз посмотришь — и растает...

Нинка боязливо взглянула на него, а после дотронулась до своей руки: проверяла, не начала ли таять.

— Это как — растает? — спросила она.

Заметив беспокойство в ее глазах, Лямин рассмеялся.

— Ну, тебе-то пока такое не грозит, мала еще... И не понять: все опять потому, что мала. Постарше если будешь...

Но такое объяснение не успокоило ее, подвергнуться участи Клавды и Тамары Зарубиной она не желала. «Вот он какой!» — подумала Нинка. Из газет она знала, что люди на стройках совершают чудеса героизма, работают, и им интересно, а этот... Геологи ходили по лесам и болотам, чего-то искали, а Лямин с дружкой Сашкой — на речку... и на овсяное поле...

Она долго молчала, повернувшись лицом к двери. Лямину была видна ее тоненькая шея, казавшаяся непомерно длинной из-за короткой стрижки.

— Соли нету, — неожиданно и зло сказала она.

— Их у меня хватало, — продолжал между тем Лямин, еще наливая из бутылки. — Может, все-таки выпьешь? — из приличия спросил он.

— Нет, — зажмурившись, сказала она. — Хлеба с солью хочется.

Нинка посмотрела в окно. Гроза прошла, но поднялся ветер, небо было затянуто сплошными тучами, а море — пустынное и холодное. Она судорожно вздохнула.

— Ты чего? — удивился Лямин. — Холодно, что ли?

— Ничего не холодно, — напряженно сказала Нинка и приказала, глядя на него с неприязнью: — Соли принеси.

Лямин пошел в склад. У двери его качнуло. Едва он скрылся за нею, Нинка подбежала, поспешно толкнула задвижку. Потом села к окну, подперла руками подбородок и задумалась. Она думала о том, какие разные бывают на свете люди.

Лямин завозился за дверью, еще не понимал, что случилось, и смеялся.

— Эй! Чего озорничаешь? — крикнул он.

Нинка даже не повернула головы. И только когда Лямин стал неистово барабанить в дверь, злорадно сказала:

— Посидите там!

— Мать честная! — завопил Лямин. — Открой немедленно, и марш спать в свою палатку! Вот подрадел директор! Умора!

Нинка молчала. Лямин ненадолго притих, оглядывая склад. Бревна хоть и старые, но крепкие, маленькое окошечко, через которое проникал вечерний свет, не вместило бы и голову. На дверь и надеяться нечего — толстые доски с двумя поперечными железными полосами.

— Да ты что, всерьез? — изумился он.

— Посидите там! — опять повторила Нинка. — Теперь-то я знаю, какой вы. Все знаю! Да будь вы у нас в школе, вам бы на собрании не знаю что и сделали.

— Я не люблю собраний, да и в школу мне поздно, Ниночка, так что открой, — с заискиванием сказал Лямин.

— А вы ничего не любите, — прокурорски сказала Нинка. — Вы только себя любите, и всем вы чужой. Я все знаю...

— Курица степная! Да что ты знаешь? Плетешь какую-то ересь. Брось эти шутки, а то рассержусь!

— Я все знаю, — долбила свое Нинка. — Когда рассказывали, я все поняла. Вы и Тамару Зарубину обидели, и Клаву обидели. Обрадовались, что они растаяли.

— Дура, чего городишь!

— Я, может, и дура, — спокойно отвечала Нинка. — Но я все понимаю. Я ведь тоже на танцы хожу. Вы Тамару провожали и целоваться лезли, а теперь не признаетесь. У вас ведь их много было. А сейчас пусть как хочет...

Нинка, еще раз вспомнив Тамару Зарубину, неожиданно заревела. Теперь она жалела Тамару.

— Ну не дура ли! — возмутился Лямин. — Плетет, соплюха, не зная, чего. От поцелуев-то маленькие не рождаются.

— Все знаю, — упрямо твердила Нинка.

Она решила, что в дневнике запишет так: «Моя работа кончилась, хотя я ее и не начинала. Он только с виду показался хороший... Завтра я уеду, а то он меня убьет, потому что я его разоблачила, и никто тут за меня не заступится».

В складе ото льда и опилок несло холодной сыростью. Лямин содрогнулся, представив, что придется провести здесь всю ночь. Может, еще одумается, глупая девчонка.

«И чего я ей рассказал такого? О бабах, конечно, зря, не в такой компании говорить надо об этом. А ведь так все было к слову. Слушала».

— Послушай, Каношина, — мягко обратился он к ней, — я тут обязательно простужусь, больничный лист тебе придется оплачивать. Открой лучше.

Он слышал, как Нинка вышла из избушки, а потом наступила темнота.

— Держите, — слышался ее голос. В маленькое окошечко она протискивала байковое одеяло.

— Может, все-таки выпустишь? — без надежды попросил он.

— Ни за что! — непреклонно сказала Нинка.

— Ну и черт с тобой! — обозлился Лямин. — Принеси тогда бутылку и что-нибудь закусить.

Таким же путем она передала ему и это.

— То порядок, — успокоился Лямин. — А папиросы где? Давай папиросы и спички.

— Я лучше вам прижгу и подам, а то вы склад подпалите.

— Ну дает! — удивился Лямин ее неистощимой глупости. — Да я папирсой, если надо, подпалю.

Нинка молча передала ему папиросы и спички.

Утром подошел катер. На палубе вместе с рябым матросом стоял Голиков. Нинка уже собрала все свои вещи, умылась, сделала зарядку и теперь отодвинула засов на двери, сказала Лямину:

— Выходите, директор приехал.

Лямин, посеревший от бессонной ночи и холода, погрозил ей кулаком. Нинка попятилась и наткнулась на Голикова, который входил в избушку.

— Ну, как вы здесь? — весело зарокотал директор, сияя свежим, румяным лицом. — Напугала вчерашняя гроза? Нет? А вы что-то, Лямин, неважно выглядите. Заболели?

— Как в поле воин, — с натужной бодростью сказал Лямин. Глаза его ненавистно следили за Нинкой, а та старалась держаться за спиной Голикова, отворачивала лицо. Вспомнив, что именно Голиков подобрал ему эту вздорную девчонку и, как бродягу, хотел заставить спать в палатке, Лямин, уже не сдерживаясь, грубо сказал:

— Ищите себе другого работничка, директор. А я адью... — И махнул в сторону катера.

— Опять двадцать пять, — недовольно поморщился Голиков. — Почему вы заставляете столько возиться с собой? Что вы за человек? Тем более, сами просились сюда. У меня для вас больше работ нет.

— А я прошу? — Лямин зло смотрел на директора. — На мою шею работы сколько хочешь. Была бы охота.

— Как знаете, — потускневшим голосом сказал Голиков и, потеряв интерес к собеседнику, стал осматривать склад, хорошо ли сохранился лед. Нинка с испуганным лицом старалась не отставать от него ни на шаг.

Закончив осмотр, директор направился к катеру. Нинка с ним.

— Серегин, — сказал Голиков рябому матросу. — Останься сегодня на денек. Поможешь Каношиной.

— Лесной царевне! — осклабился парень. — Да я с превеликим удовольствием. Принимай, царевна!

Парень махнул прямо с кормы на берег, к самым ногам Нинки.

— Но, но! Резвый больно, — сказала она, отступая и смеясь желтыми глазами.

Завыла сирена. Голиков сразу ушел в рубку, видимо, не хотел видеть Лямина. А тот остался на корме, смотрел, как сзади судна остаются белые буруны. Думал он о новом месте, куда поедет теперь, какие там люди. Наверно, такие же...

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ

I

Все у них началось с того дня, когда нашему секретарю понадобилось проверить цеха, в которых комсомольцы не выполняли норм. Степан, конечно, хотел отвертеться, не любил делать то, что невыгодно, но его прижали: не больше свободного времени было и у других, с чего бы это давать ему поблажку? И ему пришлось идти в компрессорный цех. А в помощники выбрали Анну. Я немного поспорил, хотел, чтобы она пошла со мной в сборочный. Но меня высмеяли. Лаборантка Зина сказала:

«Идешь не на набережную, где прогуливаются с подружкой». Когда видят в моих поступках что-то подспудное, почти дурное, я всегда теряюсь, не могу защищаться. Как-то попросил у своего товарища лыжи, взобрался на горку, и стоявший рядом мальчишка сказал мне: «Лучше бы тебе, дяденька, здесь не катиться». Я решил, что он плохо подумал — будто я не умею стоять на лыжах, — и ринулся вниз, перевернулся через голову, ушибся и сломал лыжу. Товарищ, когда я честно рассказал обо всем, не поверил. «Ты всегда завидовал моим лыжам и сломал нарочно», — сказал он, и я не сумел его убедить, что все вышло случайно.

Вот и здесь. Не понимаю, зачем Зине заставлять людей судачить? Правда тут только в том, что я очень хорошо отношусь к Анне. Я часто смотрю на нее, когда она проезжает по цеху на своем электрокаре, признаюсь, мне нравится провожать взглядом ее ладную фигурку в синем свитере с поперечными белыми полосами на груди, нравится смотреть в лицо, и всегда мучительно переживаю, когда вижу ее убитой горем, ко всему равнодушной.

Анна пошла со Степаном, хотя мне очень не хотелось, чтобы она шла с ним.

Стояло жаркое лето, и на улице было душно, а в компрессорном, среди пара, вообще нечем было дышать. Анна шла за Степаном и боялась помешать рабочим, занятым совершенно непонятным для нее делом. Где было ей разобраться в работе цеха! Об этом она так и сказала Степану, спросила, что же ей делать. Степан, видимо, вспомнил мое заступничество, желание, чтобы она не шла с ним. «Посмотрел на меня холодными глазами, — рассказывала после Анна, — и посоветовал: «На меня гляди, все остальное приложится». Я обозлилась, решила показать, что отнеслась к его словам серьезно».

Пока они были в цехе, пока Степан разговаривал с мастером и мотористами, Анна не спускала с него глаз. Из парного цеха она уходила с легким головокружением, а ночью долго не могла уснуть, решая для себя: влюбилась или не влюбилась в Степана. По тому, как она ясно представляла его лицо, и по тому, как подумала, что предпримет, если Степану захочется ее поцеловать, выходило, что влюбилась.

На следующий день она снова смотрела на него, и тот даже смутился...

Удивительные существа женщины! Они имеют близких людей только затем, чтобы рассказывать им о своем любимом. Им и в голову не приходит, что слушать такое не всегда приятно. Вот и Анна рассказывала — передавала мне их разговор:

— Ты чего, — спросил он. — А что? Смотрю. Сам велел. Мне больше ничего не остается...

Тут он усмехнулся и позвал вечером на танцплощадку.

Я видел их в тот вечер; танцевали они мало. Степан двигался неуклюже, сам замечал это и злился. Я знал, что он не любил танцы, он просто пришел по привычке: в поселке парни, как только познакомятся с девушкой, ведут на площадку, гордятся перед другими. Потом уж, когда по-настоящему влюбятся, будут искать тихие уголки.

В тот раз Степан не искал уединения. Никогда не забуду его торжествующего взгляда, обидного для меня. А Анне было весело среди множества людей и музыки, весело, что рядом с ней был Степан.

Правда, в этот вечер, как она потом сказала, у них чуть не произошла размолвка. Она зачем-то стала рассказывать о моей выходке: в обед решил прокатиться на ее электрокаре и чуть не сшиб женщин, неожиданно вывернувшихся из-за угла; и ей и мне крепко досталось от начальника цеха. Она ждала, как отзовется на рассказанное Степан, а тот только хмурился и молчал.

— Я про Гришку Ярцева, — повторила она, подумав, что Степан не расслышал, о ком она говорит, — ну того, что в хоккейной команде в воротах стоит. Вы же работаете почти рядом.

— Известен, — отозвался на это Степан и подозрительно посмотрел на нее. — Ты и на стадион ходишь?

— Ну как же! Мы с девочками...

— Из-за него ходишь, — заключил Степан, не дослушав ее.

Анне показалась забавной его ревность, и она еще поддразнила:

— Ни капельки не из-за него. Парень, конечно, такой... но мне он вовсе не нравится.

Степан провожал ее до общежития и все время сумрачно о чем-то думал.

— Иди, поздно уже, — холодно сказал он, когда остановились у освещенной двери подъезда.

Сухость его покорила Анну.

— Что ж, тогда прощай, — сказала она, протягивая ему руку. Она подумала, что этот их первый вечер окажется и последним. Обидно, конечно.

Однако Степан задержал ее руку, а потом и обнял, поцеловал...

Недели через две мы узнали, что они расписались.

В загсе Анну спросили, какую она возьмет фамилию. Мужа? Будет Веденеевой или Хлущенко?

— Еще бы не мужа! — заносчиво сказала она.

Женщина за столом с ласковой грустью взглянула на нее. На месте Анны она видела себя: когда-то так же восторженно и задиристо отвечала она на вопросы, была до наивности самоуверенной. По иронии судьбы сейчас скрепляет она печатью счастье других, не сумев сохранить своего.

В общежитии на первом этаже было несколько комнат для семейных. Одну из них выделили молодоженам. Комната была маленькая, с единственным окном, но и ее при желании можно было сделать уютной. Оглядывая ее, Анна деловито говорила:

— На свадьбу пригласим только самых близких, а то и усадить негде. — Она со счастливой растерянностью развела руками, показывая, насколько мала комната. — Вызовем телеграммой твою маму.

— А я считаю, никакой свадьбы делать не надо, — сказал Степан. — И маму вызывать из такой дали незачем.

Анна встретила с ним взглядом, он смотрел спокойно, без выражения, которое, как ей казалось, должно было быть при этих жестоких словах.

— Ведь раз в жизни, — беспомощно сказала она. — Как же...

Потом ей пришло в голову, что Степан страшится расхода денег, которых у него нет.

— Степа, у меня скоплено немного, и скоро отпуск, мне отпускные хоть сейчас выдадут. Ты об этом не думай, — горячо заговорила она. — Чего их жалеть?

— Деньги деньгами, — сухо заметил Степан, — а смотреть, как будут напиваться и кричать «горько», не больно-то интересно. «Горько» я и сам могу тебе крикнуть.

Анна поджала губы, казалось, она вот-вот расплачется. Так она мечтала об этом дне, о котором могла бы после вспоминать с радостью. Ну, почему он не хочет? Разве дело только в крике «горько», в вине?

— Нам и вдвоем хорошо, — сказал Степан. — Разве не так?

Анна кивнула и отвернулась к окну, стараясь скрыть слезы.

— А как же мать? — робко спросила она. — Так и не будет знать ни о чем?

Степан видел, что она расстроена, и подумал: начинать первый день ссорой не годится, но, как видно, ему придется потратить много усилий, чтобы она во всем соглашалась с ним. Он ласково погладил жестковатые волосы жены.

— Получай. Отпуск получай, — уточнил он. — Пожалуй, съездим к мамаше. И то, давно не бывал.

У Анны сразу засветились глаза, обняла его, засмеялась.

— Степа, а я тебя чуточку боюсь, — призналась потом она. — Услышала, что не будет свадьбы, и сердце упало. Как же так? Очень уж ты такой... — Она помедлила, не зная, как сказать, чтобы не обидеть его, — ну, сухой, слишком строгий, что ли. Я в самом деле тебя чуточку боюсь. А это хорошо ты придумал — поехать к маме. Ведь поедем?

— Сказал поедем, значит, поедем, — с ворчливой добротой подтвердил он. — Отпуск у меня осенью, ну да договорюсь.

— Мать у тебя бывает сердитая? — ласкаясь к нему, спрашивала Анна. — Нет, верно, скажи, что сердитая?

— Как все матери: если что не так сделаешь, то и сердитая, — рассудительно ответил Степан.

Анна пылливо посмотрела ему в глаза.

— Если что не по ней сделаешь? Ты это хотел сказать?

— Заладила, — рассерженно отмахнулся Степан. — Приедешь, сама увидишь.

— Увижу, — подтвердила Анна. — Степа, а вдруг тебе не передвинут график и не отпустят?

— Не отпустят — им хуже будет, — усмехнулся Степан. — На любом заводе с руками оторвут. Люди везде требуются. На прощание скажу: во сне я вас видел.

Анне не понравилось, что он так пренебрежительно отозвался о своем заводе, но она ничего не сказала, подумала, что совсем не знает Степана и давать поспешные оценки будет неправильно. Может, и стоит согласиться с ним, что свадьбы не надо. «Но как же так! — тут же возразила она себе, мгновенно представив себя за столом в свадебном платье, безмерно счастливой. — Как он решился отнять у меня самый памятный день? Не так уж много радостных дней в жизни человека, чтобы сознательно лишать их себя».

2

На следующий день Анна шла по цеху. Ее разглядывали и, замечая это, она горделиво несла голову, сдержанно кивая знакомым. Увидала меня и секунду смотрела, приостановившись, хотела что-то сказать, но не сказала, дрогнули только в улыбке губы. Потом направилась в конторку начальника смены.

Немного выждав, я тоже пошел туда.

Наш начальник Евгений Борисович — бывший комсомольский работник, человек очень веселый, молодой и говорун. Он помнит те времена, когда стали входить в моду комсомольские свадьбы. Эти свадьбы, на которые его приглашали (а отказываться было неудобно), чуть не развели его с женой. Каждый раз, возвращаясь в хорошем настроении, он осторожно отпирал дверь квартиры своим ключом, а потом на цыпочках крался в комнату. Едва слышал, что жена проснулась и идет из спальни, мгновенно ложился на пол, упирался плечами в край дивана, ногами — в дверь, верх которой был стеклянный. Жена пробовала ворваться к нему (дверь открывалась внутрь комнаты), чтобы выяснить, кто есть кто, но он достойно сдерживал осаду и выходил победителем. Она вынуждена была через дверь потрясать кулаками, в пылу разговора нос ее прижимался к стеклу и сплющивался. Глядя на это, он хохотал, не забывая время от времени посылать воздушные поцелуи. Утром же отоспавшаяся жена ругалась не так зло, и можно было логичнее говорить о причине своего вчерашнего состояния.

Когда я пришел в контору, сразу понял — начальник уговаривает Анну устроить комсомольскую свадьбу. Пухлые с прожилочками щеки Евгения Борисовича разо-

грелись румянцем, светлые глаза смотрели на Анну отечески и с легкой укоризной. По его выходило, что если такой свадьбы не будет, то и мир потускнеет, и даже может случиться еще что-то более страшное.

— Мы... там решили. У матери Степана, — потупясь, отговаривалась Анна.

Услышав это, Евгений Борисович совсем огорчился. Он сидел боком на стуле, лицом к ней и щурил светлые глаза.

— Жаль, жаль, — сказал он, — очень жаль. — Потом взглянул на меня. — Тебе чего, Ярцев?

— К Зине зашел, а ее нет, — оправдался я, видя, что он очень недоволен моим приходом и, пожалуй, даже думает, что именно я помешал ему уговорить Анну.

— Зины нет, — рассеянно ответил он. — Постой! — вдруг с испугом обратился он к Анне. — Так вы оба едете?

«Глупый вопрос», — подумал я, выходя из конторки, и уже в дверях услышал его плачущий голос:

— Не могу я его сейчас отпустить!

Меня словно кинуло назад.

— Евгений Борисович! — зло крикнул я. — Чего уж так? Обойдемся пока без Степана.

Не о Степане, конечно, думал, когда крикнул начальнику...

На обратном пути из конторы Анна подошла ко мне.

— Поздравляю! — сказал я, стараясь быть веселее.

— Спасибо, — невнимательно ответила она. Понаблюдала, как я подрезаю ножом резиновую смесь на валке, и вдруг спросила: — Гриш, ты, когда бываешь счастливым, что испытываешь?

Вот те раз! Я с откровенным любопытством посмотрел на нее.

— У всех все по-своему, — сказал я, пробуя догадаться, чем вызван ее вопрос. — Я испытываю потребность двигаться, скакать... петухом петть, если милиции поблизости не видно... Ты почему об этом спрашиваешь, Аня?

— Да так, — уклонилась она, невесело улыбнулась и взмахнула рукой. — Пустяки все это...

— Уезжаешь в отпуск?

— Ага, на родину Степана. Там будто даже станция есть, которая носит мое имя. Забавно, правда?

По цеху, в сторону конторки, шла лаборантка Зина, увидела нас и сразу дьявольским светом загорелись глаза.

— Цветики-букетики! — радостно пропела она, подходя к нам. — Прощальное трогательное свидание... — Заметила что-то такое в моем лице и настороженно заговорила: — Но-но, я ведь по делу... пробу взять.

Склонилась над вальцованной резиной, снятой с машины, и сделала вид, что внимательно изучает ее, но у самой даже уши вздрагивали — так хотелось узнать, о чем мы разговаривали.

— Степан-то, поди, скоро машину купит? — не дождавшись ничего интересного, спросила она Анну и засмеялась каким-то своим мыслям.

— Не интересовалась. Может, купит.

— Ты вот что, — сказал я Зине, — заканчивай свои дела и уматывай, куда шла.

Она выпрямилась, вся такая круглая, приземистая и злющая, того гляди, съест.

— Ты что гонишь? — пониженным и шипящим голосом сказала она. — Подумаешь, какой нашелся!.. Да я, знаешь ли ты!..

И пошла, и поехала. Зловредней бабенки, чем Зина, я, пожалуй, не видывал.

...В столовой у нас свой любимый стол в углу. Всегда наскоро обедаем, чтобы оставшиеся несколько минут побыть во дворе цеха, у фонтана. Сидит за столом Зина, Евгений Борисович, после подошла Анна.

Начальник говорит:

— Так, Ярцев... Когда собираешься в отпуск?

Я уже чую, что он хочет сделать, но отвечаю спокойно:

— С первого августа, по графику.

Он поднял глаза от тарелки, что-то высчитывает.

— С первого. Сегодня у нас двадцать девятое июля. Так... Пойдешь в двадцатых числах августа. Сам говорил: обойдемся пока без Степана. Вот и обходись.

— Ого-го! — протянула Зина с набитым ртом.

А Анна спрятала глаза, рассеянно ест.

Я заглянул к Зине в тарелку, потом с деланным испугом уставился на нее.

— Ты чего? — подозрительно спросила она и стала поправлять взбитые волосы.

— Думал, овсом питаешься. Гогокаешь.

У Евгения Борисовича затряслись полные щеки, но смеется он беззвучно.

— Тоже мне, комик, — подумав, обиженно заявила Зина. — Ты прямо какой-то талантливый. И работа, и хоккей, и вот даже артист. Разносторонний.

Каждое ее слово сочится ядом. Тут еще Евгений Борисович счел нужным внести ясность в существо вопроса.

— Чем же это плохо — разносторонность? — поднял он голос в мою защиту. — Это, дорогая моя, дар, который есть не у каждого.

— Так это все от бессилия. — Меня окончательно разозлило вмешательство Евгения Борисовича. — Разве вы не встречали людей, которые все понемножку умеют и — ничего основательно, ничего определенного у них нет?

Все сразу зашпорили, и даже Анна сказала, что я стараюсь набить себе цену. Я не сдержался и, наверно, впервые за все время обидел ее.

— Бросьте! — сказал я. — Всего понемножку — от бессилия. Вот и Анна это поняла и пошла за Степана, в том есть сила. Она разобралась.

— Ого! — выкрикнула Зина.

Теперь уж меня совсем забросило.

— Да, да! — горячо заговорил я. — Она чутьем поняла, что у Степана есть цель, и он ее добьется. Пусть эта цель — иметь машину да квартиру с прекрасной обстановкой, но это все-таки цель. Ничего плохого: человек потрудился, заработал денежки и тратит их со вкусом. И она поняла и пошла за ним.

— Ого! — еще раз сказала Зина.

— Ну, а будет машина и квартира... А дальше что? — спросил Евгений Борисович.

— Не знаю, что-нибудь будет еще.

Анна сидела потупясь, с румянцем на щеках.

— Зачем ты все это? — жалко улыбнувшись, спросила она.

Только здесь я понял, как сильно люблю ее. Но мне нечего было ответить.

— Нагородил ты, Ярцев, бочку арестантов. Сразу-то и не сообразишь, как отнестись к этому, — сказал Евгений Борисович. — Человек должен работать, отдавать время для общественных дел и что-то оставлять для души.

— А квартира и машина разве не для души?

— Для брюха.

— Неубедительно!

— Пожалуй, верно, неубедительно, — согласился он. — Но и обкрадывать себя, когда кругом столько интересного... Нет, это не жизнь.

Раскаяние всегда приходит после, когда уже ничего не вернешь. А когда чувствуешь себя виноватым, тут уже и до другой глупости недалеко. В тот же день я заикнулся Зине, что неплохо бы молодоженам сделать подарок, пусть бы она переговорила об этом с Евгением Борисовичем.

— Ого! — сказала Зина и с интересом стала рассматривать меня. — Свадьбы-то у них не было, — начала она потом втолковывать, — значит, на то есть причины. Теперь пойми, придем к ним домой с подарком — сегодня-то уж нам не приготовить, поздно — и как бы вынудим их выставить угощение. Традиция уж такая... Может нехорошо получится.

— Не послать ли нам телеграмму на родину Степана? Они приедут — и им поздравление от коллектива. Все радость.

— Телеграмму ты можешь и от себя послать, — ехидно заметила она. — Действуй!

— Хорошо, буду действовать, — с вызовом сказал я Зине.

Я пошел в отдел кадров и попросил посмотреть в деле, где родился Степан Хлущенко, сказал, что он в отпуске, а ему срочно надо отправить телеграмму. Мне отыскали его адрес.

Я хотел еще отправить подарок, не указывая, от кого — поймут, что из цеха, — но давно известно, если ты не хочешь ничего покупать, в магазинах есть все, что надо, а понадобилось — подходящего не найдешь. Тогда я решил сам сделать что-то. Вспомнил, как с парнями и девушками из цеха ходили в поход (и Анна была там), выбрали для ночлега лужайку на берегу лесной речки. Место было чудесное, с березками по краям, всем оно понравилось, все хотели приехать еще раз. Воспроизвел на куске картона эту лужайку. Потом написал поздравление, все запечатал в конверт и отправил. Я рисковал, потому что, если в поселке, где живут родители Степана, несколько семей Хлущенков, письмо мое может не попасть Анне.

...Примерно через неделю, когда я был на работе, ко мне подошла Зина.

— Анна вернулась, — сообщила она, впиваясь глазами-буравчиками. — Одна... Похоже, что не будут жить со Степаном. Добился своего?

— Ты, случаем, не спятила?

— Нет, я в полной памяти. Помню, как ты о подарке и телеграмме говорил. Посылал телеграмму?

— Ну, посылал. Письмо посылал. Но какое это имеет отношение к тому, что она вернулась?

— Прямое, Гришенька. Я спрашивала у Анны. Степан очень злился. С того и пошло у них наперекосы.

— Глупости!

— Вся жизнь из глупостей, Гришенька.

3

Поезд пришел под утро. Тусклый фонарь освещал одноэтажное деревянное здание станции, выкрашенное в желтый цвет. Немногие пассажиры разошлись, встречающих не было. Заметив, что Степан тоже оглядывается, Анна спросила:

— Может, не получили нашу телеграмму?

— Может.

И его удивило, что никто не пришел встретить. В поселке, кроме матери, жили еще два брата, оба женатые. Степан поднял чемодан и направился к площади.

— Далековато, — пояснил он Анне, — ну да дойдем, скоро рассвет.

Шли сначала мимо двухэтажных зданий, окружавших площадь, потом выбрались на насыпную дорогу; справа и слева в предрассветных сумерках виднелись белые домики с террасами. Ночь была теплая, даже душная, только набегавший временами ветерок приносил прохладу. Дорога свернула влево, и Степан остановился, что-то его смущало.

— Все изменилось, — пробормотал он, оглядываясь. — Ты подожди, я сейчас.

Он поставил чемодан и пошел к одному из домиков. Очевидно, хозяева спали на открытой веранде. Анна слышала, как они объясняли Степану, где пройти.

— Сколько же ты здесь не был? — спросила она, когда свернули в переулок.

— Как уехал, с тех пор. Лет пять, что ли, может, больше.

— И ни разу, ни разочка не приезжал? — в крайнем удивлении спросила Анна, думая о том, что если бы у нее были родители, была бы у них каждый отпуск.

— А что тут такого, — усмехнулся Степан, — было бы близко, тогда.. Много не наездишься, в трубу вылетить.

— А, наверно, скучал? — допытывалась Анна, будто пыталась уяснить для себя что-то очень важное.

— Вспоминал, — неохотно отозвался он.

Небо все больше бледнело, отчетливей стали видны белые домики с садами на задворках, шуршала под ногами пыльная, сгоревшая на солнце трава. Шаги их гулко раздавались в тишине.

— Вот, кажется, и пришли, — приглушенным голосом сказал Степан.

Они остановились возле потрепанного завалившегося плетня, за которым стоял старенький дом, обмазанный глиной и побеленный, за ним виднелись деревья. В это время выкатилось солнце, и Анна тихо ахнула: лучи высветили край крыши, верхушки яблонь. Словно радуясь новому дню, затрепетали в их свете листья, зарумянились плоды. Анна взволнованно провела рукой по глазам. Нет, это не наваждение: яблоки горели ярким пламенем. Как в том подземном сказочном саду, куда попал Иванушка в поисках царевны, — она видела золотые яблоки. «Как это красиво, золотые яблоки, — с волнением подумала она, — не ожидала, что так может быть красиво!»

— Да иди же сюда, Аня! — услышала она громкий, смеющийся голос Степана.

Она встрепенулась, увидела рядом со Степаном полную, еще крепкую старуху с гладко причесанными седыми волосами и крупным лицом. Старуха пристально рассматривала ее, и не было в этом взгляде ни доброты, ни злости, просто внимательный, изучающий взгляд; так можно рассматривать любой предмет, вызывающий любопытство.

Анна шагнула в раскрытую калитку и остановилась возле крыльца, не зная, что дальше делать. Обнять старуху она не решилась, потому что не увидела ласковости в ее глазах.

— Здравствуйте, мама! — стараясь найти в себе смелость, пролепетала она.

Старуха все так же спокойно и без видимых чувств оглядывала ее. Анна чувствовала, как легкий озноб пробегает по телу, сейчас ей почему-то было стыдно себя и хотелось плакать.

— Приглашай, мать, в дом, что на крыльце держишь? — сказал Степан, нарушая затянувшееся молчание.

— Да, да, — заторопилась хозяйка, — проходите. Растерялась я сразу-то... Так вот... неожиданно. Проходи, Анютка. Не хоромы, да в своем живем. Поди, устали с дороги, отдохнуть хотите. Сейчас самовар поставлю. Проходите...

— Нам, мама, умыться, вагонную пыль с себя снять, — попросил Степан.

Анне показалось, что он тоже робеет перед матерью, чувствует себя неловко.

Они прошли в тесную прихожую со столом и широкой лавкой у стены, одна дверь из прихожей вела в переднюю комнату, сбоку, в дощатой перегородке, был проем, затянутый занавеской, там была кухня.

— Ведро в сенцах, колодец знаешь где, — сказала хозяйка. — Идите, умывайтесь.

Анна выскользнула вслед за Степаном, она боялась остаться наедине со свекровью. Вместе с ним ходила к колодцу, вместе прошла в сад, где Степан поставил ведро.

— Жмешься, как кутенок, — с улыбкой заметил Степан. — Ты не гляди, что она с виду суровая, все мы такие с виду-то. А она добрая, и ты ей понравилась. Точно говорю...

— Едва ли, — с сомнением сказала Анна. А когда Степан попросил принести полотенце и мыло, испугалась, замахала руками. — Нет, нет, я привыкну... потом...

Степан насмешливо оглядел ее, и сам пошел в дом.

Вернулись после умывания освеженные, раздумывавшиеся. На столе уже стоял самовар, дымился вынутый из печки пирог.

— Ай да матушка, ай да Анастасия Акимовна! — с восторгом закричал Степан, блаженно раздувая ноздри и приплюхиваясь. — Ждала все-таки!

Хозяйка ничего не сказала, она была на кухне.

— Мам, с яблоками? — спросил он. И тут же горделиво повернулся к жене. — Она у меня умеет делать с яблоками, пальчики оближешь.

— Не хвали, не отпробовав, — заметила довольная Анастасия Акимовна, появляясь со сковородкой, на которой пузырилась яичница. Похвала сына сняла суровость с ее лица, и Анна, украдкой приглядываясь к ней, подумала, что она и в самом деле добрая, как уверяет Степан.

Перед отъездом Анна присмотрела подарки: братьям — дорогие рубашки, свекрови — цветной шерстяной полушалок. Но прежде чем купить, решила посоветоваться со Степаном. Тот недовольно сказал:

— Не придумывай глупостей. Матери еще туда-сюда, а этим зачем?

Лицо у него было злое, и она не поняла, то ли он сердится за что-то на братьев и не желает одаривать их, то ли жалеет денег. Сейчас она достала из чемодана приготовленный свекрови подарок. Анастасия Акимовна приняла сверток, скупно поблагодарила. Может, она и развернула бы, и посмотрела, похвалила невестку за вкус, но в это время в дверях показался парень лет двадцатидвадцати двух, рыжеволосый, с удивительно свежим, улыбающимся лицом. Сзади его переминалась с ноги на ногу худенькая девчушка, смуглая и большеглазая, в цветном сарафанчике. Их приход не произвел никакого впечатления на Анастасию Акимовну, она, не оглянувшись, ушла со свертком в переднюю комнату. Степан тоже не выказывал особого любопытства. Анна догадалась, что перед ней младший брат мужа.

Вошедший, видимо, привык к такому обращению и нисколько не смутился. Он добродушно, с искорками в глазах, оглядел Анну, даже, показалось, подмигнул ей и сказал Степану:

— Прими поздравление, братуха! — Тут же вытащил за руку стоявшую сзади робкую девчушку. — Знакомься, Райка! Перед тобой много раз упоминаемый, всеми любимый Степан. — А сам уже совал свою руку Анне, приговаривая: — А я Володька. Если ему вся любовь, то, сами понимаете, что осталось мне. Имейте в виду: мы, Хлущенки, однолюбы. Теперь вам решать, хорошо это или плохо.

— Хватит балаболить, — строго прикрикнула на него мать, появляясь в дверях. — Люди с дороги, не до тебя.

— Виноват, Анастасия Акимовна. Кстати, братец, а чего не сообщил? Встретил бы...

— Мы сообщали, — вмешалась Анна и осеклась под колючим взглядом свекрови, покраснела.

— Ба-а! — насмешливо протянул Володька и так же насмешливо оглядел мать. — Хроническая недостаточность чувств или что-то в этом роде. А в общем, может, что и другое... Ладно, братка, искренне рад... К такой красе да головку дельную, — шельмовато взглядывая на Анну, прибавил он. — Счастливейшим из смертных можешь оказаться. Ай, не так?

— Есть и это, — недовольно сказал Степан, — просить твою голову взаймы не собираемся.

— Великолепно! — восторженно заорал Володька, плюхаясь на стул, словно радость отняла у него все силы. — Пока на этом и остановимся. За тобой свадебный стол, за мной гармошка. В тесноте да рядышком и разговор легче пойдет. Или опять не так?

— Спишь и видишь, как бы за стол, — охладил его пыл Степан. — А мы и без тебя обошлись.

— Ну, раз собирали там, вытряхнулись — другое дело, — ничуть не огорчился Володька. — Переживем.

Анна приглядывалась к Степану и не могла понять, что же произошло между ним и Володькой и почему он говорит: обошлись без тебя? Ведь ничего такого не было, никакого свадебного стола. Перед отъездом она накупила разной снеди, какой, по ее мнению, могло не оказаться в глухом поселке, и теперь вынула две бутылки красного вина и даже коньяк. Улучив минуту, шепнула Степану, чтобы послал кого-нибудь за старшим братом.

— Нету его, на работе он, — отговорился Степан.

И в самом деле, подумала Анна, совсем забыла, что люди могут быть заняты. Как удачно, что Володька с женой тоже оказались в отпуске. Появление шумливого Володьки развеяло неприятное впечатление от встречи со свекровью, и она была искренне рада ему. Испытывала Анна симпатию и к Рае, которая казалась чем-то похожей на нее, и уже успела узнать, что Володька окончил строительный техникум и теперь работает прорабом, а сама Рая — медицинская сестра, что поженились они всего пять месяцев назад и живут пока на частной квар-

тире, дом их по-соседству; узнали они о приезде случайно: соседи увидели ее со Степаном возле колодца.

Володька сбегал за баяном, но пока отложил его. Он и произнес первый тост, который оказался чересчур торжественным: «За здоровье дорогой матушки Анастасии Акимовны, за здоровье молодых, за полное неизбывное счастье, за мир и согласие в доме!» Анастасия Акимовна, довольная, что на столе всего хватает, угощала каждого, к Анне была внимательна. Анна успокоилась, повеселела.

Потом возбуждение за столом, какое бывает в первые минуты, улеглось, все уже выпили, насытились. Володька вдруг погрузился, достал баян и стал потихоньку наигрывать. Мать разговаривала со Степаном, тон ее был обиженный, и Анна невольно насторожилась, прислушиваясь; мать говорила, что Степан измучил ее, не прислав ни одного письма (что уж он в самом деле!), что дом валится и ни от кого не дождешься помощи (Анна согласно кивнула: разве можно мать оставлять без помощи!).

— Не на что, мама, помогать, — хмурясь, ответил Степан.

— Неужто так мало зарабатываешь? — В голосе Анастасии Акимовны слышалась недоверчивость.

— Как все.

Выражение обиды и задумчивости не сходило с крупного лица матери. Видимо, она пыталась понять, почему у сына не остается для нее свободных денег.

— Пить, что ли, стал? — спросила она, потому как решила, что только этим можно объяснить его отношение к ней. — На водку-то не напасешься, как прорва...

Володька, слушавший их, дурашливо пропел:

Дорогая ты макитра,
Как тебя благодарить:
Из полпуда — восемь литров,
Все до капельки горить...

Он видел, что разговор матери с сыном действует на Анну угнетающе, и хотел ее отвлечь.

— Ты помолчал бы, — повернулась в его сторону мать. — Ты-то уж совсем отрезанный ломоть.

— Я, мама, взрослый человек и устраиваю жизнь по своему разумению, — без обиды сказал Володька.

— Оно и есть: ни разумения, ни достатка.

— Нам хватает, — вступилась за Володьку его жена.

Анастасия Акимовна посмотрела на нее, как на что-то непонятное и потому вызывающее раздражение.

— Вы считаете, что счастье только в деньгах, — дерзко добавила Рая. Наверно, она и продолжала бы, на ее остреньком большеглазом личике появилось воинственное выражение, но Володька сжал ее худенькую руку, и она только глубоко вздохнула.

— Вовсе я не пью, мама, — продолжал Степан. — Разве что когда поднесут. Ну, в праздники...

— Оно и есть: поднесут, — ухватила за эту мысль Анастасия Акимовна. — Тебе поднесут, ты поднесешь...

— Арифметическая пропорция, — заявил Володька. — Тебе поднесут, ты отдариваешься вдвое, он в четыре раза... Не беспокойтесь, мама, Степану это не грозит, он всех подносчиков давно отучил.

— Ты откуда знаешь? — огрызнулся тот.

— Чую, — сказал Володька.

Он растянул меха и заиграл нарочно громко, не желая, чтобы этот разговор продолжался; играя, он смотрел на Анну внимательно и грустно, но едва ли думал о ней, был весь во власти музыки. А Анна переводила взгляд с одного на другого, и ей было странно, что в такое утро они ссорятся; на улице чистое небо и ясное солнышко, в саду, который она еще и не осмотрела, полно золотых яблок, есть тенистые уголки, куда можно прятаться и мечтать. «Может, так и нужно говорить о достатке и деньгах, — уже через минуту думала она, стараясь по своей доброте оправдать и свекровь, и Степана, и задиристого Володьку. — И если я никогда не говорила сама, то потому, что не понимала, теперь я семейный человек, и мне тоже надо говорить об этом».

А на улице слышалось дребезжание велосипедного звонка и женский голос, нетерпеливый, зовущий. Все переглянулись и посмотрели в открытое окно. По ту сторону плетня стояла, держась за ручки велосипеда, полногрудая девица с почтовой сумкой за спиной.

— Акимовна! — звала она протяжно. — Ты или никак оглохла! Письмо вам.

Свекровь тяжело вылезла из-за стола, пошла на улицу. Переговорив с почтальоншей, она пожала плечами и с недоверием стала рассматривать конверт.

— Ни улицы, ни дома, а фамилия наша, — растерянно сказала она, появляясь в дверях.

Володька взял у нее письмо, посмотрел обратный адрес.

— Какой-то Ярцев, — сообщил он.

— Так это от Гришки! — вырвалось у Анны. — С за- вода...

Степан выхватил письмо из рук Володьки, надорвал конверт. На стол выпала картонка. Пока он читал вложенную еще записку, Володька вертел картонку в руках.

— Совсем неплохо, — проговорил он, разглядывая изображенную лужайку с березками вокруг. — Он что, художник?

— Хоккеист, — процедил сквозь зубы Степан. — На, возьми, — сказал он Анне, отдавая записку. — Поздравляет... Уже успела дружку адрес дать.

— Степа! — Анна укоризненно посмотрела на него, глаза ее наполнились слезами. — Не давала я никакого адреса, сама не знаю...

— Коли мужней женой стала, других отваживать надо, — сурово заметила Анастасия Акимовна, которая, наконец, поняла, что письмо пришло от кого-то из друзей Анны. — Господи, все нынче перевертелись.

— Это уж ты слишком, мама, — попробовал вступить- ся Степан.

— Не указывай, — резко возразила она. — Выбрал — так и живи. Только долго ли проживешь, когда рядом дружки да петушки.

Анна закрыла лицо руками и выбежала на улицу.

— Не смеет так говорить... не смеет... не смеет... — вскрикивала она.

Худенькие руки легли ей на плечи. Это была Рая, которая и сама чуть не плакала. Теплыми губами она коснулась щеки.

— Не слушай ты ее, не слушай, — шептала Рая. — Она всегда такая...

— Ай-я-яй! Ожидается наводнение, — насмешливо протянул вышедший вслед за Раей Володька. Но, взглядевшись и подумав, переменял тон, стал успокаивать:

— Брось, Аня, лишнее это... стоит ли? Семейка у нас веселая — закаляйся. Вот, на Райку смотри, нет-нет и огрызнется. Помогает. Только так, как же иначе? Ты еще старшего брата навестишь — помрешь с хохоту. Веселая семейка, уверяю...

Появился и Степан, недобро глянул на брата.

— Стараешься, настраиваешь?

— Хотел бы, братка, да смотрю — тут моей помощи не требуется.

Володька сходил в сад, принес яблок.

— Ешьте, девчонки, скорей слезы высохнут, потому как есть и реветь, все сразу — занятие трудное, для меня совсем невозможное.

— Много яблок нынче, — заметил Степан. Он не намерен был продолжать ссору и перевел разговор на другое. — Куда их мамаша девать будет?

— А вот спросим, — откликнулся Володька. — Анастасия Акимовна, куда яблоки деваете?

Мать показала с полотенцем и чашкой в руках.

— Для чего спрашиваешь? — неприветливо спросила она.

— Не я, Степан Николаевич желают знать.

— Сдаю в кооперацию, если принимают. А то и так остаются.

Степан задумчиво оглядел яблони, согнувшиеся от тяжести плодов. Нет, на этот раз мать не будет сдавать яблоки в кооперацию, он найдет им лучшее применение.

4

С утра Степан собрался сходить на озеро за карасями. Анна попросилась с ним. Он рассмеялся:

— Да ты что! В самую рань пойду.

— Вот и хорошо. И я с тобой.

— Аня, там низкие берега, грязь, — начал отговаривать он ее. — И пиявки. Метров сто надо идти по жиже, пока добредешь до мостика. Мостик — две перекладины, всего на одного человека. А главное, пиявки.

— Не боюсь я твоих пиявок.

— И еще, — продолжал он, — примета есть: с женщиной пойдешь, ничего не поймашь. Ни на рыбалку, ни на охоту с женщинами не ходят, потому что всегда что-нибудь случается.

— Еще какие приметы?

Степан оторвался от удочек, которые налаживал, задумался. Он не понял усмешки.

— Еще, когда баба с пустыми ведрами попадаете...

— Много.

— Что, много?

— Примет у тебя много.

Степан напряженно смотрел на Анну: его удивил независимый, усмешливый тон ее.

...Утром Анну разбудил веселый девчоночий голос. Сначала смех, а потом полусшепот:

— Тетя Настя, говорят, Степа жену привез?

— Привез, — подтвердила свекровь.

— Где она? Хоть бы одним глазком взглянуть.

— Успеешь, взглянешь. Ишь, ни свет ни заря при-
шастала.

— Спят еще?

— Степка на озере, а она спит.

Дверь приоткрылась, и Анна увидела высокую загорелую девушку с распущенными черными волосами, с лукавым взглядом.

— Не любопытничай! — прикрикнула свекровь.

Видимо, она оттащила девушку от двери. Дверь захлопнулась, послышался резкий щелчок. Значение этого щелчка Анна поняла, когда оделась и хотела выйти: дверь была заперта с обратной стороны на задвижку.

Она постучала, потом окликнула Анастасию Акимовну. Никто не ответил: видно, хозяйка вышла. Анна невесело усмехнулась. Ей припомнился вчерашний день, нудные разговоры о деньгах и достатке, крупное, словно застывшее лицо свекрови, ее обидные слова; вспомнила она и о жалостливой Рае и шумливом Володьке, которые хотят быть независимыми и потому не живут в родительском доме, — даже не верится, что все — кого она видела, что слышала, — все это было наяву, а не во сне. Но это было. Вот и сегодняшний день начинается с приключений. Она еще раз подергала дверь, желая удостовериться, — не ошиблась ли. Потом пришло озлобление.

— Да что я для нее... Какое она имеет право?

Три окна передней комнаты, выходившие в палисадник, были заставлены цветами. Анна выбрала среднее окошко, под которым был пятачок невскопанной земли, составила с подоконника цветочные горшки и толкнула рамы. Наверно, окна давно не открывались, рамы поддавались туго, но она все-таки сумела справиться с ними; выпрыгнула в палисадник, мысленно похвалив себя, что выбрала именно это окошко — под другими росли цветы, — и пробралась на улицу, огляделась. Кого-то надо спросить, как пройти к озеру. «Скажу ему: сегодня же уезжаю домой, если не захочет, уеду одна. И пусть!

Будь что будет. Терпеть я не собираюсь, не так воспитана». Она попробовала распалить себя, чтобы злей были мысли, убедительнее выглядело принятое решение, но злость не приходила, была какая-то пустота и усталость.

Встретившийся мальчишка показал ей дорогу. Солнце уже поднялось высоко, сильно припекало, и Анна пожалела, что второпях не захватила ничего на голову. По бокам узкой дорожки стояли дубы с жесткими, словно вырезанными из жести, поникшими листьями. Сухая колкая трава, иссохшая черная земля с мелкой паутиной трещин, дубы, которые не давали прохлады, — все казалось печальным, безропотным. «Уеду, сегодня же уеду, — шептала Анна. — Если я для него чего-нибудь стою, должен понять...»

Озеро она увидела издалека. Собственно, это было не озеро, а запруженный и разлившийся ручей, заросший у берегов осокой и тростником. Неподвижная вода ослепительно блестела.

Над водой, на перекладинках-мосточках, спиной к берегу сидели с удочками рыболовы.

Степана она узнала сразу и не потому, что он чем-то выделялся перед остальными, — с ним на перекладинке сидела девушка с черными, распущенными по плечам волосами. Может, они о чем-то разговаривали до этого, но сейчас оба сосредоточенно смотрели на поплавки.

Анна не хотела, чтобы ее видели, повернулась и медленно пошла назад.

Анастасия Акимовна сидела на ступеньках крыльца, возле стояла корзина с яблоками и противень — она резала яблоки для сушки. Мельком взглянула на Анну и опять занялась своим делом. Крупное лицо ее с тяжелым подбородком хмурилось.

— Это что же, и дома из окон прыгаешь? — не поднимая головы, спросила она.

— А вы... вы меня закрыли! — срывающимся голосом выкрикнула Анна, решившая ни в чем не поддаваться.

— Да неужто! — старуха сразу сбавила тон и уже с интересом поглядела на невестку. — Ин, не заметила как... Закрыла, значить?

Анна так и не поняла, нарочно ее заперли или по ошибке. Она сходила за ножом и тоже стала резать яблоки.

— Родителей-то не помнишь? — спросила Анастасия Акимовна.

— Я с малолетства в детском доме.

— Оно и видно, к семейному не приучена.

— Откуда это видно? — удивилась Анна.

— Да видно. Я на тебя только поглядела, поняла: почтительности не дожدهшься.

— Вот уж неправда! — горячо возразила Анна. — Вы хотели так видеть и увидели. В чем моя непочтительность?

— А во взгляде.

Когда яблоки были порезаны, Анна вошла в дом и остановилась перед зеркалом; долго вглядывалась в себя, потом недоуменно пожала плечами: во взгляде она увидела что-то несмелое и виноватое, свойственное людям, случайно попавшим в гости, а ничего такого, о чем говорила Анастасия Акимовна, не заметила.

Она ушла в сад с книгой и сидела, пока не вернулся Степан. В ведерке было десятка два карасей.

— Чистить, чистить, пока не заснули. — Он был оживлен, весел, голые до локтей руки были обожжены солнцем.

— Ну и как примета? — поинтересовалась Анна. — Случилось что-нибудь?

Степан с удивлением и некоторой тревогой взглянул на нее.

— Что за девушка была с тобой?

— Какая девушка? — переспросил он, но, видно, понял, что Анне что-то известно. Пожал плечами, опять удивляясь, и небрежно сказал: — А-а! Вот ты о ком. Это здешняя, в школу вместе бегали. Люська... Говорит, шла по берегу и узнала, со спины узнала.

Анна не стала ему рассказывать, что Люська прежде забегала домой, спрашивала его.

— Степа, нельзя ли спать в сенях или еще где? В комнате такая духота...

— Почему нельзя, можно, — поспешно согласился Степан. — Вон хоть в саду. Скажу матери, чтобы постелила в саду.

— Ты пригласил бы старшего брата. И закуска есть.

Анне хотелось сказать, что здесь ей тяжело, скучно, и она уедет домой, но уехать, не повидав всех родных, не может, ей неудобно.

— Мы к нему сами сходим, — пообещал Степан.

«Вот после этого я ему и скажу», — решила она.

Но в тот вечер ей не пришлось говорить со Степаном. Узкими переулками, петляя, они дошли до дома старшего брата Ивана. Дом внешне ничем не отличался от тех, что стояли рядом, разве что слишком ядовитой зеленью были покрашены ставни. Возле помидорной грядки стоял коренастый мужчина с одутловатым лицом и глубокими залысинами, в длинной серой рубаше, выпущенной поверх брюк, в тапочках на босу ногу. Он пристально смотрел на входивших.

— Это ты, Степан? — спросил он.

— Я, Иван.

— А это, стало быть, твоя жена. Как зовут-то? — Он переступил ногами и протянул Анне шершавую ладонь. Анна назвалась, думая в это время, что после долгой разлуки братья могли бы друг к другу быть ласковей.

— Пойдем в дом, посмотришь мои хоромы, — сказал Иван.

Она подумала: «И тут начинается с хором». И объяснила себе: «Должно быть, здесь, в поселке, жизнь очень скучная, они не знают, чем занять себя, и все внимание у них на собственные хоромы».

Следом за братьями она вошла в дом. В комнатах было чисто и прохладно, приятно пах вымытый и еще непросохший крашенный пол. Хозяин усадил их на стулья. После этого у братьев состоялся такой разговор:

— Не плохо бы со встречей. А?

— Не помешает.

— Я думаю, угостишь? Все-таки гости к тебе...

— Да ведь гостей-то я не ожидал и не звал. Сам по гостям не большой любитель.

— Всегда ты такой.

— Какой? — хозяин задребезжал мелким смешком.

— Да уж такой, — проговорил Степан, роясь в карманах. — Вот мой почин.

Иван уперся взглядом в мятую бумажку.

— Рублевочка, — оживленно выкрикнул он. И шлепнул мелочь на стол. — А вот мой полтинничек!

— Это почему? — недовольно возразил Степан.

— Так ведь вас двое, а я один. Егорьевна моя на работе.

— А-а, — пробормотал Степан. — Ну вот еще.

— И я еще!

Анна не знала, на что и подумать, все ей казалось, что они играют. И еще больше удивилась, когда братья, хоть и недовольные друг другом, вместе, чуть ли не под ручку, пошли в магазин.

Она сидела, оглядывалась. Внутри дом был расположен по-иному, не как у свекрови: дверь с крыльца вела в просторную прихожую, направо и налево было еще по комнате. Анна вошла в одну из них. Там на диване сидела девочка лет двенадцати, скуластенькая, с некрасивым, почти без губ ртом.

— Тебя как зовут? — спросила Анна, пораженная тем, что, кроме нее, в доме оказалось еще живое существо.

— Геля, — ответила девочка и улыбнулась страдальческим ртом.

— Геля... Какое хорошее имя. — Анна села рядом с ней на диван. — А что ты делаешь, Геля?

— Ничего. Я сижу.

— Ну как же так! Тогда, значит, ты о чем-то думала. Нельзя же просто сидеть.

— Я ни о чем не думала, — тихо ответила девочка.

— Почему ты не включишь телевизор?

— А он у нас не работает. Папа откуда-то принес, он так и не работает.

— Тогда мы включим приемник. Видишь, у тебя есть и приемник. Ты любишь музыку?

Девочка пожала плечами. Но Анна не отступилась.

— Давай найдем знакомую песенку и подпоем.

— Я не пою. У меня нет голоса.

— Кто это тебе сказал?

— Учительница. У нас в школе есть кружок, где поют. Меня не взяли.

Девочка сказала это без огорчения, а Анну передернул озноб от ее отрешенности.

— У вас в школе всего один кружок?

— Да.

— Я сегодня была на озере. Там очень красиво. Ты не ходишь купаться?

— Хожу, когда не жарко. В жару плохо. Дома прохладнее.

Анна ничего не могла возразить, в комнате в самом деле прохладнее.

— Это ты вымыла пол?

— Да.

— У меня есть знакомая девочка, — сказала Анна и остановилась, слушая: в прихожей что-то звякнуло, слышались голоса. Мужчины вернулись из магазина. — Так вот, этой девочке, ей двенадцать лет, в школе велели записывать каждый день, какая на улице погода, какой ветер, температура. Каждый день...

Геля посмотрела на Анну и засмеялась.

— А зачем? Каждый день зачем?

— Зачем? — Анна даже растерялась. В дверь заглянул Степан, позвал к столу.

— Все готово, — сказал он.

— Степа, я тут побуду. Сидите, разговаривайте.

Степан молча кивнул и скрылся.

— А вот зачем... Понимаешь, она теперь видит, когда распускаются почки на деревьях, какой цветок появился раньше других... Но не только это, ее уже многое занимает. Она научилась задумываться и наблюдать. Уж поверь мне, я знаю, какой это стал живой ребенок. А ведь правда, приятно проснуться и знать уверенно, что новый день будет тебе в радость, что все вокруг так интересно! Почему бы тебе не поглядывать за природой? Это очень забавно. Что ты на это скажешь, Геля?

— Я попробую под... поглядывать...

Из прихожей донеслось приглушенно:

— Это почему же на три, коли нас двое?

— А ты считай. — Послышался смехок Степана. — Раз посчитаешь, два, может, и догадаешься.

— Смотри, какой ты стал ловкий!

— Ха-ха-ха! Со встречей! Вот так! А теперь — твоё здоровье!

— Ловкий, ловкий! Бес, и только, — голос у Ивана обижен.

— Девочка, которую я знаю, очень хитрая. — Анна с беспокойством вглядывается в напряженное лицо Гели, которая слушает разговор в прихожей. «Что ее так занимает?» — Так вот, эта девочка всегда сверяет свои наблюдения с бюро погоды. Очень смешно бывает слушать ее. Она живет в нашем общежитии, дочка нашего коменданта, и смешно бывает слушать, как она разговаривает по телефону. Ей отвечает автомат, там все записано на пленку, а она не может об этом догадаться. Раз у нее не

сошлось направление ветра. «Дяденька, а вы не ошиблись?» — спрашивает она и ждет. А автомат отбарабанил свое: «Сегодня по нашей области наблюдалась...» — и выключился. Тогда она снова звонит. «Дяденька, мне кажется, вы ошиблись, ветер сегодня северо-западный». В трубке: «Сегодня по нашей области...» — и снова щелчок. «Фу, какой!» — сердится она и опять упрямо набирает номер, ей все хочется доказать свое. И только автомат подключился, она кричит: «Как хотите, а ветер сегодня северо-западный!» — и гордо отходит.

— У нас здесь нет телефона, — вставила Геля.

— Ну, разумеется. Я хотела просто немножко тебя позабавить.

Потом они идут в прихожую. Мужчины пьяные, Степан, так совсем.

— Пора домой, — говорит Анна.

— Еще не все, — упрямится Степан. Перед ним две стопки и обе полные. Он выпивает одну и тут же следом другую. Перед Иваном только одна стопка. Он недовольно приговаривает:

— Ловкий, ловкий!

Он и не пытается изменить положение. Видимо, считает, что все идет по справедливости.

Анна первый раз видит Степана в таком состоянии, и он ее пугает. Попытка придержать его, когда идут по улице, удастся ей с великим трудом; им не хватает узкой улочки и попеременно, то она, то он, ударяются о забор.

— И у нас будет свой дом, ко... кооперативная квартира, — бормочет Степан.

— Будет, будет кооперативная квартира, — соглашается Анна.

Мать встречает в калитке, она уже давно заметила их, но не вышла навстречу. Крупная нижняя часть лица гневно подрагивает.

— Что ты его не остановила? Жалости в тебе нет!

Она легко подхватывает Степана и ведет его в сад. Там под яблоней устлана постель. Степан валится и тут же храпит.

— Он был у родного брата, — коротко, звенящим голосом отвечает Анна. Ей кажется, что эти слова все объясняют.

Какой беспокойный закат! Что-то гнетущее в багрово-красном небе. У горизонта полосы облаков, и они тоже багрово-красные. Нестерпимая духота, мелкая мошкара облепляет лицо. Темные ветки яблонь гнутся к земле, изнемогают от тяжести. Тихо, ни звука, ни крика ночной птицы.

Но вот в дальнем конце сада зашелестела листва, глухо стукнуло и зашуршало по траве сорвавшееся яблоко. Потом еще порыв ветра, еще, и вот уже весь сад загудел, ожил. Стало темно, вдали прогрехотал первый гром.

Одна капля, вторая, и вдруг забарабанил по деревьям, по крыше дома, по иссохшей земле веселый освежающий дождь. Но это было еще только начало быстро advancing грозы. Она шла с ветром, грохотом, с торопливыми сполохами молний.

Степан, метавшийся до этого в постели, спал сейчас спокойным сном младенца. Ветер швырял яблоки на одеяло, они катились по земле. Анна подобрала одно из них, надкусила, оно показалось ей горьким. Она сидела на корточках, прижав голову к коленям и старалась ни о чем не думать. Воздух стал свежим, капли дождя холодили тело. Одно время ей подумалось, что надо перебираться под крышу, но лень было вставать, лень будить Степана.

Черная тень мелькнула от дома. Это была старуха в накинутом на голову черном платке. Она торопилась, кричала:

— Окаянные! Что же вы постель мочите?

Она рывком схватила одеяло, скомкала и бросила на руки вскочившей в испуге Анне, потом выдернула из-под Степана матрац и побежала с ним по разъезжающейся земле к дому...

Утром уже не было ни одной тучки. Солнце снова золотило яблоки, омытые дождем, посверкивали росяные капли на освеженной листве.

Старуха ходила по саду с корзиной. Яблок нападало много. Подбирая в корзину, она молча и сокрушенно вздыхала. Паданцев набрался целый мешок, а им еще и конца-краю не было.

Степан вышел помятый, потягивался, щурился на солнце, поводил носом. Запах яблок будоражил его. «Знат-

ный, видать, ветрище был», — думал он, наблюдая за матерью. Она сердито сказала:

— Снеси на базар. Да пошевеливайся, много нынче нанесут.

И вот он уже с мешком на плече идет по осклизшей, еще не просохшей дороге к центральной площади поселка. Сзади, с корзиной и ведром, доверху насыпанными яблоками, торопливо спешит Анна. Рынок возле площади. Там много народу. Яблоки продают под навесами и прямо на земле. Весов ни у кого нет, меряют ведрами. Воздух пропитан запахом яблок и осенней свежестью.

Степан зорко приглядывается, выбирая побойчее место. Потом сбрасывает мешок рядом с молодой торговкой в белом платке, козырьком спускающимся на лоб. Перед торговкой стиральная холстина с аккуратно уложенной горой яблок и ведро, узкое и высокое. Сама она сидит на низкой скамеечке. Все у нее опрятно — и холстина, и красиво сложенные яблоки, и ведро, и сама она опрятна — яркогубая, здоровая.

— Встанешь здесь. — Степан показал запыхавшейся Анне место. — Уступчивость особую не выказывай, цена у всех одинаковая.

— А ты? — Анна растерялась, почувствовав, что придется остаться одной.

— Схожу еще раз. Оставайся.

— Я без тебя не смогу.

— Сможешь.

— Степа!

Но он уже скрывается в толпе. Молодая торговка еле заметно улыбается.

— Первый раз, поди? — добродушно спрашивает она.

— Первый...

— Ничего, привыкнешь.

Но Анне не хочется привыкать, ей совсем не по душе торговать яблоками.

— А ну, красавец, медовых, — обращается торговка к проходящему мужчине. — Только ко рту поднесешь, тают.

— Зачем мне такие яблоки, — усмехается тот, — если они, в рот не попадая, тают. — Но, привлеченный свежим, улыбающимся лицом торговки, останавливается, берет яблоко, сочно надкусывает и блаженно жмурится. Рука тянется к карману за плетеной сеткой. Сетка растягива-

ется, в нее уходит два ведра. А Анна завистливо косится.

Если бы только немножко смелости, безобидного нахальства! Что у нее — улыбка хуже? Или румянец на щеках не такой нежный?

Но пока она только робко и тоненько покрикивает:

— Попробуйте! Вы только попробуйте, таких яблок вам нигде не найти!

Свой голос ей кажется противным, никогда не замечала в себе такого униженного, гадливого тона.

Минуя ее, к молодой торговке подходит старушка. Она не рискует надкусывать яблоко беззубыми деснами, мнет его коричневыми сморщенными пальцами.

— А дешевле? — спрашивается она.

— Куда уж дешевле, матушка! Сама видишь, нельзя дешевле.

Этот странный довод убеждает старушку, торговка насыпает ей полную сумку. Обе довольны.

— Попробуйте моих, попробуйте! — взывает Анна.

Кое-кто оглядывается на нее, но идут мимо. В конце концов Анне надоедает: она достает из сумочки блокнот, вырывает страничку и пишет: «Золотые яблоки» и ставит цену. Листок привлек внимание человека в железнодорожной форме.

— М-да!.. — тянет он, качнув головой. — Действительно золотые.

Щеки у Анны пылают, она комкает бумажку в кулаке.

— Я уступлю, — чуть не со слезами говорит она железнодорожнику. Ей почему-то кажется, что если с этим покупателем сделка состоится, дальше все пойдет, как нельзя лучше.

— Ну, пожалуйста! — просит она, готовая отдать ему полное ведро румяных яблок задаром. Только бы он взял! Но железнодорожник проходит, взглянув на нее с подозрительностью.

Соседка уже давно присматривается к ней, иногда сочувственно усмехается.

— Ай нездешняя?

— Нездешняя, — подтверждает Анна.

— Вот и обходят тебя. Мы здесь примелькались, к нам доверие. А тебя видят — нездешняя, обходят.

Объяснение было не очень вразумительным, но достаточным для Анны. «Придет, — думает она о Степане, — и пусть что хочет делает со своими яблоками».

Соседка уже почти расторговалась: мешки пустые, на холстине небольшая грудка.

— Знаете что? Почему бы вам не купить у меня яблоки, все сразу? — предлагает она торговке. — Сколько вы мне дадите за ведро?

— Не подорожишься — куплю.

Анна отдает ей яблоки за половинную цену, но это ее не заботит. Торопливо начала пересыпать ведро за ведром. Вытряхивала уже остатки из мешка, когда почувствовала неуютность от пристального взгляда. Оглянулась порывисто — так и есть: Володька и Рая стояли сзади, с любопытством разглядывали ее.

— Здравствуйте! — с неестественной бодростью воскликнула она. Скомканные в кулаке деньги, которые она не считала и которые они видели, стали горячими. Ей надо объяснить, что все произошло независимо от ее желания, но трудно найти нужные слова, и она растерянно молчит. Правда, с Володькой легко, он и без слов все понял.

— Умаялись? — с улыбкой спрашивает он. — Как отдыхается?

— Хорошо, — поспешно ответила Анна. — А вам?

— Неплохо. Зашли по пути яблок купить.

— Как! — поразилась Анна. — А разве?..

Володька начинает торговаться с молодой женщиной в платке, и Анна видит, как та наполняет его сумку яблоками из материнского сада.

С базара Анна бежала. К полученным деньгам она добавила столько же своих. Не очень вежливо швырнула их на стол перед Анастасией Акимовной. Та, щурясь, посмотрела на нее, но ничего не сказала, стала пересчитывать деньги.

— Могла продать и подороже, — разглаживая мятые бумажки, сказала она.

...В тот же день Анна уехала из поселка.

ЛЮБОВЬ И ТРЕВОГА

(из вьетнамского дневника)

ДОРОГА ОЖИДАНИЯ

Позади Ташкент, и теперь внизу горы, безлесные, скалистые, изрезанные глубокими ущельями. Солнце просвечивает быстро несущиеся дымные тучи, склоны вершин кажутся темно-красными. Летим почти четыре часа — и все такое же нагромождение камней. Если долго смотреть в окно, невольно приходит на ум: «Зачем столько гор?»

Уже где-то над территорией Афганистана столкнулись два встречных воздушных потока, видно, как дымно-грязные жидкие столбы завертелись в бешеной пляске. Смерч! Пилот огибает его и, чтобы уйти, делает крюк в сотню километров.

Пассажиры уже освоились за те десять часов, которые отделяют их от Москвы. Пока летели до Ташкента, были взбудоражены, изучали рекламную карту Аэрофлота «Москва — Азия», знакомились; глядя в иллюминаторы, сетовали: современная авиация... да, удобно, быстро, но что увидишь с высоты восемь тысяч километров? Сейчас дремлют.

В салоне много свободных мест. Впереди, откинув средний подлокотник, накрывшись пледом, уютно, как в постели, спит на двух сиденьях маленькая женщина, средних лет, темноглазая, со смуглой кожей. Познакомились с ней уже в Ханое, оказавшись в одной гостинице, — чилийская журналистка. Маленькая, неутомимая... Посмеивались над собой: куда бы ни пришли, успевала побывать вперед нас.

Рядом со мной молодой инженер, едет на строительство гидроэлектростанции вблизи Ханоя. Едет на год. К поездке тщательно готовился, перечитал все книжки о

Вьетнаме и, когда заходит разговор об этой стране, выглядит непререкаемым знатоком. Его осведомленность покоряет. Не вызывает у него любопытства нарождающийся месяц, который перевернулся и, как лодочка, плывет по небу — он где-то читал, что в этом полушарии месяц и должен быть перевернут и плыть по небу, как лодочка. Смотрю на Большую Медведицу, которая встала «на попа», ручкой вниз, и боюсь привлечь его внимание: а ну как опять скажет, что в этом полушарии Медведица и должна вставать «на попа», и пропадет радость узнавания нового.

В нашей делегации — все из разных городов, расселись по салону вперемежку с другими пассажирами. Как сказал Борода, художник-волжанин, еще не притерлись. На часовых остановках, пока самолет заправляется горючим для очередного броска, приглядываемся друг к другу. А руководитель, старый писатель Жан Грива, охватывает взглядом всех сразу, как наседка цыплят. Таковыми мы ему кажемся и по возрасту, и по опыту зарубежных поездок, и мы все жмемся к нему — не потому, что чего-то робеем, просто приятно быть возле просмоленного ветрами старого морского волка, бывшего бойца Интернациональной бригады в Испании. Правда, среди нас есть еще человек в возрасте, доктор-глазник, большой друг какого-то персидского шейха (лечил шейха, и успешно, а после был гостем, катался по пустыне на верблюдах!). Доктор бывал в Европе, Азии, Латинской Америке, но он далек от того, чтобы относиться к нам снисходительно, сам послушен.

До Ханоя предстоят остановки в Карачи, Калькутте, Рангуне, Вьентьяне. Заморенные липкой духотой (после московского-то морозного воздуха!), слабо приглядываемся к местным красотам. Но пока летели к Бирме, остался в памяти чудесный звездопад, какой бывает у нас в августе. Сделали остановку в половине первого ночи, а по местному времени — раннее утро. Но даже в эти часы воздух удушливый. Прошли двести метров до здания аэропорта — и рубашку хоть выжимай. Одно утешило: видим молодую бирманку, красавицу в национальной одежде, которая приветливо приглашает отдохнуть, выпить бутылочку освежающего напитка. Пошли за ней бодрее. Но справедливо отмечают, что красота мимолетна: бирманка провела нас в зал и как в воду канула, пя-

лим глаза — нигде нет, как нет прохлады в здании с кондиционированным воздухом.

Последние часы полета. Бортпроводница сообщает: «Пролетаем над Луанг-Прабангом». Внизу белое покрывало облаков. Загораются световые буквы: «Застегнуть ремни. Не курить». Это значит, приближаемся к Вьентьяну. Какими ничтожно малыми кажутся страны, когда лежишь на самолете! Вроде бы придти в себя не успели после взлета, и вот новая посадка, новая страна. Заглядываю в справочник: от Рангуна до Вьентьяна тысяча четыреста километров.

Ровно через сутки после вылета из Москвы пересекли последнюю границу. Началась земля Северного Вьетнама. Небо без облаков. Внизу горы, но уже сплошь в зелени — покрыты вечнозелеными тропическими лесами. Солнышко отбрасывает тень от самолета. Опять световые буквы: «Застегнуть ремни». Скоро Ханой.

СОЛДАТЫ

Утром будит странная песня: ликующий крик, торжественный, величавый! Что это? Молитва? Сперва подозрение: голос донесся из комнаты сопровождающих нас вьетнамцев. Но кто там может молиться? Товарищ Хоа, или молодой Хинь, или весельчак шофер? Нет, не то...

Выбираюсь из-под москитной сетки, которая натянута над постелью. Около шести утра. Из-за гор поднимается солнце.

На балконе вижу профессора из Свердловска, любителю, как всходит огненный шар. Вчера товарищ Хоа, как привез нас сюда, растолковал через переводчицу: «Вправо можно ходить сто метров, влево можно ходить сто пятьдесят метров, назад ходить... — он на мгновение задумался, соображая. — Назад не надо ходить. Ходить надо вперед, в море». Мы поняли его: и справа, и слева, и сзади находятся оружейные установки береговой обороны. Время напряженное (американцы еще тогда не ушли из Вьетнама). Вот и вечером, в темноте, видели в море цепочку огней. Говорят, это корабли седьмого американского флота. Поняли, но легче не стало. Позавидуешь солнышку: поднялось и катится, не ведая, что туда нельзя и сюда нельзя.

шей пользой. Помощник Хоа, молодой товарищ Хинь (так мы его звали с первых дней), уже сносно разговаривавший по-русски, беспечно сказал в ответ на наши сетования:

— Дней много, хватит.

У него живые, кофейного цвета глаза и гладкая, словно натянутая кожа на лице. Он сидит рядом с Хоа, принимает участие в беседе и, не переставая, выщипывает редкие волоски на подбородке. Потом-то я видел специальные для этого дела щипчики. Оказывается, выщипывать бороду так же обычно, как и брить ее, но тогда его действия показались ничем не обоснованным издевательством над собой. Я вмешался и был наказан.

— Поднимемся в номер, — сказал я ему. — Дам бритву.

Хинь сверкнул кофейными глазами и наставительно сказал под хохот остальных:

— В жизни у всех разные дороги, а могила общая.

Что дороги разные, понятно, но к чему было приплетать «общую могилу»? В тот же вечер Хинь подбросил еще несколько забавных реплик, и мы окончательно влюбились в него и с каждым днем все охотнее наслаждались беседой с ним.

Теперь, заметив, что мы не знаем, чем заняться, он появился с двумя спиннинговыми удочками и банкой свежих креветок.

— Ловись, рыба! — радостно возвестил Хинь.

Одну удочку взял Борода, другая досталась мне. Садимся на мол. Не знаем, надо ли поплевать на креветок, как на червяка, — на всякий случай поплевали.

Сзади толпа любопытных. Вот-вот сейчас блеснет на солнце пойманная рыбина! Но, видно, и в Южно-Китайском море рыба так же не хочет клевать на удочки. Любопытные, проронив несколько иронических замечаний, расходятся.

Неподалеку ловит вьетнамец, наверно, свободный от дежурства солдат. Удочка у него спиннинговая, с кольцами, но вместо катушки он держит левой рукой какой-то странный блестящий предмет. Подошли поближе, наблюдаем. Предмет оказался обыкновенной консервной банкой, но без крышки и донышка, просто пустотелый цилиндр, на него намотана леска. Вот он взмахнул удочкой — и леса поползла с банки. Как только поплавок ко-

снулся воды, он прижал леску пальцем, не дал ей сматываться дальше.

Пораженные простотой и удобством изобретения, отходим к своим удочкам. Борода считает, что нам надо забрасывать дальше, в этом все дело. Но груз мал, катушка старая, ржавая, и закинуть, как следует, не удается. Подумав, он дополняет грузило камнем. Теперь леса размоталась, но поплавок нет, его утянул на дно камень. Чертыхнувшись, он сматывает удочку и уходит...

Я все-таки поймал рыбу. Окраской чем-то похожа на нашего ерша, но шире и покрупнее. Довольный, пошел показывать скучающим друзьям.

Всеобщее оживление. Рыбу рассматривают, взвешивают на ладони. Потом зовут Хиня.

— Что за рыба? Как называется?

Хинь долго и подозрительно оглядывает ее, смотрит на нас.

— Я лично думаю, это морская рыба, — сообщает он. Нет, невозможно не влюбиться в молодого Хиня.

КОРМИЛЕЦ

— Тяо данти! — старательно выговорил я, делая ударение на последнем слогe и помня, что слова надо произносить протяжно.

— Данти, данти, — ответил он на приветствие, искоса взглядывая на меня и в то же время не переставая нажимать грудью на доску.

— Ты чего ловишь? — спросил я, забыв, что ответить он все равно не сможет.

Второе утро вижу его. Чуть взойдет солнце, мальчик появляется на берегу с рыболовной снастью. Длинный шест, а от него идут распорки. К шесту и к ним привязана сеть. Сооружение чем-то напоминает нашу наметку, но в увеличенном виде. Правда, наметкой ловят с берега, опускают ее сверху в воду и подгребают под себя. Здесь же на распорки надеваются «башмаки» с круто загнутыми носами (сделаны из какой-то толстой коры), чтобы не врезались в дно, скользили. Снасть толкают вперед. Для упора на шест насаживают поперечную доску, грудью упираются в нее.

Вчера я наблюдал за ним. Начинался отлив, и ему приходилось удаляться от берега все дальше и дальше.

С размеренной монотонностью, терпеливо выполнял он нелегкую для него работу. Затем, ближе к полудню, на берегу появилась пожилая женщина, что-то крикнула мальчику, и он вытащил снасть из воды.

Тут я разглядел его лучше. Было ему лет двенадцать. Широкое лицо, широкий нос и очень серьезный, взрослый взгляд. На голове шапчонка, чем-то похожая на красно-армейский шлем, но без шишака, на плечи наброшена истлевшая рубашка — все это защита от солнца: вьетнамское солнце даже зимой печет.

Пожилая женщина расспрашивала его, он отвечал. Потом они отвязали сеть и ушли. Мальчик, перед тем как уйти, затащил кол с распорками повыше, на камни, куда не доходила морская волна во время прилива.

Сегодня, увидев, как он настойчиво ходит взад и вперед вдоль берега, я не выдержал, разделся и подошел к нему. Меня заинтересовал этот парнишка, заинтересовала пожилая женщина, которая пришла с ним утром, помогла наладить снасть и стояла несколько минут, наблюдая, как он принялся за работу.

— Чего ты ловишь? — опять спросил я его, помогая понять вопрос жестами.

Он скупо улыбнулся и показал, что надо дело делать, — какие там разговоры! Пришлось согласиться с ним и начать дело делать.

Я старался, как мог. Время от времени парень оставлял мне шест, а сам, встряхивая, перебирал сеть. Я видел, как мотня с мелкой ячеей заполняется студенистой массой. Вдвоем мы волокли снасть куда быстрее. Иногда через верхние края распорок, выскакивая из воды сантиметров на двадцать-тридцать, перелетали светлые рачки, похожие на креветок, но маленькие. Парень, как бы забавляясь, ловил их на лету рукой и отправлял в рот. Оказалось, что за этими рачками мы и охотились.

Мы закончили лов, когда в мотне у нас был клубок размером с футбольный мяч. Наверно, это был удачный улов, потому что и женщина, пришедшая встречать мальчика, и он сам были оживленны. Я сидел на камне, стараясь не раскрывать рта: от непривычного долгого хождения в воде зубы выбивали дробь. Они отвязали сеть и ушли.

И еще утро, пока не подали автобус, мы ловили с ним светлых рачков, которых, оказывается, можно есть сы-

рыми, можно сушить на солнце и потом щелкать, как семечки, и можно варить вкусный суп.

Ухватившись за кол, я ухнул в воду по самый подбородок. Какая уж тут сила, еле-еле преодолеваешь сопротивление воды. А моему парню вода была по грудь. Сначала я решил, что попал в яму, стал подворачивать к берегу. Парень поднялся из воды до пояса, а у меня еще плечи не совсем показались.

— Эй! — перепуганно закричал я ему. — В чем дело?

На этот раз он легко понял меня. Выбрались на мель, и он поднял ногу. Он был на ходулях.

В детстве мы делали ходули. Берем шест длиною метра два, где-то чуть ниже середины приделываем ступеньки и шагаем. Верхняя часть шеста под мышкой, управлять легко. У моего парня шест оканчивается чуть выше колена, круглая резинка стягивает его с ногой. Споткнулся вдруг, стал падать, резинка соскакивает, можно спрыгнуть на ноги.

На этот раз мы остались без улова — креветка почему-то отошла от берега, и все старания не привели ни к чему. Опять его встречала старая женщина, помогла отвязать пустую сеть. Она ничего не говорила, молчал и мой парень. Потом они ушли...

Я так и не узнал, как его зовут. Когда спросил, он сказал — Чэн. Но это могло быть и не имя.

Я снова сидел на камне и все пытался додуматься, кто же он, этот мальчик, что каждый день приходит к морю, толкает перед собой тяжелую рыболовную снасть, управляться с которой впору взрослому, сильному человеку? Кто эта женщина со скорбным лицом?

Здесьнее место на берегу обширного Тонкинского залива является заградительным постом на пути к крупным городам Северного Вьетнама, тут много и жестоко бомбили. Возможно, и мать и отец погибли во время одной из бомбежек, и он остался единственным мужчиной в доме, кормильцем. Бабушка, чем может, помогает ему, ободряет. Пожалуй, так оно и есть. Иметь взгляд взрослого, всепонимающего человека в десять-двенадцать лет, почувствовать ответственность перед другими и взвалить на себя непосильную работу — для этого надо пережить многое.

Сопровождающие наши уходят отдыхать в гостиницу. Зовут и нас.

— Нельзя не спать, — с укоризной и заботой говорит Хинь.

Вьетнамцы встают рано, и в пору, когда наступает жара, жизнь замирает.

Мы тоже не прочь отдохнуть. В Хайфон нас привезли на автобусе. Узкие вьетнамские дороги сплошь заполнены велосипедистами. Шофер, в машине которого имеются два сигнала — тонкий, пронзительный, и рывкающий, с МАЗа, — кажется, не выключал их ни на минуту все сто с лишним километров. Голова поэтому гудит. Но мы знаем: нас сегодня повезут в порт, где стоят советские корабли, затем предполагается поездка на цементный завод, разрушенный и восстановленный заново с помощью советских специалистов, затем... Затем молодой товарищ Хинь пообещал:

— Я лично думаю, если мы достанем билеты, то будем слушать в хайфонском театре оперу.

У него такая привычка — говорить: «Я лично думаю».

Прикидываю, сколько времени займет запланированная программа на весь остаток дня (утром уезжаем дальше), и выходит, часу не выкроить, чтобы побродить по городу.

И несмотря на то, что жарко, несмотря на то, что голова гудит, я выбираюсь на улицу. Плана у меня нет. Но это даже лучше: когда мы ходили по Ханюю без всякого плана, куда глаза глядят, оказывалось, натыкались на самое интересное. Иногда плутали. Но вьетнамцы с интересом изучают русский язык, не чувствуешь себя, как в пустыне: покажут и расскажут, куда пойти. Вот пытаться самому говорить по-вьетнамски не следует. Как-то заблудились, не можем найти гостиницу. Одни указывают, что надо идти в одну сторону, другие — в другую. Обратились за помощью к милиционеру. Дернуло обратиться по-вьетнамски. Милиционер улыбнулся и стал добродушно рассматривать наши лица. Длилось это, пока кто-то из нас не произнес русскую фразу.

— Вам в отель «Тхонгтхянг»? — сразу спросил он на чистейшем русском. — Так это надо идти сюда.

Мы посмотрели на него с любопытством и тоже улыбнулись.

Имея уже какой-то опыт — во Вьетнаме мы четвертый день, — я храбро пускаюсь в путь.

Впереди широкий и зеленый бульвар, который вдруг сразу обрывается, заканчивается спортивной площадкой. Там гоняют футбольный мяч, а две команды в форменных майках усердно играют в волейбол. Лица европейские: значит, моряки с кораблей, которые стоят в хайфонском порту.

Перед глазами будка фотографа, на подставках — витрина со снимками. Неплохо бы привезти снимок на фоне исполинского дерева баньяна, воздушные корни которого сказочно спускаются с ветвей почти до самой земли. Соблазнов много, но пересиливает жажда узнавания.

Сзади слышится восторженное и уже привычное для уха: «Льен-со! Льен-со!» Это детишки. Они безошибочно отличают советского человека от остальных иностранцев и кричат: Льен-со! — что значит: советский человек. Особенно запоминается один, лет пяти, в старенькой рубашонке. Для него льен-со — человек с другой планеты. Круглые глазенки у него горят. Колодки, привязанные ремешками к ступням, гулко шлепают по нагретому солнцем тротуару. Другие, насладившись разглядыванием, отстали, а этот шлепает и шлепает сзади. Роюсь в уже отощавшей коробочке и выбираю ему значок с изображением Ленина. Пусть у него будет память. Пойдет в школу и узнает имя человека, который популярен во Вьетнаме, как и Хо Ши Мин. Труды вождя пролетариата выставлены на витринах всех книжных магазинов. Несколько непривычно читать знакомое имя, разделенное на слоги: «Ле-нин».

— Льен-со, — говорит малыш удовлетворенно и разглядывает значок, а потом, зажав его в руке, несется назад.

Я попал в квартал, где живут ремесленники. Во вьетнамских городах многие улицы имеют цеховые названия — улица Парусная, улица Серебряников, улица... Пожалуй, я попал на улицу Корзинщиков. Разбегаются глаза от множества прекрасно сделанных разноцветных сумочек, вееров, всевозможных корзин, которые висят гирляндами у входа в каждую лавочку.

Вся жизнь семьи ремесленника на виду. В глубине помещения стоит стол, на нем чайный сервиз, термос с горячей водой — на случай, если зайдет гость. Его угощают зеленым чаем, который тут же и заваривают. Видны топчаны с расстеленными циновками. Ползают ребяташки. Кто-то сидит, ест, кто-то работает. А передняя часть этой лавочки-квартиры завешана готовыми изделиями. Стоишь на тротуаре и выбираешь, что тебе нравится. Выбрал — зовешь хозяина. Спрашиваешь на пальцах, сколько стоит? Так же на пальцах тебе отвечают. Не состоялась сделка — на лице не увидишь никакой обиды.

Кончается улица, и я опять попадаю на бульвар, где сталкиваюсь с ребятами, которые копошатся возле свежего пня. Каждый не старше восьми-десяти лет. У них длинный металлический стержень, нечто вроде зубила, и довольно тяжелая кувалда.

Ребята заметили любопытство льен-со... Предложили кувалду.

Видно, это было старое дерево, угрожавшее пешеходам, и его спилили. Дерево увезли, а пень остался. Ребяташки пытались разбить его на щепу: в городе, где во многих домах пищу готовят в очагах, дрова просто так не валяются.

Объяснялись мы двумя русскими словами и жестами. Каждому из них хотелось держать зубило, наставлять его. Когда оно вставало так, чтобы без лишних усилий отколоть кусок пня, я говорил: «Хорошо!» Когда щепка отскакивала, я опять говорил: «Все!»

Пень мы выкорчевали. Я с облегчением сказал: «Все!» А потом похвалил их: «Хорошо!» Ребята были довольны. Они собрали щепу на тачку и потянули меня с собой — расставаться им не хотелось. Но время... едва успею добежать до гостиницы. Они поняли и не стали настаивать. «Все! Хорошо!» — сказал самый старший из них и, подняв руку, потряс ею. И когда я уходил, они дружно, как приветствие, продолжали кричать:

— Все! Хорошо!

* * *

Во вьетнамских ребяташках нас поражало трудолюбие. Разоренная многолетней войной страна испытывает

большие трудности. И хоть лица людей, которых мы встречали в городах и сельских районах, всегда спокойны, даже веселы, живется им нелегко. Не случайно ребенок, едва научившись ходить, уже помогает взрослым. Крохотный малыш забирается в пруд, перед ним на воде плавает плетеная корзина в виде большой чаши, — он собирает водоросли на корм скоту. Водоросли эти называются бео, по-нашему — чечевица, их специально выращивают к сухому сезону, когда солнце сжигает траву и скоту нечем кормиться.

По обочине дороги бредет медлительный буйвол, щиплет траву. Чтобы далеко не ушел, на его спине сидит подпасок, и лет ему пять-шесть.

Война наложила отпечаток на все воспитание. На площадке возле школы под руководством учительницы ребята отрабатывают ружейные приемы. Но дети всегда остаются детьми. Рассматриваю школьные тетрадки. У девочек, как правило, аккуратный красивый почерк, ни единой помарки, у мальчиков почерк беспокойный, небрежный. Лукаво посверкивая глазенками, показывают на стоящего поодаль паренька: заляпанная белая рубашка, помятый воротник, взгляд исподлобья, вызывающий. Ясно — двоечник! Открываю его тетрадку — батюшки! Клякса на кляксе, на уголках такие четкие отпечатки пальцев, что им бы позавидовало американское бюро расследований.

Шли по улицам вечернего Ханоя. В эти дни город встречал камбоджийскую правительственную делегацию — всюду флаги, транспаранты. По улице ехала грузовая машина, в кузове которой стоял какой-то громоздкий предмет. Машина задела за натянутую поперек улицы бечевку с флажками, оборвала ее. Показались два подростка на велосипедах. Увидев такое, остановились. Собрали флажки и аккуратно сложили у дерева. Даже словом не перемолвились, сделали, как обычное. Потом вспрыгнули на велосипеды и уехали.

У нас бы так-то!

ШАХТА КОНШАУ

Дорога поднимается вверх. Слева она жмется к скалам, а справа, внизу, по-за деревьями, иногда мелькает море — голубоватая гладь воды, куда хватается глаз.

Еще утро, и, пока не знойно, шофер торопится взять подъем. В автобусе тишина. И вдруг неистовый крик Хиня:

— Попфей! Попфей!

Что за невиданный зверь «попфей»? Все таращатся в окна, стараясь увидеть его в зарослях непроходимого кустарника.

— Может, медведь, а? Хинь? — неуверенно спрашиваем вьетнамца.

— Э-э! — в отчаянии машет он рукой. — Не то... Попфей! — Он не знает, как объяснить.

Наконец, с помощью переводчицы, обаятельной Лин Лан, выясняется, что невиданный зверь «попфей» — подземная река. На асфальтовой дороге вырезан квадратик не более облицовочной плитки. Если в отверстие бросить плавающий предмет, часа через два его можно увидеть в море. На обратном пути так и сделали и поверили на слово, что, когда станем подъезжать к Камфе, наша дощечка уже будет покачиваться в волнах. А сейчас некогда, едем в Хонгай, шахтерский район.

Автобус остановился у современного здания с большими окнами, покрашенного в желтый цвет, — контора шахты Кокшау. Поднимаемся на второй этаж.

Встречают приветливые люди, усаживают за длинный стол, на котором термосы с кипятком, чашки. Сначала обычный при встречах чай и взаимные любезности — «как поживаете?» — а затем представитель дирекции товарищ Хуонг рассказал о предприятии. Бедная Лин Лан! Она легко переводит обычные разговоры, а технические термины ставят ее в тупик. Мы настолько обнагтели, что нет-нет и подскажем ей, о чем говорит товарищ Хуонг.

Одиннадцатью правительственными орденами награждена шахта за трудовые достижения и боевые заслуги. Все длительные годы разрушительной войны рабочие перевыполняли государственный план. Им мешали налеты американской авиации — они вставали к зенитным установкам, брали в руки винтовки. Раз стервятник упал прямо на территории шахты. И с тех пор не так безбоязненно стали пиратствовать летчики над этим районом.

Шахтеры Хонгайского района помнят дату 6 ноября 1929 года. В этот день они вышли на демонстрацию — впервые отметили годовщину Октября. В гости к ним прибыли советские моряки с торгового судна, остано-

вившегося в порту Камфы. С тех пор развивались и креп-ли революционные традиции. В ноябре 1936 года одним из первых шахтеры подняли восстание против француз-ских колонизаторов.

Сейчас Кокшау — передовое предприятие в стране, отлично оснащенное советской техникой. Много внимания уделяется быту шахтеров: есть свое подсобное хозяйство со свиноматкой, есть рыболовецкая бригада. В услови-ях, в каких живут вьетнамцы, это очень важное под-спорье.

Есть детский сад на 380 мест, есть свой кинотеатр, работают коллективы художественной самодеятельности, 15 спортивных команд защищают в соревнованиях честь шахты.

Уголь здесь добывают открытым способом, и запасов его хватит не менее, чем на сто лет. Это пока, по нынеш-ним данным, изыскания продолжаются.

Нас повезли посмотреть, как его добывают. С горы сняли шапку, а под ней оказался мощнейший пласт чис-того антрацитового угля. Толщина пласта — не менее пятнадцати метров. У подножия стоит наш могучий уральский экскаватор, к нему цепочкой подъезжают на-ши же мощные самосвалы. Три-четыре ковша — и кузов полон. Погрузка машины заняла не более двух минут.

На боку экскаватора лозунг: «Мы живем, трудимся и боремся по заветам Хо Ши Мина!» Выше — вымпел Сою-за трудящейся молодежи Вьетнама.

В перерыв машинист экскаватора вышел к нам.

— Лучший рабочий предприятия До Куанг Лок, — познакомил с парнем представитель дирекции. — Член Союза трудящейся молодежи.

Обменялись рукопожатиями. Профессор, юрист-меж-дународник из Свердловска Геннадий Владимирович Иг-натенко, часто бывающий в цехах «Уралмаша», спросил До Куанга:

— Что передать уралмашевцам?

— О! — парень одарил профессора белозубой улыб-кой. Ему приятно встретить человека из города, в кото-ром сделана его машина.

— Я мечтаю приехать к ним, когда будет лучше... когда будет мир, — поправился он. — А сейчас скажите: машина помогает мне быть первым. Спасибо! — послед-нее он произносит по-русски.

И опять самосвал за самосвалом подъезжает к экскаватору. Идет напряженная работа.

Товарищ Хуонг решил показать, как ведутся вскрышные работы. Остановились на площадке, откуда была видна высоченная гора. Наверно, у каждого из нас екнуло сердце: бульдозер, казавшийся снизу детской игрушкой, подгребал к краю горы породу и сваливал ее по почти отвесному склону. Высота горы не менее пяти сотен метров.

— Да-а! — только и могли мы произнести, боясь даже представить себя на месте бульдозериста.

— У нас работают и советские специалисты, — сообщил товарищ Хуонг.

Мы поинтересовались: нельзя ли их увидеть? Оказалось, нельзя, далеко отсюда работают. Может, товарищ Хуонг помнит их фамилии? Из каких городов приехали? Товарищ Хуонг не помнит: русские фамилии трудные. Городов он тоже не запомнил, но имена знает.

— Петя, Саша, Коля...

Мы встретили потом советских специалистов — шахтеров. И хоть они оказались не теми Петями, Сашами, Колями, но это были наши ребята, которые в непривычном для них климате трудятся, передают накопленный опыт вьетнамским рабочим, и им за это благодарны. Приехали они из района Камфы, где восстанавливают шахты, разрушенные еще французами при отступлении. У них был выходной день. Ребята грелись на морском песке и говорили, что выбрались к морю в этом сезоне последний раз: во Вьетнаме сейчас началась зима, и как-то неприлично в такую пору залезать в воду. Они расспрашивали нас, сами рассказывали и, между прочим, поведали такую историю...

У них была кошка-любимица, которая напоминала им о доме. Когда были на работе, в поселок заполз удав. Кошка погибла, удава убили и освежевали. «Мясо приличное», — скромно сообщили они.

СЛОВО ЗА СЛОВО...

Поездка в Хонгайский угольный бассейн заняла весь день. Вернулись оттуда довольные и запылившиеся. Поэтому прежде всего — к морю. Солнце уже на спаде и не так печет. Но все-таки около 20 градусов есть.

Сел на разостланное полотенце, греюсь, делаю записи в блокноте. Рядом, за деревьями, дорога. Снуют велосипедисты, идут прохожие. У многих на шее замотаны шарфы — зима!

Сзади слышится шуршание песка. Это с дороги свернули два подростка, в гимнастерках и тоже с шарфами на шее. Остановились поблизости и делают вид, что их заинтересовало море. Но чем оно может заинтересовать местного жителя, если пустынно, если даже рыбацких лодок нет? Начинается прилив, но и это не в диковинку. Снова занялся своим делом и жду, что будет дальше. Делают крюк ближе к воде и оказываются впереди меня. Косятся, улыбаются. Потом один, наиболее храбрый, объявляет:

— Сигарет...

Я дал ему папиросу, спички. Он берет папиросу табаком в рот, силится поджечь мундштук. Я спокойно наблюдаю. Он заглядывает в лицо, опять смотрит на папиросу, недоумевает. Потом понял свою ошибку, весело рассмеялся, забыл и о куреве — знакомство состоялось.

В руках у обоих толстые тетрадки с плотными обложками. Шрифт латинский, читать можно, но только читать, а не понимать. Зато чертежи шкафов, каких-то длинных прилавок ясны без подписей.

— Вы из училища? Ремесленники?

Оба радостно улыбаются — ничего не поняли. Показал, как тешут топором, пилят. Закивали удовлетворенно, каждый проделал те же жесты.

На песке лежит моя рубашка. Внимание их привлек значок с изображением дядюшки Хо — нам их приколоты во время встречи с работниками вьетнамского «Интуриста».

— Хо Ши Мин, — говорит тот, что похрабрее.

— Тебя как зовут? — тычу себе в грудь пальцем, называюсь, потом ему. — Имя твоё?

— Иммя?

Берет у меня блокнот и старательно пишет: Ви Бинг Бьем.

— Ну, здравствуй, Бьем! — Узкая ладошка его крепкая, с шершавой кожей мастерового.

Товарищ его тоже пишет свое имя — Фам Нгай. Такая же шершавая ладонь у него.

Познакомились, но чувствую, что-то они не уяснили для себя. Бьем вдруг начинает ощупывать мое плечо. О чем-то оживленно переговариваются.

Ага! Тебе кажется странным, что я сижу раздетым и не зябну. Но, дружок, на улице теплынь, солнышко.

— У вас зима! — кричу им, как будто от крика они поймут лучше. — А у нас летом не всегда такие дни бывают!

Они напряженно вслушиваются и не понимают. Размахиваю руками, стараюсь объяснить — ничего не выходит.

— Ладно, — отчаявшись, говорю им, — я сейчас еще и купаться пойду.

Из всех сказанных слов Бьема почему-то заинтересовало слово «купаться». Видимо, с сильным ударением произносил я его.

Он старательно записывает понравившееся слово в своей тетради, пишет через «д». Я поправляю ошибку и вхожу в воду. Оглядываюсь, глаза у него округлившись.

— Купадся, — с трудом говорит он.

Наверно, решил: если какой-то чужак лезет зимой в воду, этому есть объяснение — слово «купаться».

Так вот и происходит взаимное обогащение языков.

У НОГО ЕСТЬ ВИНТОВКА...

Из земли бьет родничок. Промытый песок на дне его пузырится, живет. Вода такая свежая, чистая. Сейчас прильну — и застонут зубы от холода. Сразу вспомнились родные места, лесные тропинки...

— Э! — трогает меня за плечо Хинь. — Дома! Есть вода дома!

Он прав, этот все подмечающий молодой Хинь. Нам разрешено пить только кипяченую воду. Тропический климат! У хозяев есть какой-то рыбный соус с резким запахом, им они спасаются, потому что соус этот способен убивать бактерии. У нас нет привычки к климату, не употребляем мы и соус, но так хочется испить родниковой водицы. К тому же полдень, солнце печет до невозможности, а мы еще не захватили с собой шляп, конусообразных, соломенных шляп, которыми благоразумно запаслись в Ханое. Нам сказали, что прогулка займет несколько минут. Утешаюсь тем, что продираюсь от дороги на не-

сколько шагов сквозь колючий, цепляющийся кустарник и срываю лист бананового дерева. Он глянцевитый, прохладный, и им можно повязаться, как головным платком.

Идем по крутой каменистой тропке. Сзади, у подножия горы, весь в зелени, виден уютный домик научно-исследовательской станции лекарственных растений. Лечебные травы здесь выращивают на горных террасах, собирают также дикие. Правее — развалины зданий, когда-то строенных надолго, добротнo и красиво. Сохранились перила каменных лестниц, мосты через овражки и ручьи, кое-где через завалы даже можно пробраться в дом и там гадать, кто был его хозяином, что делал, о чем думал. Возле развалин растут мясистые, неправдоподобно огромные кактусы...

Обращаемся к переводчице:

— Лан! Спроси у товарища Хоа, что это? Результат бомбардировок?

Самый старший из сопровождающих нас вьетнамцев, сорокасемилетний товарищ Хоа, всегда озабоченный и несколько мрачноватый — особенно таким был в первые дни — прислушивается к вопросу. Со всеми вопросами, касающимися жизни страны, народа, обращаемся к нему.

Товарищ Хоа показывает рукой вперед.

— Смотри! — говорит он по-русски.

Он всегда внимательно слушает наши разговоры, старается понять их смысл и уже начинает преуспевать в русском языке. Умеет составлять целые фразы. Поспешное изучение иногда подводит его. Как-то запоздавшего к ужину Бороду встретил словами:

— Спокойной ночи!

Тот оторопел, решив, что за какие-то провинности его лишают ужина.

— Смотри! — показывает рукой товарищ Хоа.

Мы в горах, что-то на уровне тысячи шестисот метров. Внизу на многие километры тянется долина. Видны разбросанные деревни с зеленью пальм и бамбука. Ослепительными зеркалами сверкают на солнце водоемы. В долине выращивают рис, воды требуется много, и в сухой сезон крестьяне бережно хранят ее.

— Очень важная высота, — передает нам его слова переводчица. — Во время войны с французскими колонизаторами пришлось взорвать... Они здесь закрепились. Тут стояли загородные дома богатых колонизаторов.

Это было то время, когда французы, нарушив соглашение, захватили столицу Демократической Республики — Ханой. Президент Хо Ши Мин призвал: «У кого есть винтовка, пусть вооружится винтовкой, у кого есть меч, пусть вооружится мечом, если нет даже мечей, вооружайтесь мотыгами, лопатами или палками. Все, как один, должны подняться на борьбу с колонизаторами во имя спасения Родины». И горела земля под ногами оккупантов.

В Музее революции в Ханое мы видели партизанское оружие тех лет — старые ружья и хитроумные капканы; крестьяне горных районов использовали длинные бамбуковые копья. В джунглях, когда в двух шагах от дороги трудно обнаружить притаившегося человека, и копье было страшным оружием.

— Теперь строим новые, — рассказывает товарищ Хоа.

Новых домов всего пока два, в одном из них поселили нас. Построены они со вкусом, удобные. Но пока всего два... У государства еще нет средств, чтобы восстановить курорт. А место славится горным лечебным воздухом. Даже в пору тропических ливней, когда липкая духота изнуряет людей, здесь свежо, даже прохладно. Курорт называется Тамдао — Три Горы. Сейчас его больше посещают иностранные гости. Но это временно: Тамдао станет здравницей вьетнамских трудящихся.

ВОСЬМОЕ ЧУДО

Так называют вьетнамцы залив Халонг. Там три тысячи островов. Есть такие, что торчат из воды, как упавшие обломки скалы, есть поросшие лесом, с пещерами. Многие причудливой формы: то напоминают сурового монаха в клобуке, то будто два петуха изготовились к драке. Часами можно любоваться их красотой, особенно хороши они в закатное время.

Старенький катер ловко проходит узкими коридорами, которыми отделяются острова друг от друга. Вот он пристраивается кормой к одному из островов. Матрос спрыгивает на узкую каменистую площадку, захлестывает канат за острый валун и приглашает сходить. Поднимаемся по едва заметной тропке вверх — она стиснута густой вечнозеленой растительностью. Ветви цепляются

за одежду, и к тому же круто, прежде чем ступить, вы-
считываешь упор для ноги. Ну и, как полагается в та-
ких случаях, вперед вырываются молодые...

Поднялись — и увидели перед собой громадную пещеру. Внизу, как кукла-матрешка (такой она кажется издали), — самая молодая из нашей делегации — Таня Коневец. Она уже успела спуститься в пещеру и восторженно кричит, голос ее гулко раздается под каменными сводами. Таня — слесарь из Краснодара, депутат Верховного Совета республики. Она — наша общая любимица. Когда при встречах приходится говорить ответные слова, просят Таню. И она говорит, и все у нее получается просто, естественно, как надо. У нее яркое, с цветами платье, яркая косынка, потому она и кажется издалика матрешкой.

— Скорей сюда! — кричит она. — Увидите чудо!

Чудо заключается в том, что из пещеры есть выход, ведущий в другую пещеру, менее освещенную и потому мрачную. На сероватой стене надписи. Где только не побывает любознательный русский! Моряки оставили названия своих кораблей: «Н. Чернышевский», «А. Невский», «Волоколамск». Но особенно гордо звучит: «Дима. Аэрофлот».

Потом катер проходит мимо скалистого острова с небольшой песчаной площадкой. Остров носит имя Германа Титова. Он бывал здесь, выходил на этот уютный песчаный пятачок. Вьетнамские друзья в знак уважения к Советскому Союзу, его выдающимся людям, назвали остров именем космонавта.

Неподалеку от острова порадовали нас озорной игрой серые дельфины. Остромордые, с маленькими смешливыми глазками, они выскакивали из воды свечкой, как будто дразнились. Наверно, им было смешно видеть наше удивление, слышать восторженные: «Ах! Ах!» Потом им прискучило играть, и они стремительно понеслись по прямой, то зарываясь в воду, то выскакивая из нее. Вот они обогнули торчащий из воды шест с распорками.

— Лан? Спроси у Хоа, что это такое? Флагшток затонувшего корабля?

— Японский корабль, — подтверждает товарищ Хоа.

Товарищ Хоа знает историю своей страны. Его рассказ — гневный, с болью. Кто только не зарился на благодатную землю Вьетнама! Тринадцатый век — татаро-

монголы. В Музее революции в Ханое хранятся тронутые временем заостренные столбы, выточенные из железного дерева. Эти столбы вбивались в дно в удобных для высадки вражеских войск бухтах. Суда татаро-монголов напарывались на них...

Два века спустя простой вьетнамский рыбак Ле Лой возглавил восстание против китайских феодалов, захвативших к тому времени страну. Восстание завершилось успехом. Расцветали наука, искусство (об этом опять-таки говорят экспонаты в музеях, скульптуры в храмах).

Но недолго длилось мирное время. В начале девятнадцатого столетия протянули руки к Вьетнаму европейские страны. Сначала Англия. В 1809 году вьетнамцы воздали должное англичанам, ворвавшимся на кораблях в устье Красной реки. Отбили охоту к завоеванию чужих земель. Полста лет не прошло — появились французы. Захватили Ханой. Вьетнамский народ, как один, поднялся на защиту родины. Город был освобожден, руководитель французского оккупационного отряда Франсис Гарнье получил заслуженное наказание. Однако Франция оказалась упорнее своей соседки Англии. К 1882 году Вьетнам был полностью оккупирован французами. Властвовали они вплоть до 1954 года. Правда, во время второй мировой войны им пришлось делить власть с японцами. Затем пришли чанкайшистские войска. Освобождение Родины в эти годы — одна из самых ярких страниц в истории вьетнамского героического народа. А потом пришла разрушительная война с самой мощной капиталистической державой, руководители которой ставили целью уничтожить все живое во Вьетнаме. Это война с США.

— Мы победим! — говорит товарищ Хоа.

Наша поездка проходила в то время, когда американцы, убедившись в неэффективности сухопутных войск в условиях Вьетнама, стали быстро выводить их и усиливать воздушную войну, получившую название электронной войны, или войны автоматов. Впереди еще были самые жестокие бомбардировки Ханоя, Хайфона и других городов Северного Вьетнама. Люди не обольщались заявлениями о выводе американских войск, знали, что их еще ждут испытания. Но с кем бы ни говорили, слышали: «Мы победим!» Ни у кого не было сомнения в этом.

И это было чудо, что небольшая, разоренная войной страна выстояла.

Всюду, по каким бы дорогам ни ездили, в каких бы городах ни бывали, — везде видны следы варварских бомбардировок. Стоят остовы промышленных и жилых зданий, пылятся развалины целых улиц, из воды видны покореженные железные фермы мостов, земля изрыта громадными воронками. Странно видеть медлительного, как будто всегда думающего о чем-то важном буйвола, который подходит к заполненной водой воронке напиться. На его спине так же спокойно сидит мальчишка. Мир и война... Все переплелось!

Официальные лица США стремились уверить общественность, что бомбардировкам могли подвергаться только объекты военного назначения. На самом же деле шла беспощадная война, рассчитанная на массовое истребление мирных жителей. При бомбежках применялись не только фугасные бомбы. На выставке преступлений американского империализма, организованной в Ханое, собраны средства истребления людей, которые применялись в Индокитае. Бомба типа «ананас», которая содержит двести пятьдесят тысяч стрел, — стрелы разлетаются горизонтально над землей, на большую площадь. Бомба «бабочка», которая плавно опускается на землю и взрывается лишь тогда, когда на нее наступят или тронут. Грузовик проедет по ней — она даже не пробьет покрышку, а если наступит человек — останется калекой. Никаким военным объектам эти бомбы вреда не принесут, их цель — человеческое тело.

Какой изуверский талант должен быть у создателей бомб замедленного действия, изготовленных в форме и цвете апельсинов, ананасов, то есть тех плодов, что произрастают на земле Вьетнама. Взрослый человек еще отличит металл от настоящего плода, ребенок трогает бомбу и подрывается.

На выставке показываются фотографии людей, обожженных фосфором и напалмом. Смертоносные заряды тех же шариковых бомб прошивают тело по сложной траектории, оперировать раненого бывает трудно, в полевых условиях — невозможно. Нельзя без гнева и боли смотреть на фотографии детишек, ставших жертвами этого оружия.

Вьетнамские товарищи показали нам прибор, приве-

зенный из джунглей. Издали он напоминает нашу новгородную елочку, какую ставят в квартирах. Это чувствительный радиопередатчик. Его сбрасывают с самолетов в определенные квадраты, вблизи дорог и троп. Прибор бездушный, он одинаково схватывает шум воинской техники и шаги крестьянина, возвращающегося с буйволом с сельскохозяйственных работ, едущих на велосипедах молодых людей и шуршание шин скорой помощи, которая спешит к больному. Сразу же в этот квадрат посылается армада бомбардировщиков. Летчики во время бомбометания тоже не видят объекта, ориентируются по приборам. Даже в этом последнем есть расчет: пусть летчик, посеявший смерть, не мучается угрызениями совести.

В Хайфоне мы слушали оперу вьетнамского композитора До Ниана «Скульптор». Опера рассказывает о действительном случае, происшедшем в провинции Таймэн. Карательный отряд занял деревню. Командир, американский лейтенант, поражен: он встретил в деревне талантливого скульптора. Война для него, лейтенанта, — бизнес. Увидев скульптуры, он сразу понял их ценность. Но вот беда, работы эти обличают гнусность американского империализма, воспевают героизм вьетнамского народа — выгоды из них не извлечешь, по крайней мере, пока идет война, не купят. И он пробует сделать скульптору заказ. Прельщает его и тем, и другим, выстраивает перед ним отряд обольстительных «сайгонских девушек», а потом, рассвирепев, бросает в «тигровую клетку» — тюрьму, тоже придуманную изуверским «талантом». Но не в этом суть: когда лейтенант во время увещеваний сказал, что, согласившись с его предложением, скульптор будет иметь возможность жить в обществе гуманных отношений (имеются в виду США), зрители разразились дружным злым хохотом.

Мы тогда не совсем поняли причину реакции зрителей, подумали, что переводчица не донесла какую-то сказанную остроту. И только уже потом, увидев сметенные целые кварталы, поблизости которых не было ни военных объектов, ни промышленных предприятий, увидев искалеченных ребятишек, почерневших от горя матерей, мы поняли причину злого хохота.

Как бы американцы ни разрушали страну, они не могли не чувствовать, что намеченная цель — поставить на

колени вьетнамский народ, — все так же далека, наоборот, из года в год нарастало сопротивление.

Навсегда останется в памяти вьетнамского народа героическая оборона нависшего над ущельем моста Хамжонг. По сто пятьдесят, по сто семьдесят самолетов налетали сразу, а мост стоял. Тысяча дней и ночей непрерывных бомбардировок! Около сотни самолетов потеряли американцы на этом небольшом объекте. Мост стоял! И сейчас по нему, израненному и гордому в своей крепости, идут поезда, проходят машины.

Юг и Север страны населяет единый вьетнамский народ. В Демократической республике живет много людей, семьи и родственники которых находятся в Южном Вьетнаме. Народ ждет объединения страны. Поэтому каждая победа южновьетнамских патриотов воспринимается как собственная победа.

В одном из залов выставки в Ханое представлены материалы о боевых действиях южновьетнамских партизан. А прямо перед входом в здание собрана военная техника противника, захваченная патриотами. Здесь же оружие победителей, среди которого знаменитая «тридцатьчетверка».

— Обратите внимание на джип, — сказал организатор выставки товарищ Хоан. — На нем ездил сайгонский полковник Нгуен Ван Тхо. И на танк, который первым ворвался на высоту...

Дороги во Вьетнаме под номерами. Дорога, идущая через весь Вьетнам, с Севера на Юг, обозначена номером один. Та, что соединяет Вьетнам с Лаосом, носит название дороги номер девять.

Совместными действиями лаосских и вьетнамских патриотов на дороге номер девять была разгромлена крупная группировка марионеточных войск.

Американцы перебросили в этот район на вертолетах сорок пять тысяч солдат, две тысячи орудий, танки, бронемашины.

Американская техника и марионеточные войска! Операция должна была подтвердить правильность курса на вьетнамизацию, провозглашенную в Вашингтоне, курс на убийство вьетнамцев руками самих вьетнамцев.

Наступление патриотов началось в феврале, а в апреле американцам спешно пришлось эвакуировать из района боев жалкие остатки марионеточных войск. Были

убиты и взяты в плен тридцать одна тысяча солдат и офицеров, захвачено много военной техники.

В зале выставки, кроме карт, рисующих ход боев, стояли искусно выполненные макеты. Оператор в форме младшего командира сел за пульт управления, и перед нашими глазами стала разворачиваться наглядная картина блестящей победы патриотов. Двигались танки, плыли по воздуху вертолеты, некоторые из них вспыхивали ярким огнем, указывающим, что было прямое попадание. Катера, которые поддерживали пехоту марионеточных войск, вдруг зарывались носом в воду и уходили на дно. Видно было, как патриоты обрушивали огонь прежде всего на базы снабжения противника, как все уже стягивалось кольцо окружения.

Раскрылась дверь блиндажа, устроенного на господствующей высоте, и показался человечек с поднятыми руками. Показался — и опять юркнул назад: видно, ужаснулся того, что хотел сделать.

— Это полковник Нгуен Ван Тхо, — пояснил товарищ Хоан. — Он попал в плен. Джип, который вы видели...

Товарищ Хоан рассказывал, оператор продолжал нажимать на кнопки, а человечек все еще испуганно высывался с поднятыми руками и опять поспешно юркал назад в блиндаж. Казалось, он недоумевал, что вокруг него происходит, как это тщательно разработанная за океанскими хозяевами операция, которая должна была подтвердить правильность курса на вьетнамизацию, вдруг так бесславно провалилась.

Уже вернувшись домой, я просматривал последние номера журнала «Вьетнам» на русском языке. Там было напечатано интервью с полковником Нгуен Ван Тхо. С горькой иронией говорил он о сайгонском марионеточном режиме, который поддерживается американцами. Смысл его рассуждений был таков: «Никакая сила не сможет противостоять народу, который поднялся на защиту своего отечества».

СЫГРАЙ НА ГИТАРЕ, ДЖОН!

В те дни предприятия сообщали о досрочном выполнении годовых государственных планов; в сельской местности, где не было наводнения, вырастили хороший урожай риса. Вечерами в Ханое, Хайфоне, в других городах,

в которых мы были, у театров, кинотеатров, цирка — везде толпы народа. Врытые вдоль тротуаров бетонные, метровые в диаметре трубы и лежащие рядом такие же бетонные крышки — эти своеобразные бомбоубежища, казалось, больше подходили для мусора. В сельской местности из дотов, расположенных вдоль дорог, вился мирный дымок — крестьяне приспособили в них очаги для приготовления пищи. Ничто вроде бы не говорило о войне. Но это на первый взгляд. Просто люди не теряли душевного самообладания, занимались мирными делами и были настороже.

Знакомя с жизнью страны, генеральный директор Вьетнамского комитета защиты мира товарищ Фам Хонг с привычной для вьетнамцев улыбкой на лице сказал:

— Нас хотели отбросить в каменный век. Но мы выстояли. Если мы не могли трудиться на земле, мы трудились под землей.

Мы уже стали привыкать к стране и обычаям. Вьетнамец всегда улыбается, даже если говорит с врагом или о нем. В этом случае он показывает свое превосходство над ним. Но что это была за улыбка! Я смотрел на его бледное, худощавое лицо и испытывал чувства, которые не смогу объяснить и сейчас. Сколько было гнева, презрения в этом улыбающемся лице!

Трудились под землей... Во многих случаях бомбы падали на пустые коробки промышленных предприятий — все оборудование было своевременно вывезено в горные районы. Заводы размещались в пещерах и продолжали работать, источником питания служили передвижные электростанции. Если же какие заводы оставались в городах, то и там все было подготовлено для внезапной эвакуации.

Мы были на одном из механических заводов в Ханое. Выпускает он двигатели для мелких судов и некоторых других механизмов. Станки там собраны всех времен — от допотопных до современных, из восемнадцати стран. Работать, конечно, на таком оборудовании трудно. Но не это нас поразило: многие станки стояли почти без крепления, кабель тянулся по полу — все на случай быстрого свертывания оборудования.

Удивительна история этого завода, родившегося в джунглях еще в годы сопротивления французским колонизаторам. В день создания числилось на заводе шесть

рабочих. Ремонтировали оружие, вся работа велась вручную. Но постепенно крепло предприятие, расширялось, сложнее получало заказы. Сейчас завод награжден восемью орденами, первая награда — орден I степени за работу во время войны с французами. Многие рабочие стали впоследствии официальными лицами в государстве.

У коллектива завода, который насчитывает около двух тысяч человек, четкая программа: повышать качество продукции — изучать опыт других стран; повышать уровень культуры и образования; заботиться о жизненных условиях рабочих и инженерных работников. Постоянное внимание оказывается молодой смене: детей рабочих обучают слесарному, электротехническому делу, при желании ребята могут обучаться музыке, рисованию. Есть при заводе хорошая библиотека, детский клуб.

— Промышленность во Вьетнаме молодая, — рассказывал директор завода товарищ Бо Тхань Конг, — и мы многому учимся у советских специалистов. Сотни человек, и почти все инженеры, учились в Советском Союзе.

На заводе четыреста коммунистов, тысяча членов Союза трудящейся молодежи, восемьдесят процентов рабочих имеют восьмилетнее образование. В цехах регулярно проводятся политинформации, где молодых рабочих знакомят с опытом строительства в социалистических странах. Много внимания уделяется патриотическому воспитанию.

Директор рассказал такой случай. Для армии требовались специалисты, всего пять человек. В дирекцию поступило сорок заявлений, даже от тех, кто должен был ехать учиться в социалистические страны.

Удивительно чистое, хорошее впечатление оставило посещение этого завода. После знакомства с цехами хозяева устроили небольшой концерт: выступала агитбригада, которая только что вернулась из поездки в воинские части — ребята пели для солдат.

— А в честь вас будем петь советские песни, — сказал агитбригадовец, фрезеровщик Тук. — Мы непрофессионалы, но петь будем от души, за нашу дружбу.

И полились песни... Торжественные о Ленине, «О тревожной молодости», «Катюша»...

Заканчивал концерт мальчишка лет десяти, в красном галстуке, в белой рубашке, аккуратно причесанный. И что

же он спел? «Играйте на гитаре, наш друг» — об американском парне Джоне, которого послали на войну.

Четверть века иноземные захватчики терзали страну, но вьетнамцы отчетливо сознают, кто есть кто, и не испытывают ненависти к простому народу Америки.

ПЕСНИ ВОЙНЫ

Мы не раз бывали на концертах самодеятельных артистов, и всегда там исполнялись советские песни. Популярны песни о Ленине, «Ленинские горы», «Ивушка» и, конечно, «Катюша». Ее поют везде. Были в цирке. Представление проходило под открытым небом, в городском парке. Музыкальное оформление одного из номеров было составлено на темы русских песен. Сидевшая рядом переводчица Лан вдруг стала подпевать. Поет «Катюшу».

— Лан, — сказал я ей. — Это же «Калинка»!

Прелестная, в серебристом платье с разрезами по бокам, в таких же серебристых шароварах, Лан сверкнула миндалевыми глазами и невозмутимо сказала:

— Неважно. «Катюша» — хорошая песня.

Тяга у людей к культуре огромна. Для нас делали все, чтобы мы как можно больше всего повидали, побывали в театрах. Но иной раз по растерянным лицам наших сопровождающих было понятно, с каким трудом им придется доставать билеты. Перед началом спектаклей у входа — не протолкаться. Рядом, на площади, у стен — сотни велосипедов. Они принадлежат тем, кто уже достал билет: вьетнамцы и на работу, и в гости, и на свидание с девушкой, и в театр — везде и всюду на велосипедах.

Жаловаться нам не приходилось: слушали оперу, были в цирке, посещали музеи и буддийские храмы с их великолепными скульптурами. Но самое сильное впечатление оставили вьетнамские песни.

Песни эти напоминали нам наши военные годы...

Нам показалось, что во Вьетнаме все поют. Веселый шофер мчитесь со страшной скоростью по узкой дороге, гудит и распевает во все горло, горничная в гостинице, забывшись, начинает петь на весь этаж, официантка подает на стол и мурлыкает песенку. Что оставалось делать нам? Борода, обладающий недурным голосом, на одном из самодеятельных концертов терпел, терпел, а потом сорвался с места, обнял за плечи молоденькую вьетнамку

кукольной красоты Нгок (по-нашему Изумруд) и спел вместе с ней «Пусть всегда будет солнце». А потом сказал:

— Я воевал с фашистами, домой пришел инвалидом. Самый радостный день у нас был — День Победы. Буду радоваться за вашу Победу.

Мы все, и русские, и вьетнамцы, наградили его аплодисментами.

Выступает самодеятельность города Хайфона. Объявляют: песня о победе вьетнамского народа на дороге номер девять, песня о сопротивлении французским колонизаторам, песня о борьбе с американскими агрессорами.

Поют, конечно, и народные, старинные, очень мелодичные, но основная тематика любого коллектива — военная. Да и не только коллектива. Плывем на катере по заливу Халонг. У кого есть фотоаппарат, делают снимки, охают и ахают. Я сижу на скамейке и слушаю песню, которую поет вполголоса девушка-гид. Ей бы рассказывать о красотах, мимо которых проезжаем, а она вот занялась собой. Чтобы не вспугнуть, тихо спрашиваю переводчицу: о чем ее песня?

Лан смеется и так же тихо говорит:

— Она поет: завтра проводятся учебные стрельбы, и если ты, мой милый, не будешь в учении первым, я не выйду за тебя замуж.

В песнях проявляется душевное спокойствие народа, уверенность в правоте своей, крепости.

ЦИРК

Рано утром ханойские улицы заполняются велосипедистами. От мала до велика — все на велосипедах. Вот на одной машине едет семья: папа крутит педали, мама боком сидит на багажнике, на ее руках ребенок. Они сначала заедут в детский сад, потом к маме на работу, а уж затем папа заспешит на свое рабочее место.

Часам к десяти движение стихает. В это время чаще можно видеть пожилых женщин с пучками зелени в сетках и круглых шляпах, подвешенных на руке, — возвращаются с рынка. Иногда проскальзывает велорикша с доверху нагруженной тележкой.

Но настоящее столпотворение начинается вечером,

когда кончается работа и спадает жара. Тысячи велосипедистов сплошным потоком движутся в разных направлениях. Надумаешься, как перейти улицу.

Сами ханойцы привыкли к такому множеству велосипедов...

Велосипедную сутолоку на ханойских улицах забавно копируют четвероногие артисты в цирковом представлении.

Вся цирковая труппа молодежная, есть по-настоящему талантливые артисты, все работают с азартом, страстью и оставляют очень хорошее впечатление.

Представление проходило на открытом воздухе, в парке. Полукругом к эстраде вытянулись каменные скамейки, вмещающие более пяти тысяч человек. В тот вечер, когда мы пришли, яблоку негде было упасть, взрослые, чтобы только уместиться, брали на колени своих детей-школьников. Здесь же, впервые за всю поездку, соприкоснулись мы с влажным ханойским климатом, о котором так много слышали: не дождь, не туман — висит в воздухе водяная пыль, волосы, одежда становятся влажными, кожа липнет, то и дело вздрагиваешь, как от укула, — это кусается какая-то мелкая тварь, невидимая даже глазу. Покосился на своих соседей — все ведут себя точно так же: ежатся, разговаривая, стараются двигать руками и ногами — неудобно все-таки в общественном месте открыто почесываться. А ханойцы спокойны, терпеливо ждут, когда распахнется занавес.

Уж если есть благодарный зритель, так это наверняка ханойский. Любой номер воспринимался с восторгом. Правда, было чему и радоваться.

Выходят два комических жонглера, изображают учителя и ученика, причем, ученику не более пятнадцати лет. Учитель старается передать свое мастерство. Сначала жонглируют вдвоем — ученику иногда только приходится вступать в работу. Потом он смелеет, завладевает всеми палочками. Удовлетворенный учитель следит за ним издали. Но ученик настолько преуспевает в своем искусстве жонглирования, что вызывает у наставника черную зависть. И тот, под негодующие возгласы зрителей, по преимуществу малышей, начинает «ставить палки в колеса»: отвлекает внимание ученика посторонними предметами, толкает его, наконец, обхватывает и поднимает над го-

ловой, намереваясь бросить об пол, а палочки, как привязанные, не перестают мелькать в руках ученика. Вовсе раздосадованный учитель при общем негодовании увлакивает не переставшего работать ученика за кулисы. Наглядный пример проблемы «отцов и детей» в искусстве.

Но, как уже говорилось в начале, самый яркий и забавный номер выполнили четвероногие артисты — дрессированные обезьянки. Едва ли нашелся человек из всех пяти тысяч, который не был взволнован, глядя на эту остроумную пантомиму, рассказывающую, что делается на ханойских улицах в часы пик. Молодой дрессировщик выпустил на сцену десятка два обезьянок, каждую ростом не более месячного котенка, причем некоторые из них придерживали за пазухой детенышей. Сначала они показались на чертовом колесе, затем сбегали за кулисы за велосипедами, и начались чудеса: делали умопомрачительные повороты, разъезжались в немыслимой тесноте. У каждой проглядывался свой характер: одна едет степенно, соблюдая правила, другая несется с бешеной скоростью, третья, отчаявшись пробраться, трусливо тащит велосипед за собой. Просто удивительно, как они в этой велосипедной каше ни разу не налетели друг на друга.

В их представлении зрители видели себя и хохотали от души.

НА БАЗАРЕ

Вчера с Бородой (живем в одном номере) проговорили до третьих петухов; как иногда говорят дети: а у нас в квартире... а моя мама... Примерно и мы; находясь за тридевять земель, почувствовали потребность хвастать своими городами, оба волжанина, и говорили: а у нас в городе...

Петухи — не для красного словца: и в Хайфоне, и здесь, в столице, просыпаемся от петушиного крика. Добро в Хайфоне, там из окон гостиницы, выходящих во двор, видны уютные домики, полузакрытые зеленою плодовыми деревьями. Там да, но здесь, в столице, в центре города...

— Договорились, нечего сказать, — ворчливо заклю-

чил Борода, повертываясь на своей жесткой койке под mosquitoной сеткой. — Теперь не выспаться.

Не только не выспались, пропустили завтрак. Вскочили от оглашенного крика молодого Хиня.

— Автобус стоит! — орал он в дверях номера. — Семь раз ждать, а? Быстрее! Быстрее!

Вскочили, кое-как умылись. Автобус действительно ждал только нас.

Оттого, что голодны, а ехать далеко, начинаем дуться на своих товарищей: не могли позаботиться, разбудить. Хинь насмехается:

— Надо песни петь. Есть забудешь.

Он позавтракал, он весел. Сидит рядом с переводчицей Лан и разучивает по бумажке песню «Черное море мое...» Лан сегодня принарядилась: вместо обычной белой кофточки и черных шаровар из простой материи, на ней светлое платье с разрезами, такого же цвета шаровары и лаковые черные босоножки с инкрустацией. Что-то у нее произошло: может быть, день рождения сегодня, может быть, получила письмо от мужа, который в армии. И настроение у нее хорошее.

— В кино я видела, как у вас катаются на собаках, — с ослепительной улыбкой говорит она. — Там снега, снега... Почему вы не привезли с собой немножко снега?

Лан училась русскому языку в Ханойском педагогическом институте, у нас в стране не бывала. Географическое представление о ней смутное.

— Лан, ты с Хинем поешь «Черное море»... там люди тоже почти не знают снега. А ты видела тундру...

— О! — с непонятым восхищением говорит она.

А автобус уже миновал двухкилометровый мост через Красную реку. Отлогие илистые берега ее освобождаются от паводковой воды, какие-то люди расчерчивают землю на квадраты. Мужчина длинным колом кернит землю, следом женщина нагибается над каждой сделанной им ямкой, бросает семена. Дней через десять мы опять поедем здесь, весь берег будет зеленеть листочками салата, редиса, стебельками каких-то скорорастущих съедобных трав.

За мостом — контрольно-пропускной пункт, небольшие формальности, и вот уже автобус несется среди

рисовых полей, похожих на ровные лоскутки ткани разных тонов: от нежно-изумрудных всходов, только что освободившихся от воды, до зеленых, ранней посадки, и спокойных желтоспелых, готовых к уборке. При таком климате нет нужды в весенне-полевой кампании и осенней страде: собирается урожай по мере созревания. Но самый богатый собирают обычно в ноябре и еще в мае.

Видим иногда, как перекачивают воду на эти разграниченные площадки. Не насосами, их реже встретишь, а плетеным из бамбуковых стеблей большим ковшом. К нему с двух сторон привязаны веревки, женщины мерными движениями дергают их, переливают воду через бровку.

В низинных местах встречаются поля, сплошь покрытые водой — недавно было наводнение, и вода еще не сошла. Глядя на это мутное, илистое море, Хинь печально говорит:

— Умер рис...

Проезжаем деревни, на задворках которых за бамбуковыми зарослями, за банановыми деревьями видны разработанные огородные участки. Больше всего растет маниока, клубни которой напоминают по вкусу наш картофель. Стебель длиной метра полтора и толщиной с большой палец увенчивается жидкими отростками и узкими глянцевыми листьями. Каждое такое растение дает до двадцати килограммов клубней. Мы пробовали пюре из этих клубней, сдобренное молоком, и не отличили от картофеля.

В каждой деревне немудрящие харчевни: навес на бамбуковых кольях, под ним стол и скамеечки. На столе горит маленькая керосиновая лампа для прикуривания, стоит термос с кипятком, чашки; горкой высятся различные сласти, фрукты. Рядом, расстелив на земле циновки, сидят торговцы бананами, плодами дынного дерева — сладкой и ароматной папайей, освежающими кисловатыми грейпфрутами.

Мы с Бородой, не завтракавшие, тоскливо провожаем взглядом все это богатство. Потом не выдерживаем: на въезде в другую деревню решительно подступаем к Хоа:

— Останови. Купим бананов.

Тот что-то говорит шоферу, и автобус останавлива-

ется. Товарищ Хоа объявляет, что все закупки сделает шофер, мы можем только присутствовать при этом акте. И мы стали свидетелями народного искусства, возвращенного на базарной ниве.

Шофер облюбовал фрукты, которыми торговала средних лет женщина с черными, покрытыми лаком зубами. Этот обычай — покрывать черным лаком зубы — уже отошел (видели такие зубы у буддийского монаха да у старых женщин), но еще совсем недавно девушка рисковала остаться без жениха, если оставляла зубы такими, какие ей были даны от природы. Мы расспрашивали: откуда этот обычай? «У человека белые зубы, у зверя белые зубы, но человек должен отличаться от зверя, так возник этот обычай», — отвечали нам; и не поймешь, то ли в ответе была шутка, то ли на самом деле считали так; вернее всего, лак обладает защитным свойством, предохраняет зубы от порчи — отсюда и возник обычай.

Пока мы глазели по сторонам, и шофер, и торговка от спокойного разговора перешли на крик. Мы не узнавали нашего весельчака-шофера: он свирепел на глазах. Женщина, под стать ему, произносила длиннейшие тирады, взмахивала руками, подпрыгивала. Выслушав ее, шофер саркастически усмехался и затыкал ей рот очередной порцией слов. Продолжалась эта перепалка несколько минут. Мы уже отчаялись, подумали, что торговка заломила дикую цену, наш шофер костит ее за это на чем свет стоит. Мы собрали по донгу и хотели вручить шоферу со словами: «Ладно уж, чего там, знаем мы этих базарных торговок. Уступи ей!» — но товарищ Хоа, с восторгом следивший за перебранкой, остановил нас.

Спор как внезапно начался, так внезапно и кончился. Шофер отсчитал 0,75 донга (38 копеек) и получил тяжелую связку желтоспелых бананов. За его искусство торговаться он был вознагражден еще несколькими бананами, из другой связки. По лицам покупателя и торговли было видно, что они очень довольны друг другом.

...Знайте: когда вы покупаете бананы дома, они по вкусу так же похожи на настоящие, только что срезанные с дерева спелыми, как бывают по вкусу похожи мочалка и репа.

В деревне, где я рос и куда часто езжу, есть бабушка, мудрая и хитроватая. Вот она сидит за столом, скорбно подперев кулаками щеки, и слушает радио. Передача для сельских жителей.

— Вон ведь политика какая, — говорит она, кивая на репродуктор. — Хочется возразить, а некому. Он меня не услышит...

Верно, не услышит.

По радио, телевидению дают выступать поэтам; те читают о том, о сем, и так и этак. Иной раз хочется возразить, а некому. Не каждый отважится писать обоснованное возражение — времени жалко, если уж только когда достанет до печенок...

Великое благо для пишущих — газета, радио, телевидение. Как же обходились раньше-то? Ну, например, поэты?

А вот как. В саду, под сенью дерев, вырыт круглый как монетка, пруд. Раз в году вокруг него рассаживаются поэты. Весна! Все благоухает. Позади поэтов располагаются слушатели, большей частью студенты литературной Академии, но есть и важные лица, меценаты, тонкие ценители поэтического слова. Начинается конкурс на звание Первого.

Один читает, второй... Тут уж им возражай, сколько хочешь, разрешается. Судя по реакции слушателей, распорядители конкурса выставляют отметки.

Проходит час, два, пять... Все высказались, выговорились. Слушатели хватают победителя, носят его на руках вокруг пруда, омывают его плешивую или кудрявую голову теплой прудовой (академической) водой. В это время мастера-каменотесы лихорадочно трудятся: на плоской плите высекают резцом имя Первого.

Все расходятся (кроме студентов Академии) до следующего года. До следующей весны! И горе почившему на лаврах. Прежние заслуги на очередном конкурсе не засчитываются.

Вот бы у нас так-то! А то сел человек на большую литературную должность и рассовывает по журналам и издательствам и то, что получилось, и что не получи-

лось, — все проглотят, не отважатся отказать. Охочие критики спешно поедают эти произведения, а потом выбрасывают производное из масла и патоки, хотя сами морщатся, когда едят.

...Такой литературный храм существовал в давние годы в Ханое, в центре города. Сейчас об этой мудрой и справедливой школе напоминает площадка возле пруда, выложенная плитами, — на каждой высечено имя победителя такого-то года. Как символ силы и долголетия истинно поэтического слова показывается там еще и черепаха, большая, двухсоткилограммовая.

В Музее изобразительных искусств в Ханое есть зал, где выставлены произведения бойцов народно-освободительной армии Южного Вьетнама. На одной впечатляющей картине — повседневная жизнь большой деревни.

— Художник рисовал свою деревню, в которой родился, — объясняет работник музея.

Хижины из бамбука, обмазанные глиной, с круглыми отверстиями в стенах (для доступа воздуха), банановые деревья за невысокой оградой, копошатся детишки в песке. Поодаль пахарь с сохой, чувствуется напряжение, с каким буйвол волочит соху по залитой водой земле. У входа в дом вручную околачивают рис, мимо идет женщина в традиционной конусной шляпе, на коромысле несет круглые и плоские, как чаши, корзины: передняя с верхом наполнена овощами, в другой, сзади, сидит ребенок с расширенными от удивления миром глазами. Деревня расположена на побережье. Там, где проглядывает кусочек морской голубизны, — песчаная коса, рыбаки тянут невод. Мирная жизнь мирной деревни.

— Этой деревни уже нет, художник рисовал по памяти, — сообщает работник музея.

Пока рассматривали картину, было радостное настроение, душевное успокоение, но слова музейного работника вызвали гнетущее впечатление, бессильную злость, которая не раз появлялась во время поездки.

С каждым древним храмом-пагодой связана легенда.

...Плыл рыбак на лодке по озеру, со дна поднялась черепаха и протянула стальной меч. Рыбак Ле Лой понял значение подарка: возглавил народное восстание против владычествующих китайских феодалов. И победил народ во главе с Ле Лоем, и настал золотой век для Вьетнама.

После победы рыбак снова плыл по тому озеру. Опять показалась черепаха, потребовала возвратить меч. Он не стал перечить. Озеро называли озером Возвращения меча.

Метрах в двадцати пяти от берега на воде построили пагоду, протянули к ней узкий мостик. В пагоде поставили золоченые скульптуры Ле Лоя и его сподвижников.

Красивая легенда! Поэты любили воспевать ее в своих творениях. И был день, когда поставили перед входом в храм ворота с изображением наверху пера и чернильницы. Мостик теперь стали называть мостом Вдохновения.

...Несчастный король ночей не спал, так хотелось ему наследника. Но вот однажды, все-таки уснув, увидел он цветок лотоса. В чаше цветка сидела богиня, держала на руках младенца. Наутро узнал он, что его королева понесла.

Родился сын. На радостях король повелел выстроить на озере пагоду в виде гигантского лотоса. Она возвышается над водой на одном-единственном столбе.

Тут сопровождающего, что рассказывал о всех чудесах высоким слогом, прервали. Кто-то из наших самым прозаическим тоном спросил:

— Неужели дерево сохранилось с тех пор?

— Сохранилось, — ответил сопровождающий. — Перед своим уходом из Вьетнама французы взорвали пагоду. Мы восстановили ее.

В другой пагоде обратили наше внимание на бронзовую четырехметровую статую божества. Отлита вьетнамскими мастерами в одиннадцатом веке.

О древней высокой культуре вьетнамского народа свидетельствуют и искусно сделанные громадные медные барабаны. В мирные дни оповещали они о празд-

нествах, звали к радостям жизни. Эти радости жизни древние мастера выразили в откровенных сценах любви — маленькие фигурки симметрично расположены по ободу барабана.

В лихую годину гром барабанов разносился по стра-не, призывая к оружию.

Любовь и тревога! По значению барабаны сродни нашим колоколам.

ПОЧТИ ЗЕМЛЯКИ

Стою на тротуаре возле маленькой открытой лавочки. В руках жесткий шлем. У него печально известное наименование — колониальный. Легкий и удобный, предохраняет от тропического солнца. Мне, жителю средней полосы, он ни к чему, но надо же на что-то истратить донги, выданные на карманные расходы. До этого присматривался к модели парусного судна (пиратского), выточенного из кости. Если сложиться с кем, купить, а потом разыграть в орла и решку, — можно, только и тому и другому в случае проигрыша будет обидно.

Вспомнилась наша чилийская журналистка: из Пакистана она увезла золотые туфельки, в Бирме купила гонг на подставках из слоновой кости. Один из наших деятелей, перепутав рупии с рублями, хотел купить объемистую фляжку шотландского виски. Мы вовремя заметили это и оберегли его от конфуза. Зачем уж рубли, имеющие широкое хождение в стране, предлагать непонятливым иностранцам!

...Много продается поделок из дюралевых обломков сбитых американских самолетов. Но такой набор у меня уже составил из подарков новых, приобретенных друзей.

Шлем надо обязательно привезти, отдам сыну, который, несмотря на двадцатый век, бредит индейцами. Вот только размер... Кого бы остановить, увидеть подходящую по размеру голову.

По тротуару густо идут люди, спешат по своим делам. Придерживаю за локоть поравнявшегося со мной юношу и, недолго думая, нахлобучиваю ему на голову понравившуюся шапку.

— Мала?

— Мала, — растерянно подтверждает он.

Ошарашенно смотрим друг на друга: он поражен моим поступком, я его ответом. Юноша — в белой, с закатанными рукавами рубашке, расстегнутый ворот открывает мускулистую шею, лицо живое. Он первый приходит в себя, выясняет, для чего понадобилась примерка.

— Зачем здесь берешь? — с упреком говорит он, окидывая невнимательным взглядом лавочку и ее хозяйку. — Иди в государственный, там дешевле.

После оглядывает меня, что-то соображает и спрашивает:

— Домой собираешься?

— Домой. Сегодня последний день.

— Где живешь?

Я назвал.

— С Волги? — обрадовался он. — Куйбышев знаешь?

— Учился, что ли, в Куйбышеве?

Здесь, на ханойской улице, мы чувствуем себя встретившимися случайно земляками.

— Тебя проводить до государственного магазина?

— Не надо. Спасибо! Я поброжу по улицам.

— Нравится Ханой?

— Да.

В Ханое много зелени, много озер. Красивые дома, оставшиеся после французских колонизаторов. Город красив, особенно вечером, когда зажигаются огни. Лавочки закрыты, улицы прибраны и политы водой. На тротуары ханойцы выставляют низкие уютные столики с горящими на них керосиновыми лампочками-пузырьками. Люди пьют чай, отдыхают от забот дневных...

Он удовлетворенно кивает и говорит, как в утешение:

— Приятно... Но на Волге тоже красивые города.

домой

Вот уже и время к ночи, и нарядные девушки пропе-ли гостеприимную песню: дорогие гости, если вам у нас нравится, оставайтесь с нами! Поют ее всегда на прощание. Но и хозяева, и гости все еще никак не могут расстаться.

Вечер устроили работники Вьетнамского комитета за-

щиты мира. Мы делились впечатлениями о поездке. Естественно, мы много не увидели, не смогли попасть в те места, куда хотели попасть, но у нас осталось общее впечатление о стране и ее людях, самоотверженных, трудолюбивых, которые в невероятно сложных условиях строят лучшую жизнь.

Мы все из разных городов, и рассказывали, как у нас проходят митинги солидарности с вьетнамским народом, какой и за счет чего идет сбор средств в фонд помощи. Представительница Армении Эмма Конанова сказала:

— Солидарность для нас — слово святое, думаем, таким же святым стало оно для вьетнамского народа.

— Еще в тюрьмах, при французском владычестве, мы поднимали флаги с серпом и молотом, — в ответ на это заметил товарищ Фам Хонг.

...Автобус идет вечерними ханойскими улицами, притихшими и настороженными. Освещение экономное, больше на перекрестках. Возле столовых и некоторых магазинов стоят на подставках черные доски, похожие на школьные. На них от прошедшего дня остались записи мелом: это чем торговали, что предлагалось в столовых. Проехали мимо большого книжного магазина с широкой витриной, здесь мы запасались картой Вьетнама, открытками и дивились обилию книг на русском языке.

Свернули в переулок и вдруг увидели необычно ярко освещенный двор. Висят лампы с металлическими абажурами. Сквозь прутья железных арочных ворот, прямо под открытым небом, видны работающие станки, люди, склонившиеся над ними. Хоть и непривычно для глаза, но не очень удивило: то же самое видели на территории разрушенного бомбами паровозного депо.

Вид этой мастерской лишь заставил подумать о другом: уличная тишина кажущаяся, город-труженик продолжает работать и ночью.

Письмо из Свердловска от Г. В. Игнатенко:

«Не могу не поделиться с вами радостью: сегодня получил долгожданное письмо из Вьетнама. Три месяца назад, когда стало известно о подписании соглашения по Вьетнаму, я послал на имя Лан, Хоа и Хиня поз-

дравление с победой и миром. И вот пришел ответ. Благодарят за поздравление, оценивают Парижское соглашение, благодарят советских людей за активную помощь. После официальной части есть такие слова: «Письмо приятно напоминает нам о Вашем успешном путешествии по стране. Пользуясь случаем, позвольте выразить надежду, что недалек тот день, когда будем иметь удовольствие принять многих советских туристов на территории ДРВ в мирных условиях, и что мы снова увидимся в обстановке сердечной дружбы на наших новых красивых маршрутах».

1973 г.